

Дмитри Бергмессе



ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР



Annotation

Эта книга — о Шекспире и его современниках, о поэзии и истории, но прежде всего она — о любви. Английский писатель Энтони Берджесс известен у нас как автор нашумевшего «Заводного апельсина», но и его роман о Шекспире может произвести впечатление разорвавшейся бомбы. Иронически переосмысливая, почти пародируя классический биографический роман, автор наполняет яркими событиями историю жизни Шекспира, переворачивая наши представления о великом поэте, о его окружении. Парадоксальным образом Берджесс вдыхает жизнь в хрестоматийные образы самого Короля сонетов, его жены Анны и даже таинственной Смуглой леди, личность которой до сих пор остается загадкой. Но самое удивительное, что, только прочитав эту книгу, начинаешь понимать истинный смысл знаменитых творений.

- [Энтони Берджесс](#)
 - [157?-1587](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [ГЛАВА 5](#)
 - [ГЛАВА 6](#)
 - [ГЛАВА 7](#)
 - [ГЛАВА 8](#)
 - [ГЛАВА 9](#)
 - [ГЛАВА 10](#)
 - [1592-1599](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [ГЛАВА 5](#)
 - [ГЛАВА 6](#)
 - [ГЛАВА 7](#)
 - [ГЛАВА 8](#)
 - [ГЛАВА 9](#)

- [ГЛАВА 10](#)
- [ЭПИЛОГ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
-

Энтони Берджесс

Влюбленный Шекспир

Памеле и Чарльзу Сноу

157?-1587

ГЛАВА 1

Во всем была виновата богиня — загадочная, неуловимая, опасная и вместе с тем очень желанная. Когда Уильям увидел ее впервые?

Ну да, конечно, это была Страстная пятница. 1577-й? 1578-й? 1579-й?.. Юный Уилл — подросток в поношенном тесном камзоле, заплатанном плаще, но зато в новых, с иголки, перчатках. Бороду он еще не брил, покрывавший его щеки и подбородок светлый юношеский пушок казался на солнце золотистым. Золотисто-каштановые волосы и карие добрые глаза. Стремительной юношеской походкой Уилл шел через луг по левому берегу Эйвона, подмечая, что у затона под Клоптонским мостом уже зацвел молочай. Клоптон^[1] — герой Нью-Плейс, покинувший отчий дом в надежде разбогатеть. Интересно, а он сам, Уилл, сможет когда-нибудь выбиться в люди, чтобы умереть таким же знаменитым, как этот великий сын Стратфорда? Уилл очень страдал оттого, что к нему все еще относились как к ребенку. В тот день ему и этому недоумку Гилберту было велено доставить готовые перчатки заказчику, а заодно взять с собой маленьких Энн и Ричарда, ведь прогулки на свежем воздухе так полезны для здоровья. На лугу дышалось легко, то здесь, то там из травы выскакивали зайцы, тут же бросавшиеся наутек, и ничто не напоминало о Хенли-стрит с ее вонючими кучами нечистот и мясными лавками, где торговцы уже затачивали ножи и разделывали туши для пасхального базара. Жалобно блеяли ведомые на заклятие молодые барашки, а пасхальный зайчик только и дожидался своего часа, чтобы вырваться на улицу из дверей домов. В воздухе была грусть и пьянящая надежда, с юго-запада пришел полуденный дождик. Но Уилла волновали иные стоны, исходящие совсем от других тварей. Белые тела, впивающиеся в плоть пальцы, по-лягушачьи раскинутые ноги — все это было очень похоже на плавание в кровати. Мальчик стал невольным свидетелем этого действия накануне, в Великий четверг, когда, ничего не подозревая, распахнул дверь родительской спальни. Уж лучше бы он ничего не видел и не слышал. Всей этой наготы и белизны. Родители даже не заметили его и так и не узнали, что он все видел.

— Так нельзя, Дикон, — одернул Уилл Ричарда, который лез своим сопливым пальцем в глаз сестре. А затем добавил: — И к воде близко тоже не подходи. Вода — опасная штука. Если не утонешь, так вымокнешь. — И неожиданно увлеченный только что придуманным каламбуром: — В

водице водится, в водице водится, в водице водится...

Озорница Энн напустила на себя важный вид, с которым ее отец, до того как семья Шекспир обеднела, имел обыкновение поучать прислугу, и сказала:

— Бедняжка Уилл тронулся умом. Уилл дурачок. Гоните в шею его вдову.

— ...в водице водится...

Гилберт же, которого все в семье считали слабоумным, разинув рот глядел на небо, по которому медленно и величественно плыли облака. Гилберт был сопливым мальчишкой с пухлыми губами.

— А что, рай в самом деле находится там? — спросил он, не опуская головы. — И там живет Бог со своими святыми?

— Дочь должника. Голь перекатная. Так что там насчет моей вдовы? — поинтересовался Уилл у Энн.

— Сам козодой, — ответила ему сестра.

Ричард, у которого левая нога была на полтора дюйма короче правой, поковылял в сторонку, немного подумал, а затем достал из штанов своего маленького дружка и начал мочиться на траву, выпуская тоненькую желтую струйку, золотящуюся в лучах весеннего солнца. Он собрал на губах слюну и принялся выдувать из нее пузырь, тонкую, быстро лопнувшую пленку.

— А вон там растет козья ива, — продолжала Энн.

На Ричарде была бархатная шапочка, а старый плащ, полы которого сейчас были откинуты назад, мать украсила потрепанной кисточкой.

Коза, ива, вдова... Тарквиний, римский правитель, очень смуглый, словно опаленный лучами горячего южного солнца, он тоже был очень развращенным и похотливым. Вот это *tragos*, трагедия. Лезвие бритвы и точильный камень. Но то был совсем другой Тарквиний. Перед глазами Уилла до сих пор было белое, обвислое брюхо отца, выскочки из Хэмптон-Люси, и он отчетливо слышал крики матери, Арден, дочери древнего и достойного рода. Нет, она не ива. Но ива как раз пригодилась бы для смерти. Уилл смотрел на лужицу, собирающуюся под золотистой дугой, и в голове у него назойливо крутилась одна и та же мысль, заставившая его снова прибавить шаг. Сможет ли он стать знаменитым сыном Стратфорда, таким же, как Клоптон? Мальчику казалось, что он спит наяву и пытается во сне догнать неуловимую тень, увидеть, которую можно лишь иногда, краешком глаза.

— А ты весь дрожишь, — сказал Гилберт. — Дрожишь, дрожишь, дрожишь.

Уилл недовольно поморщился, чувствуя, что краснеет. Он

неопределенно пожал плечами, пробормотал что-то насчет промозглой английской весны и запахнул на себе полы поношенного плаща — ну совсем как король Стефан из песни. Настоящий пэр, честное слово. Ричард тем временем уже закончил мочиться и спрятал инструмент обратно. Все еще держась за штаны, он тихонько зарычал и, хромая, побежал догонять белоголовую Энн, у которой были светлые ресницы, а бровей не было видно и вовсе. Бледные дети, хмурая и безрадостная зима, пасмурная Англия, белые призраки, совокупляющиеся в темной спальне... Энн же притворилась, что ей очень страшно, и побежала, радостно крича, в сторону ближайших кустов. Она оглянулась на своего маленького преследователя, выкрикнула дразнилку: «Свинка, свинка, колючая щетинка!» — и снова бросилась бежать сломя голову, и в следующий момент со всего маху налетела на неуклюжую фигуру, появившуюся из-за толстого и корявого дубового ствола. Дети сразу же узнали этого человека. Старый прощелыга, так его называли многие жители Хенли-стрит, бродяга и проходимец. Звали его Джек Хоби. Грязная рубаша, старая шляпа с помятой тульей... Интересно, кем он был: настоящим морским волком или же всего-навсего сухопутным вруном? Вообще-то, честно говоря, от Стратфорда до моря было далековато. Но Уилл все равно был уверен, что Хоби избороздил все моря вдоль и поперек. Сейчас старик, как, впрочем, и всегда, был в сильном подпитии.

— Ну, — сказал Хоби, держа Энн за плечи своими грязными волосатыми лапами, — вот ты и попалась, маленькая егоза. Царица Фортунато и Эрактеленти, значит, быть посему. Я возьму тебя с собой туда, где гуси водят хороводы, а обезьяны играют в догонялки.

Энн вырвалась и убежала, но было видно, что она ничуть не испугалась. Ричард засмеялся. У Хоби была уродливая физиономия, похожая на морду черта, какой ее обычно изображали на ярмарочных картинках, но вид у него при этом был такой комичный, что напугать ребенка при свете дня было невозможно — один глаз закрыт навсегда, вечно чумазные впалые щеки, редкие черные зубы и жиденькая борода, в которой всегда было полно хлебных крошек. Хоби осклабился — ну прямо настоящий пират! От него пахло так же терпко, как от головы банберийского сыра, а изо рта разило перегаром.

— Мастер перчаточник, — ухмыльнулся старик, глядя на Уилла. — Святые деньки наступают, ни тебе осликов, ни ласточек.

— Ластовиц, — тут же поправил Уилл и вдруг устыдился своего, желая выглядеть мастером. Перчаточное дело вовсе не было его призванием, хотя отец и забрал мальчика из школы, сделав своим

подмастерьем и объяснив это стесненными обстоятельствами и необходимостью его помощи дома. Сын должен был постигнуть тонкости отцовского ремесла *ad unguem*, то бишь в совершенстве. Он был по уши в этом дерьме! Уилл покраснел; он чувствовал, что краснеет еще сильнее. Эх, и куда только подевалось достоинство старинного рода Арден, берущего свое начало где-то в глубине веков, задолго до завоевания Англии норманнами. Обширные земли, благородное высокомерие, голубятня в Уилмкоте, где ворковало шестьсот пар голубей... («Какой стыд, — плакала недавно мать, урожденная Арден, — они проезжали через Стратфорд, мои родные кузены, и даже не провели нас. Не зашли, чтобы выпить стаканчик вина и передать семейные новости. Ох, горе, горе! Какой позор! Я же вышла замуж за голодранца. И где только были мои глазоньки... Горе мне, грешной!») На глаза Уилла навернулись слезы. Он тут же поспешил убедить себя, что глаза просто слезятся на ветру. Будет лучше, если дети успеют вернуться домой к обеду: там будут ждать старшая сестра, неряха Джоан, мать, которая считает себя настоящей леди, и отец — с его лица в последнее время не сходит тревожное выражение.

— Отправляйтесь в море, пока еще молоды, — продолжал глумиться Хоби. — Весь мир будет лежать у ваших ног. Остров Рук в Кансленде. Мадагастат в Скории, где правят магометанские цари, черные лицом, словно черти, и царицы-распутницы, готовые лечь с любым мужчиной.

Тогда ли это случилось? Воздух Англии вдруг стал душным и знойным, а Эйвон засиял в лучах солнца подобно Нилу, воды которого кишат змеями. Уилл отчетливо увидел смуглый восточный профиль, лицо царицы с золотой монеты и галеоны, плывущие в далекое царство. Он с трудом сглотнул, отгоняя от себя это призрачное видение, и нашел в себе силы съязвить в ответ:

— Скажи еще, что сам когда-то нагружал галеоны золотом, амброй, мускусом и рогами единорога, но потом твой корабль потерпел крушение, и с тех пор тебя преследуют несчастья.

— Ничего, будет и на твоей улице праздник, — сказал Хоби, ничуть не смутившись тем, что его собственные рассказы были только что повторены слово в слово. — Я-то уже пожил на этом свете и многое повидал. Видел я и морских чудовищ, и рыб, лазающих по деревьям, словно мальчишки за яблоками. Довелось мне отведать и мяса верблюда, и побывать в тех краях, где живут людоеды с глазами на груди...

Ричард сосредоточенно расковыривал засохшую болячку на нижней губе и разинув рот слушал Хоби; Энн молча шлепнула его по руке,

— А вы когда-нибудь бывали в море, среди огромных волн, похожих

на разинутые пасти свирепых гончих, когда пронзительно завывает ветер, а солнце такое яркое, что может запросто растопить человеку глаза, если только он не зажмурится?

— И тогда он больше ничего не сможет видеть, — с идиотской прямоотой добавил Гилберт.

— Ладно, хватит болтовни, — сказал Уилл, словно настоящий джентльмен. — Нам пора идти.

— Итак, — проговорил Хоби, пошатываясь и стаскивая с головы свою дырявую шляпу, под которой обнаружились свалявшиеся сальные лохмы неопределенного цвета, — пришло время поклониться в ножки благородному господину. А то их светлость уже недовольно сопит через дырочки своего длинного носа. Пощады, милости и защиты! Окажите мне такую честь и позвольте поцеловать ваш грязный башмак. — И пьяница попытался сделать реверанс, согнувшись в таком низком поклоне, что едва не упал. Энн и Ричард снова засмеялись.

Юному джентльмену Уиллу стало жаль этого незадачливого и вконец изолгавшегося беднягу, у которого так дурно пахло изо рта, и мальчик вспомнил о единственной монетке в своем кошельке. Ее дала ему одна дама (имени ее он не помнил), которой Уилл доставил пару великолепных лайковых перчаток в прошлую среду. Дама тогда сказала что-то вроде «вот, возьми, мальчик, это тебе за труды», и он смущенно покраснел. Теперь же Уилл не задумываясь достал монету и сказал: «Вот, возьми». Оба брата и сестра молча глядели на него; Хоби тоже недоуменно воззрился на благодетеля, но деньги взял. Потом он все же не сдержался и крикнул вслед тем, кого обычно презрительно называл Чакспирами или Каспирами:

— Послушайся моего совета, парень! Иди в море! Здесь, на суше, тебе не жизнь. К черту все эти господские ужимки. В море, в море, на простор, беги отсюда, пока еще не поздно! — Затем он упал в кусты, чтобы снова, как обычно, забыться пьяным сном.

Уилл позволил Энн убежать вперед, и Ричард, прихрамывая, снова погнался за ней. Гилберт шел зигзагами, не глядя под ноги и устремив взгляд в небесную синеву. Рот его был разинут, как будто юноша страдал от жажды. Наверное, ему хотелось увидеть в небе Бога. Уилл погрузился в размышления. Его задумчивые глаза были широко открыты, но как будто ничего не видели. Он не замечал ни сухих коровьих лепешек, ни зеленого клевера и не слышал звонкого пения жаворонка.

Так что же нужно предпринять, чтобы снискать почет и уважение, чтобы название селения Снитерфилд звучало так же гордо, как и Уилмкот, прославившийся родом Арден? (Уилл дал себе зарок во что бы то

ни стало довести это дело до конца.) Возможно, и в самом деле нужно будет стать великим путешественником, искателем приключений, легендарным охотником за древними кладами. Но с другой стороны, тогда придется полжизни провести в вонючем трюме, питаться червивыми сухарями, запивая их застоявшейся водой, в компании с грязными оборванцами, от которых воняет так же мерзко, как и от их ни разу не стиранных рубашек цвета ушной серы. Придется встать на кривую дорожку пиратства и грабежей или, в лучшем случае, всю дорогу терпеть общество грубых и похотливых бродяг, которые обжираются солониной, грязно бранятся и бьются насмерть за право обладать мягким белым телом мальчика, воспитанного на Овидии и Сенеке. Уилла захлестнуло разочарование, лишившее мечту былой позолоты, после чего море показалось ему менее привлекательным. И все же заманчивые названия далеких стран продолжали волновать его душу: Америка, Московия, Селентайд, Занзибар, Терра-Флорида, Мадейра, Пальме-Ферро...

А отец его подвел. Да-да; этот тихий человек, так терпеливо переживающий скандалы своей сварливой и взбалмошной жены, смирившийся с молчаливым презрением семейства Арден, продолжал неуклонно катиться вниз, теряя авторитет в глазах сына. Джон Шекспир, который некогда занимал пост бейлифа (высшего должностного лица в городе), теперь не мог даже заплатить налог и хотя по-прежнему оставался олдерменом, но из-за своей нищеты не решался появляться на заседаниях городской корпорации. Он распродал большую часть своего имущества и сделал раба из собственного сына, обрекая его на пожизненную каторгу среди перчаточной лайки. При мысли об этом на глаза Уилла навернулись слезы. Нет, конечно, это честное, уважаемое всеми ремесло, но только провести вот так всю жизнь, шить перчатки до самой смерти... Выкраивать заготовки, вырезать узкие длинные полосы для фуршетов, соединяющих лицевую и тыльную стороны перчатки, делать крохотные треугольнички ластовиц и тонкие кожаные шнуры, а потом сшивать все это воедино мелкими перчаточными стежками, чтобы в результате получились два кожаных шедевра в зеркальном отображении. А потом велеть учтивому мальчику-подмастерью доставить товар заказчику, и мальчик будет обивать пороги богатых домов, смиренно полагаясь на благосклонность слуг и терпеливо снося лай хозяйских собак...

И снова это видение! Вот Уилл стучит, ждет. Слуга говорит, будто бы госпожа передала через мажордома, чтобы мастера прислали к ней, и вот он уже сидит за столом в просторной комнате, где все стены увешаны великолепными гобеленами (Сусанна и похотливые старики; ковчег, голубь

и сын праведного Ноя, высматривающий вдали землю; Юдифь, заносщая меч над Олоферном). Мальчик представлял это очень отчетливо, и временами ему даже казалось, что он чувствует запах грушевых поленьев, потрескивающих в огромном камине. Обед закончен, блюда и серебряные сосуды со специями убраны со стола, и чопорный мажордом вместе с богато одетыми слугами, почтительно пятась, удалились из комнаты. Вокруг госпожи бегают, виляя хвостиками, маленькие собачки (Уилл понимает, что их очень много), она то и дело нагибается, чтобы протянуть им затянутую в перчатку ладонь с пригоршней сладостей; и собачки жадно хватают лакомство острыми зубками. Эта госпожа вдова, ее лицо скрыто под вуалью, и еще на ней богатое платье из парчи. Вот она пошевелилась, и парчовые складки тихонько зашуршали... Огонь потрескивает в камине, и запах грушевого дерева усиливается, заполняет уже всю комнату. Госпожа ставит перед собой серебряный кубок сладкого вина (Уилл точно знает, что вино сладкое, и даже чувствует его вкус; кубок украшен рельефом в виде крылатого херувима, а основанием чаши служат серебряные львиные лапы). Госпожа вынимает из кубка веточку розмарина, которой она размешивала специи. У Уилла перехватывает дыхание. Она же взмахом руки, все еще держащей веточку, манит его к себе, поднимается и идет к двери, оглядываясь, чтобы убедиться, что мальчик следует за ней. Высокие двери распахиваются перед ней сами собой, словно по волшебству. Вслед за хозяйкой Уилл проходит через анфиладу комнат и галерей, гладкие стены которых украшены дубовыми панелями с богатой резьбой и портретами героев. И затем они оказываются в спальне, где стоит огромная золотая кровать под покрывалом из узорчатого шелка. Здесь пахнет индийскими благовониями, и вокруг ложа расставлены шелковые ширмы, на которых изображены любовные утехи богов. Уилл даже слышит, как тявкают и скребутся под дверями собачки. Он робеет и отворачивается. У госпожи тихий грудной голос, заставляющий мальчика трепетать. Кровь оглушительно стучит у него в висках, он слышит тихий шелест шелков и прерывистое дыхание женщины. Она торопится, но застежки и шнурки все не поддаются. Уилл стоит крепко зажмурившись. И вот госпожа говорит:

— Повернись, мой возлюбленный. Посмотри же на меня.

Робея и едва не теряя сознание от страха, он оборачивается и после этого уже не может отвести глаз от чудесного зрелища. Его госпожа стоит перед ним совершенно обнаженная. Это золото, сияние, блеск, пламя, солнце, воплощение всех его желаний.

— Я твоя. Иди же ко мне и возьми то, что тебе принадлежит.

Ох уж это юное сердце! Ох, как оно трепещет, как бешено бьется!

Уилл падает к ее ногам, но она решительно берет его за плечи и заставляет встать. А потом они, раздвинув серебристо-белые шелковые занавеси балдахина, опускаются на мягчайшую перину из лебяжьего пуха. И скоро, очень скоро должен наступить момент, когда Уиллу откроются все секреты мироздания и из его груди вырвутся те слова, которых так ждут все эти боги и которые они выслушают молча.

...Вскоре золото померкло, видение рассеялось. Остался лишь Стратфорд, пятница на Страстной неделе, солнце уже начинало клониться к закату, а ветер казался холоднее, чем прежде. Уилл стоял перед отцовским домом. Двери были распахнуты настежь, и остальные дети уже побежали есть, наперебой крича, как они голодны. Ему же пришлось задержаться на пороге, чтобы унять утомительное сердцебиение. Уилл окинул взглядом грязную извилистую улицу с потемневшими от времени и непогоды дощатыми заборами. Соседская девчонка из дома Куини выбросила на улицу рыбы головы, и теперь из-за них отчаянно дрались кошки. Из-за дверей отцовского дома пахло вяленой рыбой, запеченной с луком и корицей. Хлеб, эль, яблочные лепешки... На коленях у отца непременно лежит Женевская Библия. Помни, в этот день Христос умер ради твоего спасения!..

Нет! Жаркое солнце и река, кишущая змеями, обнаженная царица Савская величественно возлежит на шелковых простынях... Уиллу нестерпимо захотелось сжать весь мир в своих объятиях. Все еще дрожа от охватившего его желания, мальчик снял перчатки, прежде чем войти в дом. На ходу сложил лодочкой правую ладонь и словно зачерпнул ею воздух, чувствуя в руке влажное дыхание юго-западного ветра. А ведь этот легкий ветерок, который долетел до Хенли-стрит с моря, мог надувать паруса кораблей, плывущих домой от берегов Америки или, наоборот, отправляющихся в дальние страны, к туземным островам за несметными сокровищами и заморскими специями. Неведомые края и тайны настойчиво звали Уилла; так кошка жалобно и настойчиво мяукает под дверь, прося, чтобы ее пустили в дом.

— Уилл!

— Бедный Уилл! Чокнутый Уилл!

Мальчик быстро переступил порог дома, с остервенением натягивая перчатки на пальцы, которым в будущем суждено было прикоснуться к великим тайнам мироздания. Доносившиеся из дома голоса звали Уилла к столу.

ГЛАВА 2

Впервые Уилл всерьез задумался о побеге из дома, когда к ним явились отец и мать Элис Стадли, гневно поведавшие Джону Шекспиру о том, что его сын Уилл — вот бесстыдник! — совратил их дочь. И так как девица по его милости оказалась в интересном положении, то теперь он должен на ней жениться, хоть сам еще годами не вышел. Но все равно, раз уж натворил дел, то пусть поступает по совести, а спрос с него теперь будет как со взрослого.

А он-то думал, что это была возможность приблизиться к богине; ему даже казалось, что он видел ее золотые ступни в лучах заходящего солнца. Это было продолжением все того же чудесного видения, посетившего Уилла в Страстную пятницу и вернувшегося вечером Пасхального воскресенья. Весна выдалась теплой. Это произошло на ржаном поле.

— Не надо, нет!

— Да! А-а-а-а!..

Элис Стадли была одной из тех бесстыжих девок, что готовы пойти с любым мужчиной — у нее были темно-карие глаза и блестящие черные волосы, похожие на оперение галок, которые роются в помойке. Однако на месте этой девицы могла запросто оказаться и какая-нибудь Бесс, Джоан, Мэг, Сьюзан или Кейт. Да и чем еще было заняться Уиллу, чтобы скоротать еще один унылый вечер в Стратфорде? Или в Барфорде, Темпл-Графтоне, Верхнем Куинтоне или Эттингтоне (кстати, в Эттингтоне, в обшарпанном доме разжалованного за какие-то грехи и вечно что-то бормочущего себе под нос полоумного адвокатишки, обитала одна разбитная девица, с которой не шли ни в какое сравнение все местные шлюхи). Уилл выросл, превращаясь в приятного молодого человека с полноватыми губами и хорошей походкой, говорившего тихо, но вместе с тем витиевато. Настоящий торговец отличными перчатками. Но кто бы мог подумать, что под маской этого благообразного молодого джентльмена скрывается еще одна личность — вероломный и ненасытный Адам. Это был совсем не он, не Уилл, но какой-то диковинный зверь, которого он, сам того не желая, приютил в своей душе. И коль скоро этот зверь оказался там, Уилл с изумлением наблюдал за его повадками, слыша, как тот кричит чужим, незнакомым голосом, и все-таки стараясь по мере возможности придерживаться ритма — ямба или спондея. Перед глазами юноши снова и снова возникало то чудное видение сияющего божества, попиравшего

ногами огненный шар, готовый вот-вот скрыться за краем земли. Но богиня излучала еще более яркий свет, который охватил весь мир, в то время как солнце тихо угасало. Уилл спешил овладеть богиней посредством темноволосой деревенской жрицы, лежавшей под ним, и громко вскрикивал, изливая в ее лоно горячие потоки семени и чувствуя, как вместе с ними из него уходит жизнь. Но Элис Стадли только насмехалась над ним.

Весь мир превратился в одну большую насмешку: старая мешковина, второпях брошенная на землю, впивающиеся в голый зад колкие сухие былинки; чувство стыда не за сам греховный акт, а за дерзновение применить высокие понятия (например, слово «любовь») к такому низменному действию; ползающие в траве букашки и недовольный писклявый голосок Элис Стадли. Даже измятая одежда теперь тоже казалась Уиллу издевательством, насмешкой над всей его жизнью — нужно заново завязать все шнурки и тесемки, стараясь забыть об обещанном в пылу страсти незабываемом наслаждении, а этим пуговицам вообще не видно конца. Да и все остальное не лучше. Уилл наконец понял, в чем состоит смысл жизни стратфордского перчаточника. Лишняя кружка эля, тошнота и рвота, прогулки по темноте в компании Дика Куини, Джека Белла и еще одного дурачка из Куинтона, устраиваемые специально для того, чтобы попугать благочестивых горожан. Утробное ржание, сопровождающее эти бесцельные шатания, и сожаление о том, что жизнь так коротка и потрачена впустую.

— Любовь, — хныкала Элис, все еще продолжая шнуровать корсет. — Ты говорил о любви.

— Так это ведь тоже любовь. Но я ничего не обещал.

— Ты сказал, что мы поженимся. Ты обещал.

— Мало ли что может сказать мужчина в порыве страсти. — И затем: — К тому же я еще не мужчина, а всего лишь мальчик.

— Но зато в штанах у тебя все в порядке, там у тебя все как у настоящего мужика.

Над Стратфордом сгущались сумерки, Элис торопливо поправляла свой туалет, а Уилл не находил себе места от охватившей его досады: и как у него только язык повернулся назвать все это непотребство любовью? Он грубо сказал:

— Уж в этом-то ты разбираешься, кто бы сомневался. Ты их видела уже немало, и не только у своего папочки, когда подглядывала за ним через дверную щелку.

— Вот возьму и скажу отцу, что ты меня заставил это делать!

Это выяснение отношений уже начало утомлять Уилла.

— То, что с тобой уже делали и Бен Ловелл, и Жервез Блэк из Блокли, и Пип Гейдбн, и все остальные? Они тебя тоже заставляли, да?

Элис заплакала, и вдруг Уиллу стало жалко ее, захотелось снова заключить ее мягкое и пышное тело в объятия, прижаться губами к ее щеке, чувствуя неровность угреватой кожи и попавшие в рот длинные черные волосы. В этот момент он понял, какую власть имеет над ним жалость. Уилл нежно взял девушку за руку и помог подняться с земли. Элис перестала дуться на него и больше уже не хныкала, а, невинно чмокнув его на прощанье, помахала рукой, повернулась и зашагала прочь по освещенному луной полю.

А потом, знойным душным августом, к Уиллу домой пришли ее отец и мать, но никаких доказательств того, что в случившемся виноват именно он, у них, разумеется, не было. Они обходили все дома, где жили юноши, чересчур охочие до плотских утех (потому что едят слишком много мяса и мало капусты, которая, как известно, успокаивает нервы и охлаждает пыл), и уходили, получив в качестве отступного где тестон^[2], а где и вовсе несколько грошей — этого было достаточно, чтобы заткнуть им рот. Найти мужа для Элис будет легко. Устроить засаду в кустах в ожидании неопытного и ничего не подозревающего юнца, польстившегося на пышные формы прелестницы, и поймать его на месте преступления со спущенными штанами. Знакомая история. Родители Элис ушли, всхлипывая точно так же, как это делала их дочь; в потной руке матери была зажата монетка. После этого визита Джон и Мэри Шекспир напустились на своего старшего сына. Стыд, позор, грех, распутство! Встань на колени и молись, только так ты сможешь очиститься от греха (Джон Шекспир обратился к новой истинной вере, которую исповедовали английские торговцы). Уилл ответил отцу какой-то дерзостью; и тогда мать, леди Арден, отвесила ему пощечину. Не помня себя от обиды и негодования, юноша выбежал из дома.

Он уедет отсюда, сбежит этой же ночью и отправится на поиски своей золотой богини. Ночь стояла ясная, в воздухе пахло свежестью, в небе серебрился месяц, со стороны леса доносились соловьиные трели, а Уилл, запахнувшись в свой поношенный плащ с карманами, в которых гулял ветер, решил отправиться в путь. Но куда? На юго-запад, навстречу морским ветрам, в Бристоль, Ившем, Тьюксбери, Глостер... Пеший переход длиною в день или около того и долгожданная награда в конце пути — гавань, соль на губах и лес мачт... А что потом?

Нет, нет, не стоит ему уходить из дома; по крайней мере, не сейчас.

Ему нужно время. И тут Уилл вспомнил о старухе-прорицательнице, Мадж Боуэр, которую за глаза называли старой Маджи, а иногда и просто ведьмой. Мадж жила в лачуге на окраине города. Она заговаривала бородавки и предсказывала будущее, и зачастую эти предсказания сбывались. Ее коты были жирными и лениво жмурились на солнце; в ее доме пахло душистыми травами, давно не стиранным бельем и еще какой-то кислятиной. Наверное, это был запах старости. И вот Уилл, пытаясь унять волнение, разыскал ее лачугу, стоящую в самом конце переулочка, в зарослях бурьяна и крапивы, и, заметив тусклый свет в окошке, постучал. Мадж открыла дверь с фонарем в руках и что-то недовольно прошамкала беззубым ртом, но затем узнала своего позднего гостя ипустила его в дом.

Уилл закашлялся от дыма. В большом котле на огне булькало какое-то варево; с низких балок свисали подвешенные на крючьях куски мяса неизвестного происхождения. Когда юноша вошел, пламя заколыхалось от сквозняка и по стенам затанцевали зловещие тени; кошка облизывала своих новорожденных котят и громко мурлыкала. На кухне Мадж был невероятный беспорядок — грязные тарелки, закопченные котелки, на столе прокисший творог и черствая краюшка хлеба, оказавшаяся, наверное, слишком жесткой для беззубого рта старухи. С улицы в грязное оконце заглядывала коза. Полосатая кошка подошла к Уиллу и замяукала, очевидно прося, чтобы ее взяли на руки и погладили. Это бесхитростное доверие растрогало его, и сердце снова кольнула острая жалость. Уиллу стало жалко эту кошку, точно так же, как он жалел и телят, шкуры которых шли на выделку кожи для перчаток. У него никогда в жизни не поднимется рука на какое-либо животное... Неожиданно он представил всех живых тварей, убитых, растерзанных, преданных, истекающих кровью; их предсмертные крики пронзили его мозг.

— Так что ты хочешь узнать, красавчик? — спросила Мадж.

— Я принесу тебе завтра пенни, — ответил Уилл. — И за эти деньги мне нужно узнать, что ждет меня в будущем, отправлюсь ли я в дальнейшее путешествие или нет. — С этими словами он сел на придвинутый к столу трехногий табурет, перед тем убрав с него грязную лохань для мытья посуды; в нос ему ударил резкий запах прокисшего творога. Мадж снова что-то недовольно зашамкала, но все-таки принесла карты. Уилл узнал эту колоду, хотя сам гадать и не умел. То были особые, гадальные карты, волновавшие его воображение. Не обычная колода для невинной игры в подкидного, а старинные магические картины, сохранившиеся со времен Древнего Египта (так объяснила ему Мадж).

На картах были изображены башни, рушащиеся от удара молнии,

священник с императрицей, кровавая луна, Адам с Евой, воскрешение мертвых в Судный день... Мертвецы на последней карте были нарисованы голыми и заспанными, словно недовольными, что их потревожили.

— Путешествие, значит, — пробормотала старуха. — Что ж, поглядим, есть ли в твоей судьбе путешествие.

Кошка вскочила на стол, как будто тоже собиралась заглянуть в карты, но тут же была сброшена на пол. Гадалка теребила в руках грязную, потрепанную колоду. В тусклом мерцающем свете, среди таинственных теней эта морщинистая старая карга с обломанными грязными ногтями и в заляпанном жиром платье из мешковины (наверное, за долгие годы на это платье пролилось очень много похлебки из костяной ложки, зажатой в дрожащей старушечьей руке) выглядела загадочно и даже величественно. Она вытащила из колоды наугад семь карт и разложила их на столе картинками вниз. Затем дрожащие руки со скрюченными пальцами начали переворачивать карту за картой, и Мадж забормотала какое-то заклинание на странном языке: «Хомини помини дидимус дис дис генитиво тиби дабо аурикулорум». Взгляду Уилла открылись семь картинок: собаки, воющие на кровавую луну, и рак в речной глубине под ними, звезды с обнаженной девицей, жонглер, человек, повешенный на дереве за ноги. Смерть с косой, женщина со львом на поводке и колесница. Мадж еще какое-то время покачивалась, бормоча что-то вполголоса, и в конце концов изрекла:

— Время отправиться в дорогу еще не пришло. Ты должен остаться здесь и встретить женщину, которая заставит тебя уйти отсюда. И еще я вижу семь смертных грехов.

— Что это за женщина? Это она совершит все грехи?

— Женщина тут ни при чем. Грехи будут принесены сюда, и ты заберешь их с собой.

— Я ничего не понимаю.

— Ты пришел сюда ради того, чтобы услышать, а не понять. Ты возьмешь перо и будешь писать, как клерк. Тебя будут погонять и торопить, чтобы ты писал быстрее.

У юноши упало сердце.

— И это все? Ты ничего больше не знаешь?

— Я скажу тебе один стишок, но это будет стоить еще пенни.

— Ладно, завтра принесу два пенни.

Старуха усмехнулась, но вдруг поперхнулась и зашлась в приступе кашля, и на лицо Уиллу попали брызги ее слюны.

— Вот тебе стишок. Запоминай. — И она произнесла нараспев, словно читая слова пророчества с темной стены позади Уилла:

Поймешь, когда появится причина:

Черная женщина или золотой мужчина^[3].

И ни слова больше. Не маловато ли, на два-то пенни?

ГЛАВА 3

Зов богини долетал к нему откуда-то с моря, но Уилл не мог на него ответить; госпожа тщетно звала его, продолжая скрываться за золотыми личинами, существующими лишь в его воображении. Юноша старался выбросить из головы все эти пустые мечты об объятиях и красавицах, манящих его к роскошному ложу, но все-таки над своими снами он был не властен, и чаще всего видения приходили к нему именно во сне. Что же до видений, связанных с путешествиями, то тут он обнаружил, что наиболее яркими они получаются, когда мысли облечены в слова. Ну а вдруг это навсегда отвратит от него богиню? Этого Уилл еще не знал.

Хоби, которого к тому времени уже не было в живых — он умер от горячки, потому что часто спал пьяным под дождем, — иногда довольно связно рассказывал о кораблях и жизни моряков. Он рассказывал о том, как на судне устанавливают пушки, — для пущей важности, а заодно и для устрашения врагов, что в последнее время стало необходимо. Рассказывал о грузчиках, снующих между полуютом и полубаком, где на каждом корабле находятся две шлюпки. Рассказывал о балласте и канатах; о далеко выступающем за борт носе, который часто зачерпывал воду, когда корабль летел вниз с гребня высокой волны. О трюме под нижней палубой, где хранились бочки с прокисшим пивом и червивый сыр. О фоке и форс-марсе на фок-мачте; о топселе на грот-мачте; о бизань-мачте с треугольным парусом или крьюс-марсом; о наставном лиселе и боннете...

Все это были только мечты. Если он, Уилл, подастся в юнги и будет драить палубу на какой-нибудь вонючей посудине, это не сделает его ближе к богине. Слова же открывали перед юношей лучший мир; и вообще, если он станет учиться искусству обращения со словом, то предсказание старой Мадж должно означать, что он станет клерком в каком-нибудь вонючем суде. Ну а вдруг все-таки свершится чудо и поторапливать его будут благородные лорды, умоляя побыстрее закончить оду на день рождения ее величества?

В доме у Бретчгердла, местного приходского священника, было много книг, и он давал их почитать благочестивым молодым людям. Уилл читал Овидия в английском переводе Голдинга, а иногда и в оригинале — и делал это с гораздо большим удовольствием, чем в школе, на уроках учителя Дженкинса. Он медленно, слово за словом разбирал незнакомые тексты, подобно тому, как музыкант, впервые взявший в руки лютню, перебирает

струны в мучительном поиске своей мелодии. Овидий был божествен. А почему бы и Уиллу не стать Овидием, но только по-своему, на английский манер?

Та девушка — и свет, и красота, Тех смуглых щек ничто не запятнает.
За темными бровями чистота Сокрыта...^[4]

...Было послеобеденное время. Душу Уилла охватило радостное волнение: вечером предстояло отправиться в Шотери, чтобы помочь принести оттуда майское дерево. Юноша водил скрипучим гусиным пером по бумаге, сидя у стола, с которого еще не были убраны судки со специями. Резко пахло шафраном и чесноком, которые придавали пикантность давно приевшейся телятине (помогать резать телянка Уилл отказался). В очаге потрескивали сырые поленья недавно спиленного вяза, отчего в комнате было очень душно (но его отец все равно никак не мог согреться), однако эта жара контрастировала с ледяным холодом женского презрения. Свой; сонет Уилл посвящал уже другой темноволосой девушке. Юноша придерживался той сонетной формы, что впервые была предложена графом Сурреем, потому что английский язык не настолько богат на рифмы, чтобы следовать более строгим итальянским канонам. Уилл уже успел уяснить, что писать стихи следует не о каком-то конкретном предмете, а о чем-либо всеобъемлющем, универсальном (не потому ли Платон так сокрушался из-за неискренности поэтов?), и это универсальное и всеобъемлющее должно открывать дверь в новую реальность. В Божественную реальность...

...о которой свет не знает.

Моя любовь черна, но что с того?

Она не ослепляет, только греет.

Мать Уилла была уже немолода, в ее волнистых волосах заметно серебрилась седина, но редкие брови еще сохраняли свой насыщенный рыжеватый оттенок. После обеда она бранила мужа, делая это с тем аристократическим остроумием, на которое была способна лишь урожденная леди Арден. Джоан, ее единственная дочь — бедняжка Энн вот уже три года как умерла, — не спешила убрать со стола крошки, чтобы потом бросить их голубям (эх, вот в Уилмкоте были голуби...), а стояла рядом и злорадно усмехалась. Отец, краснея от унижения, сидел сгорбившись у чадающего, трескучего очага и сосредоточенно грыз ноготь на мизинце.

Разверзся ад, и я иду в него, Ведь ад такой и рая мне милее.

По полу ползал маленький Эдмунд, которому совсем недавно исполнилось два года. Гилберт и Ричард играли на улице, откуда были

слышны их громкие крики. Джоан была настоящей Арден: она во всем поддерживала свою сварливую мать.

— А теперь ты еще и серебро мое продать вздумал. Что ж, мы уже стали настоящими бедняками, а со временем докатимся и до того, что продадим посуду и просто выдолбим лоханки прямо в столе, как это делается в вонючих тавернах, — если, конечно, ты милостиво позволишь нам оставить в доме стол, чтобы было куда разливать похлебку, которую мы будем черпать пригоршнями. Вот стыдобушка-то, вот позор, до чего мы докатились! Уж лучше бы все мои детки умерли, как бедняжка Энн, которая одна не видит всей этой нищеты...

Маленький Эдмунд, радостно пуская слюни, подполз к Уиллу, который по-прежнему сидел у стола, закинув ногу на ногу. Собрался незаметно отпихнуть малыша, но передумал.

И ясный свет других красавиц мне Не по душе: я ночь, на троне ночи...

— А мне он обещал новое платье к Духову дню, — заныла Джоан, злобно глядя на отца. — А теперь говорит, что никакого платья не будет...

Не по душе, ведь я на троне ночи...

— Новое платье? — с готовностью подхватила мать. — Забудь о нем! И получше приглядывай за теми, что у тебя уже есть, а то он и их продаст тайком какому-нибудь бродячему торговцу или того хуже — сменяет на волчок для Неда.

— Мой трон в ночи... Ночь — вот мой трон... — забывшись, пробормотал вслух Уилл.

— И этот еще тут расселся, — в сердцах сказала мать, — со своими дурацкими стишками. Остолоп безголовый. Что проку с этих твоих писулек?

— Многим людям, — робко заметил отец, — своевременно написанные стихи помогали продвинуться по службе.

И ясный свет других красавиц мне Не по душе: я ночью коронован, Я погружаюсь в ночь...

Нет, слишком громоздко, так не годится...

— Уилл чокнутый и лентяй, — вторила матери Джоан.

В ответ Уилл скорчил сестре рожу: скосил глаза к переносице, втянул щеки и задрал пальцем нос, изображая ее выступающие скулы и крупные, словно у лошади, ноздри. И тут ему в голову пришло продолжение:

И снова я иду в крошечной тьме И, как дитя, боюсь ошибок снова.

Теперь нужно было написать заключительное двустишие, по выразительности превосходящее все двенадцать предшествующих строк.

Но тут снова подал голос отец.

— Если дело в работе, то что ж, сейчас мы пойдем работать, — сказал он, со вздохом покидая свое место у огня. — Идем, Уилл, займемся делом.

И в этой школе ночи вижу свет...

Уилл мучительно подбирал рифму, — закатив глаза и смотря на темные балки, поддерживающие низкий потолок.

— Что, меня здесь уже никто и в грош не ставит? — В конце концов отцовское терпение лопнуло, и Шекспира-старшего охватила ярость. — Ни в доме, ни в моей собственной мастерской?

А Уилл, этот безмозглый мальчишка, все так же неподвижно сидел, с глубокомысленным видом покусывая перо и щекоча его мокрым кончиком верхнюю губу. Джоан хихикнула. Уилл же сказал:

— Еще минуточку. Стихотворение уже почти готово.

Мать обратилась к отцу:

— Вот видишь, твой отпрыск уже озаботился продвижением по службе. Он будет расшаркиваться перед ее величеством и трясти перед ней своими каракулями, а мы всей семьей пойдем побираться, потому что работников в этом доме больше не осталось!

Я в школе ночи, и ищу я свет...

И тогда отец, этот тихий, незлобивый человек со слабыми кулаками, кожа на которых была пятнистой, словно кукушечье яйцо, сделал и вовсе невиданную вещь, заставившую Уилла разинуть рот от изумления; разжеванные огрызки гусиного пера упали на стол. Отец выхватил из-под самого носа Уилла листок с великолепным, хоть и незаконченным шедевром и сделал вид, что собирается его порвать. Сын в ярости вскочил из-за стола, и в следующее мгновение ему показалось, что в доме появилась его богиня. Она впорхнула вместе с ветром. Через дымоход, сделала пламя камина ослепительно золотым и с размаху толкнула Уилла в спину, заставляя его вступить в битву (чтобы найти свет и за него сражаться...) с отцом, матерью, сестрой, со всем миром, который на него, Уилла, ополчился. Юноша поборолся немного с отцом за обладание помятым листком бумаги с записанными на нем тринадцатью строками (сонет, оборвавшийся на тринадцатой строке, — очень плохая примета), и затем бумага порвалась, а Джоан злорадно засмеялась. Охваченный поэтическим безумием Уилл в этот момент был готов убить собственного отца, но Джоан была его сестрой, ровней, поэтому выместить на ней свою злобу было куда безопаснее. Уилл подбежал к сестре, влепил ей звонкую пощечину, крикнув что-то вроде «Вот тебе, сука!», и Джоан взвыла, словно собака, на которую выплеснули лохань кипятку. И тут к Уиллу пришла

последняя строка:

Там, где его и не было, и нет.

Дрожа от гнева и непонятно откуда взявшегося восторга, Уилл огляделся по сторонам. Он не испытывал ни стыда, ни страха. Все кругом зашумели, осуждая его поступок; на полу ревел маленький Эдмунд. Уилл же гордо возвышался над всем этим, чувствуя себя римским триумфатором, и наверняка поставил бы ногу на спину ползающему на четвереньках Эдмунду, если бы тот не забрался под стол. Уилл стоял с высоко поднятой головой, словно могущественный волшебник, который вызвал на всей земле разрушительные ураганы и наводнения. В окно заглянул случайный прохожий, привлеченный гневными криками. Это был сифилитик с провалившимся носом. Уилл крикнул ему:

Я в школе ночи, и ищу я свет Там, где его и не было, и нет!

Тот пошел своей дорогой. Его появление тоже можно было считать знамением, и магическое заклинание Уилла чудесным образом положило конец всеобщему неистовству. Мать опасливо перекрестилась и протянула руки к рыдающей Джоан.

— Иди сюда, цыпочка, иди к маме, — заворковала она. — Ну же, успокойся, не плачь. А ты, Джек, не трогай его. Это не мой сын, это сущий дьявол. Он просто животное, в его жилах течет дурная кровь, и теперь вся его дьявольская сущность выходит наружу. Ну же, перестань, вытри слезки, цыпочка. Он тебе не брат!

Отец закусил нижнюю губу и молча глядел то на сына, то на измятый и разорванный листок с сонетом: свет красавицы во тьме, путеводная искра, жар, сердце, очаг, земля... (У парня, хвала Господу, светлая голова, а я, дурак, забрал его из школы. Во всем виноват я сам, но в чем же именно я просчитался?) Затем с улицы прибежал придурковатый Гилберт и объявил:

— Там Бог! Я видел Бога, Он был в шляпе и прошел по Хенли-стрит!

Лицо отца исказилось: казалось, что он вот-вот заплачет, продолжив истерику шмыгающей носом Джоан. Ее лицо все еще было мокрым от слез.

— Вот так. Я упал и немного поспал, а потом проснулся снова. Вот.

Мать устало обернулась к нему и спросила:

— А где Дикон?

— Дик весь перепачкался и боится идти домой. Он весь в дерьме. Мальчишки его толкнули, и он упал в дерьмо.

— Какие еще мальчишки? — повысила голос мать.

Уилл спокойно посмотрел на отца, и тот смущенно поднял на него глаза. Ему явно было не по себе. Он кивнул сыну.

— Том с холма и его дружок из Верхнего Куинтона, немой. Вот.

Воспользовавшись замешательством леди Арден, отец поторопился уйти. У него не было никакого желания выслушивать ее тирады на тему дерьма. Ах, если бы она только в свое время не совершила величайшую глупость в жизни и вышла бы замуж (ха-ха!) за пэра Джейкса, то сейчас даже слов таких не знала бы. Все, с меня хватит, сил моих больше нет! Вы все сведете меня с ума! Джек, пойдя приведи мальчика с улицы и переодень его. Иди же сделай хоть что-нибудь, хватит стоять здесь как истукан.

— За работу, — проворчал Джон Шекспир до того, как его жена успела все это сказать. Он схватил Уилла за руку и так стремительно увлек его за собой, что у самой двери тот едва не споткнулся о маленького Эдмунда. Когда они вышли на улицу, отец прошептал: — Работы у нас, помогай нам Боже, не много. Но зато у меня где-то был припрятан отличный кусок старого пергамента. Возьми его и перепиши свое стихотворение как полагается.

ГЛАВА 4

Этот сонет, переписанный аккуратным почерком, без помарок и клякс, продолжал согревать Уиллу душу, когда тем же погожим майским вечером в компании с Брейлсом, Недом Торпом и Диком Куини он пошел, а точнее сказать, поковылял (избыток эля в крови придавал храбрости) по дороге, ведущей в Шотери. Его спутники были отличными веселыми парнями, которые не разбирались в грамоте, а тем более в поэзии, но зато обожали грубые шутки и розыгрыши, особенно когда удавалось проломить кому-нибудь голову, поиздеваться, напугать до полусмерти или обратить в бегство, а также украсть что плохо лежит, отдохнуть в обществе покладистых девиц и так далее. Но за напускной бравадой Дика Куини скрывалась нежная душа; у него были карие глаза, почти такие же, как у Уилла, только взгляд их был более трогательным и по-собачьи преданным. Часто на уроках грамматики, когда учитель Дженкинс кивал над своей раскрытой книгой, Уилл рассказывал Дикун сказки и легенды о старых временах, а еще истории собственного сочинения. Возможно, что этот преданный, обожающий взгляд говорил Уиллу о том, что они лишь попусту тратят здесь время? Торп и Брейлс шли по роще, поддерживая друг друга, и распевали какую-то разухабистую песенку:

Пей, пей, ни о чем не жалея, Пусть дама твоя не придет, И ночь уж давно — тебе все равно, Ведь Родни уже не встает^[5].

Сердце Уилла трепетало от восторга и страха; он чувствовал непреодолимое желание обладать черноволосой женщиной, гладить ее волосы, чувствовать запах ее тела, и ему стоило немалых усилий, чтобы не поддаться этому наваждению. Он не испытывал никаких чувств к светловолосым девушкам, равно как не волновали его и рыжие — все они были похожи на женщин из семейства Арден и к тому же напоминали Уиллу о том открытии, которое он сделал для себя в тот знаменательный вторник на Страстной неделе. По отношению к ним он не чувствовал ничего, кроме ненависти, сам еще не будучи точно уверен, что это такое... Он знал, что такое жалость, злость и презрение к самому себе за то, что связался с этими грубыми краснорожими горлопанами. Теперь веселой компании предстояло провести всю ночь на поляне среди праздничных костров, с собой они захватили небольшой брусок сыра, хлеб из бобовой муки, тушку кролика и несколько краденых кур, а также унесенную из таверны бутылку с сидром. Кроме того, у каждого весельчака было наготове

еще кое-что.

Что же до другой, символической палки, майского дерева, то уже скоро стараниями пуритан, искореняющих идолопоклонство, эта традиция в Уорвикшире будет изжита... Майское дерево, украшенное букетиками душистых цветов и пахучими травами, пуритане называли не иначе как вонючим идолом. Времена менялись, и прежняя вольница уходила в прошлое... Но эта нежная ночь все-таки будет полна смеха и веселья, и наутро ритуальное дерево-божество, увешанное венками и лентами, доставят домой на повозке, запряженной волами, и на кончиках рогов каждого вола тоже будет по маленькому букетику... Небольшие группы молодежи разбредались по роще, а затем каждая компания распадалась на отдельные пары. Девушка Уилла должна была ждать своего кавалера на поляне. Сгущались сумерки, запад был охвачен заревом заката, а на востоке уже была крошечная тьма.

Четверых новоприбывших встретили радостные крики и смех. Где-то совсем рядом глухо стучал старинный барабан, тоненько выводила мелодию флейта и трубил рог Робин Гуда (что ж, достойная встреча для легендарного Уилла Скарлетта). Юноши быстро отделались от своих корзинок с провизией, вязанок дров и потрепанных плащей. Уилл заприметил в толпе кое-кого из своих знакомых: Тэппа, Робертса, Маленького Нуна, Брауна, Хокса, Диггенса, Все они были со своими девушками; Но где же его подруга?

Она тоже была здесь, но с другим парнем. Увидев Уилла, девушка засмеялась и помахала ему рукой. Уилл почти не знал своего соперника; белобрысый мальчик — не то Бригг, не то Хоггет, или Хаггет, сынок не то пекаря, не то мельника. Он совсем не был лучше юного перчаточника — крикливый юнец со светлым пушком на лице и маленькими пороссячьими глазками. Сонет в нагрудном кармане жег грудь сочинителя, готового провалиться сквозь землю от стыда и злости. Сердце Уилла будто разлетелось на мелкие кусочки, подобно холодному пирогу, оброненному на каменный пол кухни. Уилл повернулся и бросился бежать прочь от своих приятелей, а те кричали ему вслед: «Ага! Ему невтерпеж! Его уже припекло!» Дик Куини побежал за ним. Он заметил все и все понял.

— Да здесь и без нее девок полно, — пытался он урезонить приятеля. — На кой черт она тебе сдалась...

— Оставь меня.

— Я пойду с тобой.

— Мне никто не нужен. — Уилл рванул одежду на груди, отчего во все стороны полетели пуговицы, и достал ненужный теперь сонет. — Вот,

возьми. Может, тебе удастся стать ее очередным ухажером. Может быть, это поможет тебе купить ее расположение после того, как ей наскучит этот олух.

Дик Куини взял протянутый листок, недоумевая, что бы это могло быть. Уилл убежал. Дик снова принялся звать его, просил вернуться, но преследовать не стал.

Куда ему было бежать? Не в лес, не в церковь, не на пруд и не домой. Оставалась пивная. Ведь он как-никак был при деньгах. Тьма быстро сгущалась, кровавое, зарево над западным горизонтом погасло. Пивная тем вечером была переполнена бедняками — это была толпа нетрезвых, дерущих глотки, как сычи, оборванцев, которые принесли с собой запах грязного тела и смрадное дыхание. Совершенно неожиданно перед глазами Уилла возник вид величественного Лондона

— красные башни над зелеными водами реки, по которой плывут белые лебеди... Он протиснулся вперед и занял место на скамье рядом со старым закопченным пастухом, от которого пахло дегтем. Обломанные ногти пастуха были обведены темной каемкой грязи. Пытаясь перекрыть гул голосов, старик что-то громко доказывал своему соседу — такому же худощавому и подслеповатому старику, который время от времени согласно кивал и что-то шамкал беззубым ртом. (И что, ты думаешь, я тогда сделал? Я встал и прямо так и сказал: « Попрошу внести залог по четыре пенса за дюйм!» Вот прямо так и сказал, точно тебе говорю.) У обслуживавшей Уилла девицы за корсет была засунута большая ромашка. Юношу порадовали эти большие округлые груди, туго стянутые снизу корсетом и покачивающиеся в эдаком уютном гнездышке; девушка открыто, по-деревенски улыбнулась ему. Он выпил. Наверно, она приняла его за щедрого красавчика, благородного господина, носящего перчатки. Звякнула монетка, широким жестом брошенная на стол. (На, возьми, это тебе за труды. — Благодарствую, вы очень добры, ваша светлость, храни вас Господь.) Уилл выпил, велел принести еще; у него при себе было шесть пенсов, и он не уйдет отсюда, покуда не пропьет все до последнего гроша.

В пивной говорили охотно, много и громко, стараясь перекрыть друг друга. ...А вот кое-кому уже больше не растить ячмень и не собирать урожай. Ага, не то умер от свища, не то отравился какой-то дрянью, точно не знаю. Давай, наливай еще, не откажусь. А кто откажется-то? Вера, верность — все это сплошная ложь и обман. ...И сосед Уилла вполголоса выругался.

И вот уже, усталый, он подходит к темнеющим воротам царства мертвых, И Цербер многоглавый говорит:

«Остановись! Кого ты ищешь, смертный?»

«Того, который Трою покорил.

Смертельный дар послал он всем троянам.

Его ищу — и всю его команду...»^[6]

— У лошади будут глисты, точно-точно. И твоего упертого христианина тоже не минет чаша сия.

Уилл вышел на улицу, чтобы справить малую нужду, и едва не упал, споткнувшись о лежащего на земле пьяницу. Вот и взошла луна. Юноша живо представил свою бывшую подругу в объятиях соперника, его голый зад, посеребренный светом луны и совершающий ритмичные движения. Кровь клокотала от праведного гнева, Уилл жаждал отмщения. Он устроит им неслыханный скандал, прогонит их голыми по дороге, будет стегать березовыми прутьями, готовый растерзать, убить коварную изменщицу... Но сначала он как следует напьется, пропьет все свои шесть пенсов.

Итак, решено. Он будет накачиваться элем в компании безмозглых, звероподобных деревенских мужланов, этих похотливых жеребцов с кружками в грязных мозолистых руках. Он будет слушать байку, которую рассказывает бродяга с крысиными шкурками на поясе и остроконечным колпаком на голове. Жанровая зарисовка из жизни сельских пьяниц. Так пей же вместе с ними, будущий благородный господин Уилл! Хохоchi в пьяном угаре вместе с батраками Томом и Диком, вместе с чудаком по прозвищу Черный Джек из Лонг-Комптона. Лондон ждет тебя — но немного позже...

Ну что, молокосос, съел?.. Чего-чего? Да мне на тебя вообще плевать. Что, захотел по зубам? А ты вообще заткнись, потому что ты просто сопливый урод. А я был на войне и даже знаю по-голландски. Ik от England soldado. Ugifme to trinken. Кто врет, я вру? Ну погоди, сейчас я ему зубы-то пересчитаю! Уж я ему задам! Вы все тут просто деревенский сброд, а вот этот щенок может уже считать себя покойником. Эй ты, сопляк, ты мне уже надоел. Сейчас я тебе накостыляю! Мое оружие — простой кулак, но чтобы разбить твою наглую рожу, его вполне достаточно!

Нестройный гул голосов, брань, пьяные выкрики, поддразнивающие драчуна... Верзила в широких штанах и засаленной кожаной тужурке, без шляпы, с всклоченными патлами, нетвердо ступая, направился к Уиллу. Уилл снисходительно улыбнулся, и вдруг верзила как-то странно взмахнул рукой и с силой ударил противника в живот. Уиллу вдруг почудилось, что множеству осушенных им кружек с элем был отдан приказ отправиться в обратном направлении, из кишок прямо на луну, и он был не в силах этому воспротивиться. Он почувствовал, как кровь бросается в голову, щеки

готовы лопнуть, а глаза вот-вот выскочат из орбит. А ведь он успел пропить только три пенни... Нет-нет, ему уже знакомо это чувство... Униженный, побитый, высеченный розгами, опозоренный, вышвырнутый вон. Палуба под ногами ходит ходуном. Эй, салаги! Всем стоять смирно!..

Уиллу было дурно. Уиллу было больно. В трюме плескались огромные волны, корабль шел ко дну. Прощай, кают-компания! Под оглушительный хохот пьяной толпы юноша стал торить себе дорогу к выходу. При этом трезвомыслящий Уилл с ужасом и отвращением смотрел на пьяного Уилла. Его толкали со всех сторон, он оборачивался, огрызался, отбивался как мог. А воспаленный мозг поэта, который, казалось, стремительно разрастался, подобно поганому грибу, так что ему уже было тесно в пьяной голове Уилла, извергал из своих недр прекрасные стихи, и безжалостная богиня отрешенно наблюдала, как страдает это тело.

И весь в цветах, он в праздничной одежде Отправился в нелегкий долгий путь, Чтобы увидеть тот высокий столп, Что подпирает небо... [7]

Вот я и докатился! Безмозглый идиот, которому досталась роль пьяницы в каком-то дурацком моралите, уходит со сцены под дружный хохот зрителей. Итак, спектакль заканчивается! Уилл зевнул и вразвалочку пошел по палубе своего корабля, трюмы которого были наполнены элем. Пьяному взгляду юноши открылись совсем другие звезды, которые мог видеть лишь он один, прямо-таки настоящее ложе Кассиопеи. Но тут пришел новый приступ тошноты; содержимое желудка и кишок неудержимо рвалось наружу. Уилла стошнило, и он заплакал от обиды, не желая покидать свое созвездие. Каждый шаг давался его заплетающимся ногам с большим трудом. Мама, мама, мамочка!

С тех пор минула будто целая вечность, и вот он наконец проснулся. Уже светало, и от птичьего щебета звенело в ушах. Пахло травой и листьями, и к запахам растений примешивался еще один, очень уютный запах — запах мамы. Это был еле уловимый аромат молока, соли, дрожжей и теплый, чуть кисловатый запах женской груди. Уилл вздохнул и попытался накрыться плащом с головой. Во рту был мерзкий привкус, как будто он лизал ржавое железо. Юноша открыл глаза и увидел, что весь потолок почему-то покрыт листьями, а мощные бревна балок непостижимым образом превратились в ветки деревьев. Сквозь листву проглядывало белое небо, и это удивительное зрелище заставило Уилла окончательно проснуться. Заметив это, его спутница улыбнулась и нежно поцеловала юношу в лоб. Ее плечи, руки и грудь были обнажены. Молодые люди лежали рядом под двумя плащами, на какой-то брошенной на сырую землю мохнатой подстилке, которую, впрочем, без труда протыкали

насквозь колючая трава и острые сучья. Уилл был одет, хотя одежда его была расстегнута и очень помята. Он стал вспоминать, каким образом здесь очутился, но так ничего и не припомнил. Значит, так: он находится в лесу, в Шотери, но откуда взялась эта женщина, что лежит рядом с ним? Спрашивать об этом у нее самой все-таки будет не слишком-то учтиво. Наверное, нужно улыбнуться ей и пожелать доброго утра. Всему свое время. Если он проявит чуточку терпения, то скоро все прояснится само собой, надо только подождать. Но Боже милосердный, что же он натворил за эту ночь, ночь полного беспамятства? Никогда-никогда-никогда-никогда-никогда он больше так не напьется! Впредь нужно будет вести разумную, трезвую жизнь... Девушка с жаром зашептала ему на ухо: «Скоро уже совсем рассветет, и тут опять будет шляться народ. Давай!» И она легла на него, высокая, но совсем не тяжелая женщина, не обращая внимания на протесты Уилла, что его рот совсем не готов для поцелуев, что нужно прополоскать его, хотя бы даже собственной слюной. Уилл попытался увернуться от ее губ, опрокинув девушку на бок и припав губами к ее левой груди. Он принялся водить онемевшим языком вокруг упругого розового соска, водить до тех пор, пока она не начала задыхаться. Тогда он поднял голову, переводя дыхание и нежно проводя рукой по распущенным золотисто-рыжим волосам этой деревенской Венеры, разглядывая ее высокий лоб, подрагивающие светлые ресницы, родинку на длинной шее, глядящую на него своим темным глазком. Уилл подумал о том, что, возможно, он знает эту девушку (ведь она наверняка живет где-то неподалеку), но он был полностью уверен в том, что *так близко* они с ней не были знакомы. Но разве у нее не рыжие волосы, разве она не напоминает ему женщин из семейства Арден? Да, все верно, но только этим утром, еще не вполне протрезвев и жадно набрасываясь на свою партнершу в порыве какой-то первобытной дикой страсти, он не думал о таких пустяках. Он хотел только поскорее насытиться и довести дело до конца. (Это назло, убеждал Уилл себя, назло той, другой, которая бессовестно вертит хвостом перед тупорылым сынком мельника.) А эта свела его с ума. Она вцепилась в него и выдала такую тираду, что Уилл опешил, поскольку не догадывался, что женщина может знать, а тем более произносить такие слова. И вот наступил финал. Уилл вскрикнул, орошая своим семенем ее горячее лоно, по-щенячьи дрожа всем телом и храпя, словно жеребец.

После этого, он, к своему большому изумлению, не почувствовал стыда. Они неподвижно лежали рядом под раскидистым деревом, а утро уверенно вступало в свои права. Девушка что-то оживленно рассказывала,

а Уилл напряженно слушал, пытаясь уловить хоть какой-то намек на то, что с ним случилось накануне. «...Ну вот, значит, а она мне говорит: „Если Энн не захомутает кого-нибудь из этих парней, то тогда ее братья...“ Итак, ее звали Энн. Она была воплощением человеческой непосредственности, а еще от нее пахло летом и ключевой водой. Уилл отметил про себя, что ей, наверное, уже лет двадцать пять, а то и больше. Короче, уже не девочка. Стройна, подвижна и ничем не напоминает пышнотелую королеву птичьего двора, раздобревшую от сытой сельской пищи. К тому же говорила она по-городскому правильно, и, в отличие от Элис Стадли, в ее речи не было слышно деревенского акцента. Уилл провел пальцами по ее изящной шее и почувствовал биение пульса. Энн была подчеркнута женственна (и наверняка смущенно отворачивалась, увидев, что петух топчет курицу), и это совсем не вязалось ни с тем, как она полуобнаженной возлежала теперь рядом с ним, ни с тем бурным оргазмом, случившимся всего несколько минут назад и сопровождаемым крепкой бранью... Уилл мечтательно улыбнулся. А что еще ему оставалось делать? Его до сих пор слегка подташнивало, но скоро он встанет с земли и пойдет своей дорогой, бросив на прощанье: „Что ж, Энн, приятно было познакомиться. Может быть, когда-нибудь свидимся...“ Он тихо произнес ее имя — Энн, — словно пробуя его на вкус в столь интимном контексте, хотя и с большим опозданием...

И то, что он назвал ее по имени, произвело такой эффект, как если бы Энн отведала шпанской мушки.

— Быстрее, — выдохнула она. — У нас еще есть время. Давай еще раз... — С этими словами ее длинные изящные пальчики крепко обхватили его член. — А если ты не можешь... — Она снова легла на него. Кончик ее языка касался его кадыка, а проворные женские пальцы умело массировали член, который скоро восстал, словно пробудившись от долгого сна.

Вот с такими приключениями майское дерево было доставлено домой.

ГЛАВА 5

Тогда Уилл даже не предполагал, что именно эта женщина будет присматривать за ним, когда он забудется тяжелым сном — не из-за опьянения, а от желания умереть. Он будет лежать прикрыв глаза и притворяясь спящим. Она спустится по скрипучей лестнице — охающая старая карга — и привычно примется хлопотать по хозяйству. Бульон для больного, курица в глиняном горшочке, приправленная мускатным орехом, семенами аниса, корнем солодки, розовой водой, белым вином и финиками... Тихая пожилая женщина, читательница «Советов благочестивой хозяйке» и «Сокровищницы рецептов» (как сделать луковопаточный сок, самое действенное средство против чумы и прочей заразы), ярая пуританка, которая увлекается нравоучительными книгами вроде «Пророчества о грядущем пришествии Господнем», «Наказания для величайших грешников» и «Самого действенного очищения души и тела для неправедных и неверующих». В горшках будет кипеть похлебка, а Энн сядет и примется почесывать поясницу через ткань верхней юбки и тербить в руках книгу.

Надо признать, что его ловко провели, загнали в угол, словно кролика, а он, идиот, так легко попался на удочку этой ловкой распутницы. Так уж устроены мужчины: сначала они просто ведут себя как дураки, а потом становятся еще и рогоносцами. Наверно, таков удел всех мужей, аминь. Это расхожее мнение устраивает всех, но истина состоит в том, что мужчины сами выбирают для себя то, что потом имеют. Для Уилла итогом той майской интрижки стала простуда, колики в животе и отбитая задница, и именно эти недомогания убедили его послать весь Шотери (будь он неладен) к чертовой матери и признать, что все-таки, наверное, правы были те, кто называл майские деревья вонючими идолами. Но начиналось лето, дни становились все длиннее, и юноша снова был готов к любви, но на этот раз он хотел обрести настоящую, чистую любовь, лишенную притворной застенчивости. Сначала он занимался только изготовлением перчаток, монотонной, но успокаивающей нервы работой, а вечерами читал при свече Плутарха в переводе Норта и Овидия в переводе Голдинга.

Уилл попробовал сочинять сам — получилось скучное повествование, где строфами из четырнадцати строк каждая рассказывалось о том, как римляне проиграли войну из-за вероломства предателя. Но однажды отец попросил его съездить в Темпл-Графтон за козлиными шкурами, которые

шли на лайковые перчатки.

— Уэтли человек порядочный. Читает много из Священного писания, да и вообще не дурак. Он из Снитерфилда, как и я сам. Так что поезжай на Гнедом Гарри, копыто у него уже зажило.

Для того чтобы попасть в Темпл-Графтон, нужно обогнуть Шотери, «Энн, Энн, Энн, Энн», — пели скворцы. День выдался жаркий, но Уилл все время ежился. Теперь он знал, кем была та женщина: дочка покойного Дика Хетеуэя с фермы «Хьюлендс», своенравная особа, закаленная унижительной необходимостью жить под одной крышей с людьми, которых она не считала своими родственниками, — со своей мачехой и тремя братьями, приходившимися ей таковыми лишь по отцу. Вот, годы-то идут, а ты все еще в девках ходишь. Да и кому ты нужна, кто на тебя позарится-то... Эй ты, бестолочь, ну-ка приведи сюда Гарри. Уилл хорошо помнил крепкую хватку ее острых коготков, но почему-то был уверен в том, что ему ничто не угрожает, наивно полагая, что мужчину не заставишь сделать то, чего он сам делать не желает. Что же до возможного отцовства, то тут и вовсе было нечего бояться, так как Уилл у нее был далеко не первый. Девственницей Энн не была, хотя, конечно, в пьяном угаре он мог этого попросту не заметить. Но это вряд ли. По крайней мере, она вела себя как опытная женщина.

И все равно птичьи крики, выкликающие это имя — Энн, Энн, Энн... — сопровождали его до самого Темпл-Графтона. Там, в доме Уэтли (глава семьи Уэтли был скорняком), его дожидалась другая Энн, при виде которой он напрочь забывал о той, первой, потому что этой Энн было всего семнадцать лет, и она была свежа и чиста, как весна; у нее были густые черные волосы, белесые брови и темно-карие глаза, взгляд которых был таким же открытым и искренним, как у Дика Куини.

— Энн, — зевнул папаша Уэтли, широко расставляя ноги в мягких домашних туфлях, — налей ему вина. Это Джека сын, — пояснил он, обращаясь к жене. — Того Джека, что из Снитерфилда. — И его жена, только что вернувшаяся из коровника, улыбнулась: цветущая пышнотелая женщина, такая же миловидная, как и ее дочь.

Энн, единственный ребенок в семье (ее брат умер при рождении), жила в тихом уединении и неизменно с большим интересом слушала рассказы этого молодого человека с чувственными глазами и хорошо подвешенным языком. Когда Уилл приехал к ним во второй раз, она даже гуляла с ним по саду (под неусыпным присмотром родителей, наблюдавших за дочерью из окна: понятно, парень-то свое дело знает, а вот нашей как бы не сплеховать. А как вы называете эти цветы? А вот эти? У

некоторых цветов бывает несколько названий. А вот этот цветок мне не нравится, он пахнет могилой. Ну что вы, ведь вы еще так молоды, чтобы говорить о запахе могил. А как по-вашему, о чем мне уже не рано говорить? Этого я не знаю; право, вы ставите меня в неловкое положение своим вопросом. Видите, я даже смутился.

Когда же он влюбился? Может быть, во время пятого или седьмого визита к Уэтли, когда родители ненадолго оставили двоих молодых людей без присмотра? Юноша взял девушку за руку, и она не отдернула свою ладонь — такую прохладную, с изящными длинными пальчиками. Уилл очень близко увидел обтянутую платьем упругую девичью грудь, и кровь бросилась ему в голову. Нет, эта не похоть, не вожделение. Это можно назвать любовью. И он подумал: влюбиться — поступок, достойный Уильяма. Я сам постелю свою постель и буду действовать по собственному усмотрению, остепенюсь, раз и навсегда освобожусь из острых когтей похоти и всей душой отдамся во власть нежных прикосновений, чувственных пальчиков любви. Энн Уэтли еще не знает мужчины и будет оставаться таковой до тех пор, пока белоснежные простыни пахнувшей лавандой брачной постели (Уилл дал себе зарок, что в эту ночь он ни за что не будет пить) не примут их в свои объятия. Ах эти нежные белые руки и звонкий, словно мальчишечий голосок! Но может быть, это сладостное дыхание невинности слишком роскошно для него? Если он пойдет по этому пути, то сумеет ли добиться исполнения другой своей мечты — стяжать славу и умереть в Нью-Плейс известным и уважаемым человеком? И вообще, какой она должна быть, эта самая заветная мечта всей жизни? Ответьте Уиллу, ответьте же.

Если учесть незавидное материальное положение Шекспира-старшего, этот брак стал бы для семьи спасением, ведь Уэтли дал бы за дочь богатое приданое. А пока в сумерках раздавались только нежные слова пылкого влюбленного, с чем никак не мог смириться похотливый Адам, живущий в душе Уилла. Угомонись же, подожди, осталось совсем немного. Всего лишь дожить до весны...

Черт возьми, будь мы все прокляты! Правду говорят, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад; и разве не сам Бог создал Люцифера, зная наперед, в какое пламя тот ввергнет себя? Итак, желание является неотъемлемой частью любви, а неутоленное желание есть зло. Значит, если утолить это желание — тайком, где-нибудь на стороне, чтобы никто не догадался, — то любовь останется чиста, как только может быть чиста добродетель. Это же проще простого. Можно будет дожидаться весны, а вместе с ней и настоящей любви (такая длительная помолвка была

предложена родителями Энн Уэтли), а самому тем временем наведываться на ферму «Хьюлендс» — но только не прямым, а окольными путями, воровато озираясь по сторонам. Прокрасться в сад и дожидаться, когда она выйдет туда за розами.

И вот она вышла, та, первая Энн. Стоял теплый августовский вечер. Они лежали на сухом мху под раскидистым дубом. Уилл чувствовал себя несмышленным мальчиком, а Энн Хетеуэй казалась ему настоящей женщиной и была неотразима. И уж теперь-то она разделается с этим юнцом по-свойски, так что заходящее солнце, прежде чем спрятаться за горизонт, будет долго дивиться на белые, ритмично движущиеся ягодицы, в то время как Энн будет возлежать полуобнаженной на своем ложе среди цветов. И именно тогда наступил тот момент, когда пути назад уже не было: когда все было кончено, Уиллу показалось, что из-за живой изгороди за ними кто-то подглядывает. Но это было еще не все. Внезапно в безоблачном небе молния вывела огненными буквами его имя — Уильям Шекспир, — и затем грянул гром, похожий на стук печати, скрепляющей подпись. Энн улыбнулась Уилли, эта дьяволица, суккуб и инкуб в одном лице (и как же он не заметил этого раньше?), она чувствовала себя вполне вольготно на голой земле, но наверняка отдала бы предпочтение супружеской постели. И в довершение ко всему ему вдруг показалось, что его семя каким-то образом укоренилось в ее чреве и начало расти. Будь он человеком набожным, как другие отпрыски семейства Арден, то наверняка бы перекрестился.

«Энн, Энн», — слышалось ему в бое часов. «Энн, Энн», — кричали грачи. К Энн Уэтли, к этой милой целомудренной девочке он ездил почти каждый день: благочестивый жених, умеющий держать себя в руках. Но вместе с тем его не покидало предчувствие (Уилла одолевали ночные кошмары), что им не следует тянуть со свадьбой до весны. Они должны во что бы то ни стало успеть пожениться до начала Рождественского поста.

— Что это за новости? — строго спросил папаша Уэтли. — Почему вы так торопитесь? Смотрите у меня, если вы занимались тем, о чем я подумал, то, видит Бог, мой кнут плачет по вас обоим.

— Нет, нет, ничего такого не было. — Уилл заставил себя слабо улыбнуться. — Просто мне хотелось бы жениться на Энн прежде, чем злой рок успеет мне помешать. Последнее время мне снятся одни кошмары.

— Перестань, парень, все это лишь игра воображения, ей не стоит верить. Так что наберись терпения и жди. Пусть кровь твоя будет холодна, а сердце гррячо. Всего несколько месяцев — разве это срок?

...Холодным ноябрьским днем, когда в воздухе уже чувствовалось

морозное дыхание зимы, Уилл привычно направлялся в Темпд-Графгон. Конские копыта звонко цокали по подмерзшей дороге, Неподалеку от Шотери его остановили двое мужчин. Они обратились к нему по имени и потребовали, чтобы он слез с коня.

— Нет, я опаздываю и очень спешу. Что вам от меня нужно?

Оба незнакомца были круглолицыми, бородатыми и внешне очень похожими друг на друга. По виду — йомены^[8]. На обоих была добротная одежда из кожи, говорили они резко и держались очень уверенно.

— Дело не в том, что нужно нам, а в том, чего хочет она и чего требуют честь и справедливость.

— Что же до того, что ты опаздываешь, то ты и так уже очень опоздал. Я,

— продолжал свою мысль этот остроумный оратор, видимо, не привыкший лезть за словом в карман, — Фал к Сэнделс. А это — мастер Джон Ричардсон. Мы родственники госпожи Хетеуэй.

— Ну и как она? — глупо спросил Уилл. — Столько времени прошло с тех пор, как... Наверное, уже несколько недель. С ней все в порядке?

— Она в порядке, — ответил Джон Ричардсон. Его левая щека нервно подергивалась, словно он пытался согнать невидимую муху; — И день ото дня становится все больше и больше. Можно сказать, растет как на дрожжах.

— Поздно... — Добавил Фалк Сэнделс. — Но ничего. Ты опоздал с расспросами, но все-таки, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Она тебя ждет. Будь готов к тому, что она начнет попрекать тебя за нерасторопность, но потом обязательно сменит гнев на милость.

— Несколько недель они не виделись, — фыркнул Джон Ричардсон. — Тоже мне... Сказал бы лучше, несколько месяцев. Во всяком случае, времени прошло достаточно, чтобы плод любви уже начал топтать ножками.

— Давайте не будем говорить загадками, — сказал Уилл, чувствуя, как в груди больно сжимается сердце, и уже почти не сомневаясь, что имеется в виду. — Скажите, что вы имеете оказать, и дайте мне проехать.

Но тут Фалк Сэнделс схватил его коня за уздечку. Гнедому Гарри не понравился запах этого человека, и конь тряхнул головой и тихонько заржал. Сэнделс крепко держался за уздечку и бормотал:

— Тихо, старая кляча, утомонись...

— Ладно, выразишься яснее, — согласился Ричардсон. — Похоже, ты скоро станешь законным отцом своего незаконнорожденного ребенка. Так что слезай с коня и идем с нами. А куда — сам знаешь, ведь до некоторых пор ты навевался туда очень часто.

— Это не так, — возразил Уилл.

— Вообще-то вам одного или двух раз хватило за глаза, — сказал Сэнделс, стараясь удержать норовистого Гнедого Гарри. — Взять хотя бы теплый августовский вечер в саду, под дубом.

И вдруг Уилл вонзил шпоры в бока коня; тот встал на дыбы, вырвал поводья из грязных пальцев Фалка Сэнделса и галопом понесся по дороге, оставив потрясающих кулаками преследователей позади. Их крики еще долго были слышны Уиллу, далеко разносясь в прозрачном морозном воздухе.

Итак, необходимо было действовать быстро и решительно, чтобы успеть жениться до начала Рождественского поста. Уилл решил изобразить нетерпеливого влюбленного (я схожу с ума от желания, не могу дождаться, когда же, наконец, ты, моя законная жена, окажешься в моих объятиях), а какой женщине не хочется поскорее выйти замуж? В конце концов ему удалось добиться своего через мать. Уилл так плакал, что едва не лишился чувств. Мать выслушала его с благосклонной улыбкой, и, наверное, аргументы, приведенные ею той ночью мужу в кровати, показались Шекспиру-старшему вполне убедительными. Двадцать седьмого ноября (слава Богу, если, конечно, Он существует на самом деле) Уилл поехал в Вустер, чтобы взять церковное разрешение на брак. С регистрацией в епархиальной книге все прошло замечательно, но плавный ход событий нарушил дождь. Довольный и усталый, Уилл остановился на ночлег в Ившеме. И надо же такому случиться, что именно там, попивая эль в трактире «Риверсайд», он столкнулся с Фалком Сэнделсом и Джоном Ричардсоном. Братья Энн радостно приветствовали его: они тоже подыскивали себе место для ночлега.

— Итак, — сказал Сэнделс, — завтра мы будем хлопотать о том, чтобы вместо трехкратного оглашения сделать только однократное. Внесем сорок фунтов залога, и все пойдет как по маслу.

— И дело вовсе не в спешке, — с гордостью добавил Ричардсон. — Просто это поможет убедить епископа.

— Я сам только что вернулся из Вустера, — улыбнулся Уилл. — Так что вы опоздали.

— Опять он заладил это свое «опоздали, опоздали», — проворчал Сэнделс.

— Тебе, парень, должно быть известно, что такое закон и как он вступает в силу. — При этих словах он погрозил Уиллу дюжим йоменским кулаком.

— Вот, тут все четко написано, — поддакнул Ричардсон. — Уильям

Шагспер и...

— Шекспир.

— Шекспир, Шагспер — без разницы. И Энн Хетеуэй, девица из вустерской епархии.

— Ага, такая же девица, как ваша мамаша, — заметил Уилл. У Ричардсона, наверно, уже давно чесались кулаки, но он сдержался и только сказал:

— Да, конечно, но в этом-то и суть дела. Ведь это из-за тебя она больше не является той, кем должна быть.

— Тем более, — добавил Сэнделс, — сорок фунтов — это тебе не шуточки. Это тебе не мелочишка, что дается деткам на конфетки. И по закону вашей свадьбы ничто не помешает, а все остальное просто не имеет значения.

— Вообще-то Энн хорошая девка, — доверительно сказал Ричардсон. — Может быть, немного надоедливая, но приструнить ее будет не так уж трудно. Не девочка уже, конечно, но зато отменно стряпает. Что же до ее умений в постели, то не мне тебе об этом рассказывать. Ты и сам все знаешь. ,

— Ладно, хватит болтовни, — оборвал его Сэнделс. — Мы не на базаре, так что нечего ему расхваливать товар. Свою удачную покупку он сделал еще летом. Так что теперь дело за малым — доставить ее куда следует.

— Это точно, — согласился Ричардсон. — Тем более, что ей рожать по весне.

— А если я пошлю вас обоих ко всем чертям, — предположил Уилл, — и плюну в ваши рожи? Сэнделс с сожалением покачал головой.

— Что ж, — многозначительно проговорил он, — на дне реки лежит так много собак с камнем на шее. И просто поразительно, сколько мешков с котятками утоплено в пруду. А если человека пырнуть острым ножичком, то обязательно пойдет кровь. Так что тебе не удастся убежать от своей, своей...

— Судьбы, — подсказал Уилл нужное слово.

— Ага, от нее самой. Можешь называть ее так.

ГЛАВА 6

Еще глоток вина. Бесподобный вкус. Итак, продолжим...

После долгих пререканий и семейных скандалов, после истерик Энн Уэтли, которую родители отправили к родственникам в Банбери, после сплетен и осуждающих взглядов Уилл в конце концов оказался в своей старой постели с новой невестой. Ну, Уилл, каково тебе чувствовать себя женатым человеком? Теперь на его долю приходилась всего лишь половина кровати, на которой ему по привычке хотелось свободно разлечься, но отвоевать обычно удавалось не более четверти. Больше он ничего не предпринимал, да у него и не было никакого желания вступать в новый мир простынь и плоек; в доме его детства появилась еще одна женщина, вступившая в тайный кружок «уксусных леди», руководимый леди Арден. Обе женщины сблизилась и стали относиться друг к другу по-родственному, мило целуясь утром при встрече и вечером перед отходом ко сну. Так что не долго Энн Шекспир стояла в стороне от хозяйственных дел. Что же до остальных членов семьи, то отец, разочарованный приданым, стал еще более мрачен и замкнут и даже подумывал о том, чтобы сбежать за границу от кредиторов; болезненный Эдмунд ползал по полу и часто блевал; Ричарда постоянно толкали в грязь, и он приходил домой весь в слезах; Джоан осунулась и стала еще большей замарашкой, чем прежде; Гилберт снова виделся с Богом, и Бог наградил его падучей болезнью.

Вскоре из Шотери в мальчишескую комнату Уилла была перевезена огромная кровать, на которой свободно могли разместиться двое, а то и трое. И почти до самого рождения Сьюзан (зачатой во время греховной связи) эта кровать видела немало затейливых упражнений. Однако далеко не все происходило на кровати. Эта женщина была чертовски изобретательна, а гнев стал тем самым острым соусом, которым она приправляла исполняемые Уиллом роли в придуманных ею играх. Новобрачный не испытывал к ней никаких чувств, ведь между ними не было любви.

Энн была выше таких пустяков, как любовь или гнев, и вела себя как королева. Она наряжалась в подвенечное платье и царственно расхаживала по комнате, приказывая Уиллу поцеловать ее туфлю, а в следующий момент повелевая отрубить ему голову. Затем по суровым правилам игры молодому мужу надлежало взять жену силой, не обращая внимания на ее протестующие крики (не настолько громкие, чтобы разбудить домашних за стеной) и приговаривая: «Ну, ваше величество, сейчас я вас отымею, а

заодно и подпорчу ваш наряд». (После этого Энн стала называть его не иначе как Пакостный Уилл.) Супруг с большим трудом стаскивал с нее платье, а она отбивалась и царапалась, как кошка, и Уилл пожалел, что ввязался в эту дурацкую игру. Но однажды она пригрозила, что позовет в помощь ему еще кого-нибудь, да хотя бы даже Дикона или беднягу Гилберта, мирно посапывающих в своих кроватках в соседней комнате, чтобы и они смогли участвовать в этом захватывающем изнасиловании. Уилл ужаснулся этой дикой идее попрания детской невинности, с силой ударил ее по лицу и затем с таким остервенением набросился на нее, что она испуганно заверещала, моля о пощаде и не на шутку перепугавшись за ребенка в своей утробе.

Очень часто, когда на Энн находило такое великосветское настроение, она громко сокрушалась о том, что тесная и убогая спальня не годится для величественного акта любви, ибо свита — придворные, камергеры, фрейлины и даже кое-кто из прислуги — должна видеть, как недостойнейший и презреннейший муж портит ее красоту и благочестие. Иногда Энн грозилась, что встанет среди бела дня голой перед раскрытым окном и объявит во всеуслышание, чем и как именно они здесь занимаются.

Порой она представляла себя богиней, сошедшей с небес для устрашения своего недостойного раба Уилла, который дерзнул притвориться, что не желает ее (но было ли это притворством?). Уилл же был добродетелен и непреклонен и отвергал ее грязные домогания. Энн говорила, что ему нужно сбрить усы и бороду, а также удалить с тела все волосы, оставив лишь каштановую шевелюру. После этого она набрасывалась на него с такой силой, на которую способна лишь богиня — обнаженная, с большим животом.

После рождения Сьюзан — а беременность Энн перенесла на удивление легко

— ее фигура обрела былую стройность. И теперь в своих играх она все чаще перевоплощалась в хорошенького мальчика, для чего воровала из-под прессы одежду Дикона (его вещи подходили ей по размеру). Когда Сьюзан агукала в Своей колыбельке, а двое мальчишек за стеной сладко посапывали и тешились невинными детскими сновидениями, Энн наряжалась пажом и начинала твердить: «Отымейте меня, мастер, делайте со мной все, что вашей душе угодно». От этих слов Уилла бросало в жар, в висках начинала стучать кровь, и он, не помня себя, набрасывался на жену. Она осуществляла самые сокровенные и порочные его фантазии, во многих из которых ему было стыдно признаться даже самому себе. Иногда Энн,

злорадно усмехаясь, подходила к нему с так называемым *penis succedaneus*, искусственным фаллосом, Уилл был потрясен до глубины души, впервые обнаружив этот предмет в сундучке с ее пожитками.

Какие силы нужно было иметь, чтобы выдержать все эти ночные забавы? Утром Уилл еле открывал глаза. Он просыпайся совершенно разбитым и чувствовал во всем теле слабость, зная наперед, что уже в полдень его начнет клонить ко сну! Энн же неизменно была бодра и энергична. Она как заведенная хлопотала по хозяйству, мурлыкала под нос веселую песенку и еще настойчиво уговаривала его мать пойти и отдохнуть. Ведь у госпожи Шекспир такая тяжелая жизнь, но зато теперь у нее появилась еще одна дочь, которая поможет ей нести бремя домашних хлопот. Храни тебя Господь, Энн, ты такая милая девочка.

Кроме своей непосредственной работы, Уиллу приходилось обучать ремеслу перчаточника блаженного тупицу Гилберта, который то и дело ранился острым инструментом и при виде крови падал, захлебываясь пеной, или же топал ногами и грозил брату: «Вот возьму и расскажу Богу, какой ты плохой». Уилл обычно отвечал ему: «Вот и прекрасно, а заодно попроси у Бога, чтобы Он научил тебя шить перчатки, потому что, видит Небо, у меня уже нет сил возиться с таким непроходимым идиотом». После этого Гилберт валился на пол и заходил в истерику, стуча головой о каменные плиты и едва не переворачивая рабочий стол. Из дома раздавался громкий разноголосый рев Сьюзан и ее дядюшки Эдмунда.

Больше всего Уилл ненавидел вечерние скандалы Энн. В конце дня, когда супруги ложились к скрипучую кровать, доставленную из Шотери, Энн бранила мужа за его усталость. Все начиналось с того, что Уилл говорил:

— Нет, только не сегодня. Сегодня был трудный день. Перерыв в одну ночь нам не повредит.

— Ну да, — ехидно продолжала Энн, — если то, чем ты занимаешься, называется работой, то что же тогда, по-твоему, безделье? Тем августовским вечером, когда ты меня, можно сказать, изнасиловал, ты почему-то не вспоминал о работе, да и вообще чувствовал себя как надо. — Потом она начинала рассуждать о том, какой же он все-таки слабак и тряпка, и что если так пойдет и дальше, то у нее никогда не будет ни собственного дома, ни великолепных платьев, как у госпожи N, и вообще, только такое ничтожество, как Уилл, может довольствоваться местом подмастерья у нищего перчаточника. — Ты слабак, ты пустое место, я вышла замуж за слюнтяя! Богатейшие торговцы из Вустера добивались моей руки, но я отказала им всем, променяла их на тебя, потому что

надеялась, что из тебя выйдет толк. А ты оказался такой же размазней, как твой отец, безвольным неудачником, начисто лишенным гордости.

Препираться с ней было бесполезно, поэтому Уилл просто закрывал глаза и забывался тяжелым сном. Но как-то раз душным вечером, уйдя в спальню, он взял гусиное перо и лист бумаги, чтобы записать несколько строк, придуманных днем во время работы. Он несколько раз повторил их про себя, оттачивая фразу:

И вот, в который раз, она его бранила

И управляла им — но только не любила^[9].

Эти строки были словно выхвачены из какой-то увлекательной истории, которую при желании можно было бы сочинить. Но тут подала голос Энн, которая уже освободила от платья колыхающиеся груди.

— Вот на всякую ерунду вроде идиотских стишков у тебя время есть. А ублажить законную жену тебе некогда!

Уилл холодно ответил:

— Я ни за что не променяю ни одну свою строку даже на тридцать таких стерв, как ты.

— Ну да, ведь твой отросток, наверно, уже совсем завял. Можешь макать его в чернила вместо пера и писать им свои стишки. А я пойду поищу себе настоящего мужика.

— Долго искать придется. Хотя опыта в этом деле тебе не занимать.

— В каком смысле?

— Ты всю свою жизнь ловишь мужиков, но сумела поймать только меня. Да и то я тогда был смертельно пьян. Это лишний раз доказывает, что много пить — вредно.

— Да я могла бы взять любого, кого бы только пожелала.

— Ну да, так оно и было. Но среди всех этих парней идиотом был только я. Ведь я был у тебя далеко не первым, и даже не двадцать первым.

— Нет, это был ты, ты! — Лиф ее платья уже сполз на пояс, но Уилл по-прежнему сидел неподвижно, словно каменный памятник поэту, сжимая в руке гусиное перо. Перо едва заметно подрагивало. — Ты лишил меня невинности, налетел на меня, словно пьяный зверь, а потом вернулся снова, уже трезвым. А я, между прочим, до встречи с тобой была девственницей.

— Ну да, целкой нецелованной.

Энн кинулась к мужу, готовая выцарапать ему глаза за эти слова. Как истинный поэт, он невольно подметил красоту ее обнаженного тела, длинных рук, раскачивающейся из стороны в сторону пышной груди.

— Ну что, киска, царапаться будешь? — спросил он, перехватывая ее руку. Энн понимала, что одержать победу можно лишь притворившись, что

это Уилл затеял борьбу, и в нужный момент ему поддавшись. Она, тяжело дыша, сопротивлялась еще некоторое время. Уиллу пришлось отложить перо, чтобы перехватить ее второе запястье. Потом ее гнев начал стихать, и в какой-то момент Уиллу показалось, что сейчас он вот так и овладеет женой, не раздеваясь и зажав ее у стены. Но затем его душу переполнила ненависть к этой блуднице, превратившей его в развратника и безвольную куклу. Энн была очень удивлена такой перемене, ведь она приготовилась к любви. Она споткнулась, запуталась в подоле платья и упала на колыбель со спящей Сьюзан. Малышка проснулась и громко закричала от страха. «Девочка моя маленькая, мой ягненок!» — запричитала Энн, беря ее на руки. Сьюзан на минуту замолчала, чтобы перевести дух, и снова разразилась громким плачем. В соседней спальне тревожно закричала «кровать»: у Гилберта начинался очередной припадок. Из спальни родителей были слышны кашель отца и тихое бормотание матери. В конце концов Сьюзан успокоилась и замолчала: Энн покормила ее грудью, обнаженной незадолго до того совсем с другой целью.

Она продолжала нашептывать этой крохе, плоду своего чрева, разные нежные слова и при этом с ненавистью поглядывала в сторону «сеятеля». Сеятель?.. И вдруг впервые за все время супружества в душе Уилла появилось ужасное подозрение, Мужчина, который женится на девственнице и держит молодую жену в разумной строгости, никогда не поймет этой боли. Не исключено, что Сьюзан действительно родилась от него, от Уилла, но с таким же успехом она могла быть и не его дочерью. И как только он, идиот, не додумался до этого раньше! Конечно, он не разлюбит бедного ребенка (наоборот, из-за утраты подлинных кровных уз его чувства к Сьюзен должны стать еще сильнее), но зато у него теперь есть полное право — Уилл думал об этом с большим злорадством — не заботиться о матери девочки. Он не хотел говорить об этом с Энн и даже мысленно поклялся никогда, пусть и в пылу гнева, не поднимать этот вопрос, потому что истину он все равно не узнает никогда. Равно как не узнает ее ни сама Энн, ни кто-либо другой.

Теперь Уилл думал о том, что после утомительного рабства в супружеской постели ему нужно уйти из дома и вернуться к прежней холостяцкой вольнице. Будет неправильно и несправедливо развратничать под крышей отцовского дома, тем более сейчас, когда ни о какой любви не может быть и речи; он должен встать с кровати, по праву принадлежащей Энн. И вообще, пора уехать из этих мест в поисках лучшей доли, ведь Гилберт уже научился тачать перчатки по заданному образцу.

Правда, на его изделиях то и дело или не хватало пальцев, или же их

оказывалось больше, чем следует, так как считал он из рук вон плохо. Часто на перчатках Гилберта не оказывалось большого пальца, как будто он был кем-то откушен, но Гилберт мог еще всему научиться. Джоан тоже могла бы помогать отцу в мастерской, ведь благодаря ее новой сестре на ее долю теперь приходилось гораздо меньше работы по хозяйству. Ричард, которому уже исполнилось девять лет, вполне мог бы доставлять перчатки заказчикам. Так что Уиллу можно будет отправиться в другой город и обосноваться там, а заодно и заработать немного денег, поправив тем самым скудный семейный бюджет. Но он все медлил и откладывал отъезд. В гневе на Энн было свое очарование; кроме того, Уиллу казалось, что во время бесстыдных ночных утех, отказаться от которых он так и не смог ему удавалось стать ближе к своей забытой богине (перед ним открывалась какая-то темная дорога к ней, но всякий раз не хватало смелости ступить на этот путь). Доказательством тому могли быть новые сюжеты, придуманные Энн для ночных забав: например, когда она становилась на колени и изображала смиренную монахиню на молитве. Итак, прошло лето, приближалась зима, и до Уилла дошли слухи, что Энн Уэтли вышла замуж за какого-то юношу из Банбери.

Той зимой Гилберту приснился кошмарный сон, и на следующее утро, которое выдалось на редкость пасмурным и морозным, он рассказал о своих видениях за завтраком.

— Я видел головы. Да... отрубленные головы, все в крови. А над ними летали большие птицы. Да... они выклевали сначала один глаз, потом другой.

Джоан глупо засмеялась, и от этого Гилберт так разволновался, что даже опрокинул свою кружку с разбавленным элем. Уилл нервно поежился.

— Да, я видел, — выкрикнул Гилберт, — это было в Лондоне, и не смейтесь, я не вру. Потому что эти головы были насажены на высокие колья, и я видел их собственными глазами, А еще там была река и большой мост, да... И одна голова была похожа на нее. — Он взглянул на мать, как будто видел ее впервые. На этот раз не засмеялся никто, даже дурочка Джоан. Мать же при этих словах мертвенно побледнела.

— Помилуй, Господи, заблудшие души, — прошептала она и перекрестилась. Отец горячо ответил ей на это:

— Ну, теперь всем Арденам несдобровать. Только дураки могут умирать за старую веру. Для того чтобы сохранить веру, нужно беречь собственную жизнь, а не жертвовать ею и не участвовать в заговорах, которые рано или поздно все равно будут раскрыты. Так что теперь жди беды.

За столом воцарилось тягостное молчание, и Энн, почувствовав неладное, в страхе схватила мужа за руку. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса. Уилл догадался, что отец говорит о том самом заговоре, в котором участвовало семейство Арден, и одна из тех двух голов, приснившихся Гилберту, скорее всего, принадлежит Эдварду Ардену. Этот их дальний родственник гостил однажды на Хенли-стрит и произнес перед Шекспирами гневную речь против новых порядков. Внешнее сходство между Эдвардом Арденом и Мэри Шекспир было несомненным. Другая голова, как стало известно потом, принадлежала Джону Саммервиллу. Уилл вздрогнул, представив себе, как хищные птицы жадно клюют окровавленную плоть Арденов и как потом, в самом конце этого пиршества, обнажаются белые кости черепов.

— Уверена, что наш милорд в Кентерберии хорошо помнит всех из своего прежнего прихода, — робко сказала мать. — Он знает, что никакого вреда от госпожи Шекспир нет и быть не может. Так что вам нечего опасаться, никто не явится в этот дом по мою душу.

Отец закусил губу, его лицо покрылось красными пятнами. Два года назад судьба уже нанесла ему тяжелый удар в виде штрафа в сорок фунтов (Шекспирам пришлось даже продать усадьбу, чтобы заплатить такую сумму) — за неявку в суд для представления доказательств своей лояльности. Тогда сто сорок человек были вызваны в Суд королевской скамьи в Вестминстере с той же целью, но отягчающим обстоятельством для Джона Шекспира стало то, что он не приехал туда вообще (как раз в то время в семье появился Эдмунд, и роды были очень тяжелыми). И надо же; такому случиться, что совсем недавно место Кентерберийского епископа занял ревностный Уитгифт, до того бывший епископом в Вустере, где от него одинаково часто доставалось и папистам, и пуританам, Уитгифт скрипучим голосом вещал о вечном адовом пламени и муках для всех тех, кто не следует заветам истинной английской церкви, ибо Бог является англичанином. Джон Шекспир старался соблюдать все предписания новой веры, религии благочестивых ремесленников. Но зимой становилось холодно, одолевали морозы, и пламя ада порой казалось ему отдохновением, а не наказанием.

Уилл молчал. Он не хотел говорить о том, что уже не верит ни во что, кроме, пожалуй, того, что ждет его в конце долгого и темного пути к богине.

ГЛАВА 7

И вот снова наступила весна, будто зима была только кошмарным сном. Дороги снова звали Уилла отправиться в путь. Но он по-прежнему медлил, с горечью думая о том, что не может собраться и уйти просто так; ему нужен был повод. По утрам он шел в перчаточную мастерскую (где зачастую не было работы) в полном изнеможении, чувствуя себя так, будто жена выпила из него за ночь всю кровь. В июне стало ясно, что она опять беременна. На этот раз у Уилла не должно было возникнуть никаких сомнений по поводу своего отцовства, и это странным образом укрепило его во мнении, что малышка Сьюзан (а разве не из-за нее он не хотел уходить из дома?) родилась не от него.

Однажды в конце июля к ним зашел господин, едущий из Уорвика в Глостершир. Ему срочно были нужны перчатки.

— Сшейте вот по этому образцу, — сказал он, показывая одну перчатку. — Вторую я потерял в дороге. Здешние жители отправили меня к вам. Ведь это дом мастера Шекспира, не так ли? Я хочу погостить пару дней у одного своего родственника в Эттингтоне. Вы не могли бы доставить мой заказ, когда он будет готов, в дом мастера Вудфорда?

Значит, к мастеру Вудфорду? К тому самому разжалованному адвокатишке, совершенно опустившемуся человеку, вдовцу, владеющему несколькими акрами земли.

— Меня зовут Джон Куэджли, я мировой судья.

— В Глостершире есть город с таким названием, — сказал Уилл.

— Мое семейство родом оттуда, — отозвался мастер Куэджли. У него была окладистая черная борода и влажные пухлые губы; ему было явно больше сорока лет, но он все еще был в силе — широкоплечий, словно кузнец, здоровяк почти двух ярдов росту^[10]. Взгляд его карих глаз был строг и пронизателен.

— Когда-то, давным-давно, мои предки действительно жили там. Но потом мы перебрались поближе к Баркли.

— Это там, где замок?

— Да, там, где замок, это ты знаешь. А что еще ты можешь мне рассказать?

— О Глостершире?

— Можно и о нем. Вообще о чем-нибудь. — Он снисходительно улыбнулся, разглядывая Уилла и будто не допуская даже мысли о том, что

какой-то жалкий перчаточник может разбираться в чем-нибудь, кроме своего немудреного ремесла. — Ты производишь впечатление молодого человека, который много путешествовал.

— Я путешествовал только по книгам, сэр, — ответил Уилл, повышая голос.

— И в книгах, которые я читал, говорится кое о чем более важном, чем расположение замков и происхождение имен. — Тут он спохватился, покраснел и замолчал.

— А как у тебя с латынью? — поинтересовался мастер Куэджли. — «Увы, Постум, Постум, как быстро летят годы...» Я обожаю эти стихи Публия Вергилия Марона!

— Это Гораций, — заметил Уилл, — и полагаю, сэр, вам это известно не хуже меня. — Он заставил себя улыбнуться в ответ, понимая, что это была проверка.

— Да-да, Квинт Гораций Флакк. Эх, как бы мне хотелось, чтобы мои сыновья разбирались в поэзии Рима так же хорошо.

Тем временем Джон Шекспир подошел к рабочему столу, чтобы выбрать куски кожи для раскроя.

— Мой сын — прилежный ученик, а еще он поэт. Он пишет отличные стихи. Уилл, покажи господину что-нибудь из своих сочинений.

Уилл снова покраснел и робко возразил:

— Но ведь он пришел сюда за перчатками, а не за стихами.

— Верно. Что ж, — сказал мастер Куэджли, — когда ты понесешь мне готовые перчатки, заодно захвати и стихи. Разрешите откланяться. Желаю вам удачного дня. — И он ушел.

Когда на следующий день Уилл пешком отправился в Банбери, он нес с собой только перчатки. Он думал о том, что эта дорога может привести его к той, другой Энн, его прежней возлюбленной, а теперь чужой жене; он даже собирался зайти проведать ее. Но потом все-таки свернул во двор полуразрушенного деревенского дома, уставшего от непогоды, с перекошенными ставнями и без дверей. Двое батраков лежали на сене и, закрыв глаза, грелись на солнышке; свинья с громким хрюканьем рылась в мусорной куче; петух гонялся по двору за курами, но его призывное кукареканье осталось без ответа. На стук Уилла вышел жующий слуга в засаленном рубище. В грязной руке у него была зажата баранья кость; некоторое время он, щелкая языком, пытался высосать костный мозг, но потом все же обратил внимание на гостя и сказал:

— Заходи, они оба где-то в комнатах. Короче, сам поищи. А то мы с друзьями решили немного расслабиться по случаю праздника.

— А какой сегодня праздник?

— Точно не знаю. Может быть, день святого Втора? Ведь сегодня вторник. Святых-то много, праздников хватит на каждый день.

— Ты бы вел себя немного поскромнее.

— Уж какой есть, — напыщенно ответил слуга и подбоченился. — Как говорится, когда хозяева учили всех манерам, я сидел в хлеву. — Он гордо поднял голову, рыгнул и удалился в темноту коридора, из глубины которого доносились пьяные голоса и смех.

Уилл вошел, и на него тут же набросились с громким лаем две собачонки, которые запросто могли покусать его за ноги. Тут в коридоре появился хозяин дома — суетливый седой старикашка Вудфорд. Уилл рассказал ему о цели своего визита, и старик неуклюже поклонился и громко сказал дурашливым голосом:

— Добро пожаловать в Либерти-Холл, истинный Зал свободы, где каждый волен вести себя так, как ему вздумается, и наслаждаться бесконечной свободой. Брысь отсюда, пошли вон, шавки! Что привязались к человеку? — Он попытался пнуть одну из собак ногой, но промахнулся. Оба пса по-прежнему заливались звонким лаем и старательно виляли хвостами, выражая любовь и преданность к хозяину. Вслед за Вудфордом и его собачьей свитой Уилл вошел в мрачную комнату, где на полу и стульях валялись пыльные фолианты, сбруя и оленьи рога. Тут же сидел и мастер Куэджли в расстегнутом камзоле, он размахивал кружкой с сидром и при этом что-то монотонно напевал.

— А-а, — воскликнул он при виде Уилла, — это и есть тот самый перчаточник, который хорошо знает окрестности Глостера! Вот и замечательно! Раз здесь собралось уже трое джентльменов, пора начинать петь куплеты. А то этот недоумок рылом не вышел, чтобы петь вместе с благородными господами — да простит меня его хозяин. Эй, ты, налей-ка нашему перчаточному поэту кварту сидра.

Из самого темного угла комнаты вышел хромой слуга в лохмотьях с большим кувшином в руках. Уилл хотел было отказаться и даже стал говорить какие-то доводы в свое оправдание. Он плохо себя чувствует, он не пьет, дал зарок больше никогда не пить, и вообще у него слабый желудок...

— Пей, — приказал мастер Вудфорд, — это веселит сердце и раскрепощает душу. К тому же ничего другого у нас все равно нет; Так неужели ты станешь привередничать и воротить нос от скромного угощения? Я человек бедный, так что заграничных вин не держу. Выходит, ты брезгуешь нашим обществом. Черт побери, просто диву даешься, как

это нынешняя молодежь не выказывает никакого Уважения к старости. — С этими словами он протянул Уиллу большую кружку, всю жирную снаружи, и юноша сделал глоток, не желая обидеть хозяина.

— Нет, пей до дна. Одним большим глотком! — закричал мастер Куэджли, по-свойски располагаясь за столом. Вскоре он запел куплет из какой-то песенки, и мастер Вудфорд тоже заскрипел, выводя партию второго голоса. На середине куплета они прервали пение и велели Уиллу присоединиться к их хору, взяв на себя партию третьего голоса. Так он и сделал, потому что ничего другого ему не оставалось. Эту песенку он слышал впервые, она была очень простой и очень пошлой:

Чума разрази тебя, жирное брюхо!

Твой папа рогат, ну а мамочка — шлюха,

Твой грязный обрубок гниет и течет... [\[11\]](#)

От крепкого яблочного уксуса Уилл стал дрожать всем телом, но выпивка все же утолила жажду после недолгого, но утомительного путешествия по пыльной дороге. К тому же юноша был способен на большее. И вот наступил момент, когда Уилл забрался на стол и стал декламировать стихи Сенеки:

Fatis agimur; cedit fatis.

Non sollicitae possunt curae

Mutare rati stamina fusi... [\[12\]](#)

— Замечательные слова, — глубокомысленно закивал мастер Вудфорд. — Есть такое искусство выступления на людях, греки называют его риторикой. Да уж, вот этим великим словам внимали в свое время патриции. Латинская поэзия гениальна, ее нельзя сравнить с той ерундой, которую читают сейчас. Срам, да и только. И надо же, великие времена прошли, канули в вечность... Но все-таки в свое время я знал двоих, которые подавали большие надежды. М-да...

— Что ж, — предложил мастер Куэджли, захмелев от большого количества выпитого сидра, — а давайте устроим свой собственный Древний Рим. Здесь и сейчас. Позовем эту твою девку — Бетти, Бесси или как там ее... — и устроим настоящую оргию. А то мне скоро нужно возвращаться домой, а там я должен изображать из себя благочестивого мужа, заботливого отца и справедливого судью. — Он перевел взгляд на Уилла, который все еще стоял на столе, и вздохнул: — Эх, не успеешь оглянуться, а жизнь уже прошла. Я нарожал пятерых таких обормотов, дал им свое имя, а что толку? Они и не думают учиться. А само по себе имя еще ничего не значит.

Тут подал голос мастер Вудфорд.

— Ну ты, сэр, — резко сказал он, — слезай с моего стола. — И Уилл легко спрыгнул на пол. — Те двое парней, о которых я только что говорил, — это два Тома. Их сочинение называлось, кажется, «Горбодук»^[13]. — Мастер Вудфорд стал вспоминать, обращаясь к мастеру Куэджли: — Их звали Том Сэквилл и Том Нортон, и происходило все это в «Судебных иннах». Как сейчас помню, во «Внутреннем темпле», лет уже двадцать тому назад. Во всяком случае, еще до того, как этот дармоед появился на свет. А я был там и, клянусь нашим Господом Иисусом Христом, видел все собственными глазами. Эти два Тома стали нашим английским Сенекой. — После этих слов он выпил.

— Двое англичан за одного римлянина? — ехидно переспросил Уилл. Тогда он был глубоко убежден, что все английские пьесы написаны одинаково плохо, занятые в них актеры играют ужасно и не могут вызвать у зрителей ничего, кроме законного раздражения, потому что спектакли всегда проходят полуоткрытым небом, зачастую под унылым дождем или на ветру. (Однажды он видел в Стратфорде одну такую постановку, и у него волосы встали дыбом. Название пьесы Уилл благополучно забыл, но помнил, что это была труппа слуг графа Вустера, что исполнителя главной роли зовут Аллен и что этот Аллен на два года младше его самого. И теперь Уилл сказал мастеру Куэджли: — Баркли... В прошлом году в Стратфорде гастролировала труппа слуг лорда Баркли. Вот откуда я знаю о замке.

Мастер Вудфорд опьянел и разошелся не на шутку. Он вскочил на ноги и продолжал свою тираду:

— А я уже говорил и повторю снова. Если английские стихи стоят того, чтобы называться поэзией, то тогда их следует читать открыто, во всеуслышание, а не бубнить себе под нос, сидя в тесной комнатенке, и уж тем более не бегать глазами по строчкам. Поэзию надо слушать. А раз так, то мы должны учиться, чтобы затем превратить тот маленький стихотворный ручеек двух великих Томов (неудачное, конечно, сравнение, признаю, неудачное) в... а что я хотел сказать? Ну да, ну да, в великую и полноводную словесную реку.

Уилл по-пьяному широко улыбнулся, чувствуя свое юношеское превосходство над Вудфордом. Тот заметил это и, желая уязвить оппонента, сказал:

— Смейся, смейся... Да что ты вообще можешь знать о жизни, необразованная деревенщина? Ты же безвылазно сидишь в своей глуши и никогда не увидишь ни больших городов, ни светских речей, ни праздников под высокими сводами великолепных дворцов, где в огромных каминах

горит огонь, и все вокруг озарено его отблесками!..

Уиллу неожиданно показалось, что старик вот-вот расплачется, ведь воспоминаний о былой жизни так сильно отличались от его теперешнего положения. Захмелевший юноша сказал:

— Конечно, светских речей я не увижу, потому что их можно только услышать. Что же касается лицедейства, то разве это не обман? Мальчика наряжают женщиной, коротышка прибавляет себе росту, надев башмаки-ходули...

— Это называется «венецианский каблук», — поправил мастер Вудфорд.

— ...живой человек притворяется мертвым. А вот у Сенеки ничего подобного не было, потому что его пьесы не разыгрывались, а просто читались вслух.

— О Господи, не дай нам передрататься из-за сыра, — вздохнул мастер Куэджли и пояснил: — Это поговорка такая, в Банбери все так говорят.

Уилл тут же пришел в себя, ему даже показалось, что он слышит голос отца, не расстающегося со своей Женевской Библией. В голове у юноши перестали звучать чарующие строки великого грека Платона.

— Жизнь, — продолжал тем временем Куэджли, — в некотором смысле тоже обман. Ведь мы каждый день ведем себя по-разному. Вот, например, пьяный Филип — завтра он протрезвеет. А я для разных людей и Джон Куэджли, и Джек Куэджли, и плут Куэджли, и мастер Куэджли, мировой судья. Жизнь — это всего лишь игра.

И Уилл не мог с этим не согласиться; он тут же начал обдумывать эту фразу, пытаясь справиться с опьянением и понять ее получше. Разве он сам не состоял из двух разных людей, из Уилла и Уильяма, и разве каждый из этих двух не следит исподтишка за другим? Так где же истина, который из двух настоящий? Ведь есть же сознание, но вместе с тем есть и бытие. Выходит, что сознание лежит на самом дне колодца, на дне его души.

Что было дальше, он не помнил. Позже, проснувшись оттого, что хозяйские собачонки лизали ему лицо, Уилл обнаружил, что лежит на полу. Кто впустил сюда этих собак? Они посмотрели, как юноша трет кулаками глаза и охает, а затем пошли к двум другим бесчувственным людям, развалившимся на стульях наподобие мешков. Если бы не богатырский храп, то их вполне можно было принять за покойников. Эти двое не отзывались ни на лай, ни на облизывание. Уилл с трудом поднялся, чувствуя ломоту в теле и вину в душе, и заковылял из комнаты. На улице все еще было светло, хотя летний день уже клонился к вечеру. В коридоре стояла служанка с обнаженной грудью и порочной улыбкой на лице (да, да,

конечно, они знакомы, но совсем не в том смысле). Уилл застонал, решительно замотал головой и вышел из дома через дверной проем без двери, надеясь на то, что пешая прогулка домой поможет протрезветь.

По дороге домой Уилл дал себе новый зарок: ни под каким предлогом не участвовать в кутежах, терпеть свою жену-мегеру и поскорее забыть о мастере Куэджли. Но, вернувшись домой и переодевшись под привычный аккомпанемент упреков Энн, он обнаружил, что перчатки по-прежнему лежат у него за пазухой, а значит, он все еще в долгу перед Куэджли. И вот на следующее утро, раз уж старший брат оказался таким пьяницей, к заказчику был послан Гилберт. Ему пришлось объяснить все несколько раз подряд и даже нарисовать план. Юноша вернулся домой поздно вечером, голодный и усталый. Судя по всему, в лесу он снова встретил Бога, а еще на него была возложена обязанность сообщить об очередном повороте в судьбе Уилла.

— Ну вот, я все сделал. Вот деньги за перчатки, а это мой пенни. А еще тот человек сказал, что он приедет за тобой рано утром, потому что путь предстоит неблизкий. Вот. — Эти слова были обращены к Уиллу.

— Какой еще путь, что за чушь ты несешь? — возмутился Уилл. — Давай рассказывай с самого начала. О каком человеке ты говоришь?

— О том, с перчатками. Ты должен поехать вместе с ним, он так сказал. Ты станешь как бы отцом для его детей, вот, и будешь их учить, и на то есть подписанный антракт.

— Контракт? — Уилл нахмурился, он не мог этого припомнить. Отец вытирал салфеткой руки, Энн кормила грудью Сьюзан, замарашка Джоан молча прислушивалась к разговору, а матери нигде не было видно. — Тогда где же мой экземпляр?

— Вот.

Гилберт достал из-за пазухи неровно оборванный лист бумаги. Уилл взял лист у него из рук и стал читать, не веря своим глазам. Оказывается, он поступил на работу к мастеру Куэджли на целый год, согласившись стать учителем его пяти сыновей. Под договором красовалась его собственноручная, хоть и немножко корявая от выпитого сидра подпись. Уилл не помнил, как это произошло. Он просто ничего не мог вспомнить.

— Он поедет, чтобы учить Сенне и Плутону, — во всеуслышание объявил Гилберт. — Он будет учить всех его детей. Вот.

— Вот ведь скрытник, — охнула Энн. — Решил сбежать из дому под покровом ночи и даже словом не обмолвился. — И она снова принялась бранить мужа и обвинять его во всех грехах.

— Не ночью, а утром, — поправил ее Гилберт. — Рано утром, вот. А

еще он дал мне пенни на леденцы. Вот. — Он с серьезным видом показал Энн монетку.

Так неужели, думал в замешательстве Уилл, его судьба так избудет вершиться сама по себе и каждый новый жизненный поворот ему будут объявлять какие-то головорезы или идиоты?

— Мне там будут платить, — попытался он объяснить жене. — Меня же не продают в рабство. А деньги я буду присылать домой.

Но это лишь подлило масла в огонь большого семейного скандала.

— Аминь, аминь, аминь, — твердил Уилл про себя.

ГЛАВА 8

Luna fait: specto si quid nisi litora cernam... [\[14\]](#)

Он не подозревал о том, что его уход из дома произойдет именно так. Такой вариант даже невозможно было придумать. В пьяном угаре он согласился стать наставником пятерых юных Куэджли и заниматься с ними латынью. Их отец, со своей стороны, брал на себя все расходы по проживанию Уилла в доме, а также был обязан платить за уроки по десять шиллингов в квартал. Конечно, это жалование не поражало воображения, так что разбогатеть в Глостершире ему, Уиллу, вряд ли удастся.

Quod videant oculi nit nisi litus habent... [\[15\]](#)

Теперь он жил в большом, недавно выстроенном доме — его строительство пришлось на время правления Генриха VIII, и он находился примерно на таком же расстоянии от Шарпнесса, что и Баркли. Здесь протекала река Северн, и Уилл снова начал мечтать о кораблях. Что же до жизни обитателей дома, то всем хозяйством здесь заправляла сама миссис Куэджли (вторая жена хозяина), сварливая особа, с лица которой не сходило кислое выражение. Хозяин при ней уже ничем не напоминал того веселого малого в расстегнутом камзоле, что бражничал с Уиллом в Эттингтоне. Дома мастер Куэджли был суров и сосредоточен — настоящий мировой судья в своей длинной черной мантии. Слуги поначалу решили сделать из Уилла шута, высмеивая его стратфордский акцент и хихикая над латинскими «хунк — хок», но юноша с самого начала не давал спуска чванливому мажордому и был неизменно холоден с развязными служанками. Уилл попросил дать ему отдельную комнату, которая находилась бы рядом с комнатами мальчиков, и его просьба была выполнена.

Nunc hue nunc illuc, et utroque sine ordine curro... [\[16\]](#)

Теперь о самих мальчиках, его воспитанниках. Самому старшему из них, Мэтью, было пятнадцать лет, за ним шел Артур, тринадцати с половиной, затем двенадцатилетний Джон — все трое были сыновьями первой госпожи Куэджли. Вторая супруга мастера Куэджли родила ему близнецов Майлза и Ральфа, которым было лет по десять или около того. Еще раньше в семье было две дочери — обе постными личиками были похожи на свою мать, если судить по скверным портретам кисти какого-то художника из Глостера. Обе девочки рано умерли, так что осталось только пятеро сыновей, пять юных голов, в которые Уиллу предстояло вдалбливать

латынь.

Alta puellares tardat arena pedes... [\[17\]](#)

...Безупречные строки Овидия навеяли сон и скуку. Тихий погожий день на исходе лета, послеобеденное время, хочется спать... В открытое окно с громким жужжанием влетела большая черная муха, и все ученики моментально переключили внимание на нее. У мальчиков не было ни малейшего желания учиться. Близнецы, похоже, были уверены в собственной уникальности и считали, что обойдутся и без учения. Старшие мальчики постоянно зевали, лениво потягивались и пинали друг дружку, охая над стихами Овидия и «Грамматикой» Лили, а иногда принимались шуметь и драться, бросаться измазанными в чернилах катышками бумаги и рисовать непристойные картинки. К Уиллу они относились без особого почтения. Стоило ему обратиться к Ральфу, как тот заявлял, что он Майлз, и наоборот, и старшие мальчики поощряли такие забавы близнецов. Когда отец начинал экзаменовать их по пройденному материалу, то неизменно оказывалось, что они знают его из рук вон плохо.

— Так почему же, — визгливо кричал Артур, у которого ломался голос, — почему здесь стоит *tull* и *latum*, когда в настоящем времени это будет *fero*? Просто чушь какая-то, я не собираюсь это зубрить.

— Ей-богу, ты выучишь все, что задано, — гневно ответил Уилл.

— Вы божитесь, сэр, — с деланным ужасом воскликнул Мэтью. — Вы все упоминаете имя Божие!

— Вот сейчас я спущу с вас штаны, — закричал Уилл, — и пройду с розгой по вашим задницам, тогда вы узнаете, что я ничего не делаю все!

При упоминании о спущенных штанах близнецы захихикали. С чего бы это?

Как-то раз осенним утром мастер Куэджли сказал Уиллу:

— Труппа слуг милорда Баркли вернулась домой. Они сыграли в замке «Домового» Плавта. — Разумеется, представление шло на английском.

— Это комедия о доме с привидениями?

— Она самая. Думаю, мальчики будут лучше понимать латынь, если дать им перевести что-нибудь из Плавта, а потом пусть каждый сыграет свою собственную роль, им же самим переведенную на английский. Их надо заинтересовать учением. Пусть это будут не только крики и потасовки (не будем отрицать, что во время занятий они ведут себя не идеально), а заслуженное и полезное удовлетворение от проделанной работы и радость от ее итога.

— Но ведь Плавт не был поэтом.

— Не был, но все равно это мудрое и толковое чтение. Там есть

стихомифия^[18]. Она будет очень полезна для Мэтью и Артура, которые собираются изучать юриспруденцию. Для перевода и постановки возьмите «Близнецов», там как раз и для наших близнецов найдутся роли. Книжки купишь в Бристоле, в лавке мастера Канлиффа. Помнится, в свое время, еще учась в школе, мне тоже довелось участвовать в такой постановке, но только на латыни. Память об этом удовольствии я сохранил на всю жизнь. — Последнюю фразу он произнес довольно мрачно.

И вот золотым октябрьским днем Уилл отправился в Бристоль, миновав Баркли с его замком, Вудфорд, Алвестон, Алмондсбери, Пэтчвей, Филтон... Он ехал верхом на гнедом мерине мастера Куэджли. Земля была устлана ковром из золотистых и бурых листьев, похожих на поджаренную в масле рыбу; в ветвях деревьев порхали птицы, готовые покинуть идущий ко дну корабль лета. Уилл ежился от прохлады. Полы его старенького плаща были старательно запахнуты, а в кошельке (это был замечательный кожаный кошелек, сшитый Шекспиром-старшим) лежал золотой. На эти деньги нужно было купить книги, а на оставшиеся гроши

— пообедать в какой-нибудь придорожной таверне. Собственных денег у Уилла не было.

Бристоль... Уилл с благоговейным страхом и волнением въехал в этот город. В гавани Бристоля возвышался стройный лес корабельных мачт; Уилл почувствовал соль на губах и увидел моряков — суровых морских волков, внешний вид которых не оставлял никаких сомнений относительно рода их занятий (куда уж до них было сухопутному и ныне покойному бедняге Хоби). На шумных улицах со всех сторон раздавались пьяные крики, звенели колокольчики работаровцев, по булыжнику весело грохотали большие деревянные бочки. При виде такого множества настоящих моряков в странных разноцветных нарядах и с золотыми кольцами в ушах, при виде этих загорелых обветренных лиц Уилл вдруг смутился. А ведь ему нужно было только купить книжки Плавта, съесть скудный обед и отправиться домой, чтобы возвратиться к привычной, размеренной жизни.

— Вот все, что у нас есть, — сказал книготорговец Канлифф. — «Бвизнецы», «Домовой» и еще «Хвастун». Можете взять пять книг одного наименования и еще одну, шестую, себе, как наставнику; ее я, так уж и быть, продам вам за три четверти цены. А других книг не держим.

Канлифф был худощавым стариком с очень острым подбородком. В его магазинчике царил полумрак и пахло могилой и книжной пылью; на конторке, за которой хозяин считал деньги, лежал человеческий череп (неужели здесь дерут три шкуры и с живого, и с мертвого?). Канлифф с

гордостью пояснил, что этот череп принадлежал забитому до смерти негру-рабу. С улицы в магазин доносились пьяные крики матросов из таверны и рокот океанского прибоя: волны с грохотом разбивались о берег, и на них покачивались корабли со спущенными парусами.

— Бовше вы таких книг во всем Бристоу не сыщете, — продолжал Канлифф. «Л» он не выговаривал, произнося «Бристовь» вместо «Бристоль» и «Бвизнецы» вместо «Близнецы».

По Брод-стрит проехала дорогая карета, запряженная парой великолепных серых в яблоках лошадей.

— Но не все негры рабы, — продолжал Канлифф. — Например, вон та особа, что сейчас проехав, тоже черная, ну, иви, по крайней мере, очень-очень смуглая. Говорят, что когда-то ее привезли откуда-то из Ост-Индии. Якобы там она была дочкой вождя, а здесь ее из жавости взяли в семью и воспитали как собственную дочь. Теперь она уже совсем взрослая, надменная дама, добропорядочная христианка. У нее товстые губищи, как у обезьяны, да и вообще, кто позарится на такую страховюдину? — Уилл проводил карету жадным взглядом, пока та не скрылась за углом и цоканье копыт не растворилось в уличном гаме. — Она из Фишпондс, — добавил Канлифф, качая головой и незаметно выпроваживая Уилла из своей лавки.

Уилл сунул перетянутые бечевкой книги под мышку, запахнул получше полы старенького плаща и отправился бродить по узким извилистым улочкам. Он был в каком-то непонятном смятении. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы в конце концов юношу не окликнул женский голос из какой-то открытой двери.

— Эй, красавчик! Ищешь, с кем бы переспать?

Он с замиранием сердца обернулся. На женщине было широкое белое, хотя и грязноватое, платье, плечи и грудь были обнажены. Она стояла сложив руки на груди и привалившись спиной к дверному косяку. Зазывно улыбалась... Если англичане белые, подумал Уилл, то тогда ее, несомненно, следует считать черной. Хотя и не совсем, потому что ее темная кожа имела замечательный золотистый оттенок, но определить этот цвет одним словом, подобно тому, как, например, называют цвет ткани, было невозможно, ведь это была живая, находящаяся в движении плоть. При различной освещенности солнцем оттенок кожи слегка менялся, но колорит и благородная насыщенность цвета оставались неизменными. Волосы женщины были вьющимися и черными как смоль, губы — полными, а нос совсем не был похож на те прямые, строгой формы носы, что обычно бывают у англичан. Не такой, как у Энн, и даже не вздернутый и не курносый, а приплюснутый и широкий, с крупными ноздрями. Брови

женщины были прямыми, вразлет. Красотка стояла на пороге дома, улыбалась и манила Уилла своим длинным темным пальчиком.

Уилл не знал, как быть, ведь денег у него было совсем мало (как раз должно было хватить на маленький кусочек баранины в придорожной харчевне), а в Бристоле наверняка привыкли к звону золотых монет. Как говорится, золото за золото, но до сегодняшнего дня ему еще никогда не приходилось платить (хотя нет, однажды он все-таки заплатил собственной свободой) за акт любви, и юноша вздрогнул при мысли о таком циничном торге. Им предстояло пройти по длинному темному коридору, где раздавались похотливые стоны. Уилл замер в нерешительности, а женщина продолжала улыбаться и затем сказала: «Если ты вправду хочешь, то идем». Уилл скорчил гримасу, усмехнулся и что-то пробормотал себе под нос, разжимая правую руку и показывая собеседнице пустую ладонь. Женщина мелодично засмеялась.

Уилл покорно подошел к ней, чувствуя необыкновенную слабость в ногах. Она снова поманила его за собой. Он вошел в темный пыльный коридор, и в нос ему ударил резкий запах пота и еще какой-то гнили, будто где-то поблизости разбили тухлое яйцо. Еще здесь пахло спермой и грязной одеждой. Судя по всему, сюда часто заходили моряки. Из комнат, расположенных по обеим сторонам коридора, доносились смех и ритмичное поскрипывание пружин. Низкий мужской голос пророчески вещал: «Все безымянные сгинут, и да будет так!» Дверь одной из каморок оказалась открытой, и Уилл стал невольным свидетелем происходящего там действия. В камерке стояла низкая лежанка, забросанная грязным тряпьем, пол был забрызган кровью, а сама любовь происходила у стены, и судя по всему, дело близилось к завершению. Черная обнаженная женщина с блестящим от пота телом была прижата к стене, а сзади на нее наседали грузный моряк в расстегнутой рубахе и спущенных портках. У него была ярко-рыжая растрепанная борода и совершенно лысая голова, если не считать редких жиденьких прядок, прилипших к черепу. При виде этой картины спутница Уилла улыбнулась, юноша же почувствовал одновременно и отвращение, и возбуждение, и сильную неприязнь, которой не испытывал даже во время безумных ночей с Энн. Он покраснел от страха и стыда, и ему вдруг нестерпимо захотелось снова оказаться рядом с женой, покрыть поцелуями ее белое тело, тонкие губы и прямой нос, упасть в ее объятия и обрести поддержку и утешение. Но темнокожая женщина вела его дальше.

Они вошли в соседнюю каморку, где никого не было, если, конечно, не считать призраков предшественников Уилла, незримо ухмылявшихся ему

со стен. Призраки были повсюду: в складках грязных простыней, под кроватью, откуда Уиллу приветственно махала волосатая рука неведомого мертвеца... Он перешагнул порог и замер как вкопанный: было еще не поздно отступить. Женщина быстро спустила с плеч лиф платья, обнажив грудь с черными, словно нарисованными чернилами сосками, и с улыбкой протянула к Уиллу руки. Уилл бросил на пол перевязанные бечевкой книги Плавта и, дрожа всем телом, откинув назад полы плаща, заключил женщину в объятия. Она ничего не сказала, он же принялся жадно целовать ее в губы, не давая произнести ни слова: теперь ему казалось, что он послушался совета» Хоби и отправился в путешествие к далеким берегам, где живут люди с собачьими головами и где на пальмах растут золотые орехи, а земля сплошь усеяна драгоценными камнями. Скалы, раскаленное солнце, говорящие рыбы, волны до небес... Но вдруг красotka резко отстранилась от него и протянула руку, требуя денег.

— У меня только... вот... — Он показал свои гроши, и тут ее словно подменили. Она набросилась на него, яростно колотя его своими черными кулачками. Уилл попытался оттолкнуть ее, и тогда она принялась кого-то звать, выкрикивая какое-то странное имя. В коридоре раздались шаркающие шаги, и в каморку ввалилась еще одна женщина постарше — это была черная толстуха, от которой пахло кухней. Она что-то торопливо дожевывала на ходу; ее толстые губы казались темно-багровыми, а обвислые, не стянутые корсетом груди, болтающиеся при ходьбе из стороны в сторону, свисали, казалось, до самого пупа. Обе женщины накинулась на юношу с кулаками, что-то крича на своем языке. Уилл попятился, спотыкаясь и прикрывая рукой глаза, ведь эти бестии могли запросто их выцарапать. Когда он наконец оказался в коридоре, две медные монетки выпали из его руки и со звоном покатались по полу. Какой-то матрос в расстегнутой грязной рубаше выглянул из своей каморки и, догадавшись, в чем дело, громко захохотал, обнажая гнилые зубы.

Уилл бежал, и вслед ему неся этот хохот, подхваченный ветром, который вдруг почему-то очень сильно задул на этой улице. Он бежал со всех ног, не разбирая дороги, гонимый чувством жгучего стыда за пережитое только что унижение, стремясь поскорее оказаться на Брод-стрит, где можно будет смешаться с толпой, где скрипучие вывески раскачиваются над дверями многочисленных кабачков и таверн, в том числе и над порогом «Розы», где он оставил хозяйского гнедого, пообещав мальчишке-слуге полпенни за труды. Обедать в душной и жаркой харчевне ему сегодня не придется — оно и понятно, ведь денег у него нет; черт побери, у него не было даже полпенни, чтобы расплатиться за коня.

— Вот, возьми это, — сказал Уилл, протягивая мальчишке свой пустой кошелек, замечательный кошелек из первосортной кожи, подарок отца. Разинув рот от удивления, мальчишка принялся вертеть подарок в руках, разглядывая его со всех сторон. Уилл вскочил в седло и отправился в обратный путь, с позором покидая Бристоль и устье Северна. И только тогда он со страхом и стыдом вспомнил о том, что возвращается к Куэджли налегке, без книг, ради которых ему, собственно говоря, и пришлось совершить столь дальнее путешествие.

ГЛАВА 9

После того случая ему часто снилась по ночам та темнокожая шлюха, ее черные соски, крепкие груди, воинственно занесенные кулачки, и при одной только мысли о ней наяву Уилл неизменно приходил в сильное возбуждение. Однако постоянно думать о ней он не мог. В доме Куэджли не было книги «Близнецы» Плавта (Уилл тщательно обыскал скудную библиотеку мастера Куэджли, когда того не было дома), и оставалось лишь одно: написать ее самому. Элидамнус... Эпидамнум... Он никак не мог вспомнить названия города, где происходило действие этой комедии ошибок и где разлученные в детстве близнецы случайно встретились, даже не подозревая о существовании друг друга. Что касается имен этих близнецов, то он точно знал, что одного из них звали Менхем. Но вот имя второго... Исосцел? Софокл? Сосикл? Когда-то Уилл читал эту книгу, но с тех пор прошло столько времени... И вот теперь по иронии судьбы юноше предстояло стать не Овидием, а Плавтом.

— Мальчики готовят вам сюрприз, — доверительно сообщил как-то Уилл своему хозяину. — Постановка будет готова к Рождеству. Только не спрашивайте у них о том, как идут дела. Пусть они думают, что вы ничего не знаете.

— Что ж, ладно.

— Это будет настоящее театральное представление. Выступление труппы «слуг милорда Куэджли»!

— Ага, ну ладно. — Хозяин был явно польщен. — Посмотрим...

И Уилл написал:

Прошло немного дней еще, и стала Она счастливой матерью двоих Здоровых сыновей, так странно схожих,

Что различить их было невозможно... [\[19\]](#)

Отвратительно, просто из рук вон плохо — он видел это и сам. Рифмы ровным счетом никуда не годились. Но что можно требовать от такого немелодичного языка, как английский? Потом Уилл подумал, что текст должен выглядеть так, как будто был переведен с латыни Мэтью, которому, как самому старшему из мальчиков, была отведена роль отца близнецов, Эгеона. От Мэтью никто не потребует поэтического совершенства. Итак, не вычеркивать ни одной строки, пусть все остается как есть.

— Обоих близнецов зовут Антифол, — объявил Уилл своим ученикам, — но только один из них из Сиракуз, а другой из Эфеса. — Этих

имен и географических названий будет вполне достаточно. — А жену эфесского Антифола зовут Адриана.

— Так, значит, там и женщина есть? — подал голос Артур. — А кто ее будет играть? Наша мама?

Похоже, хотя их отец и кичится своим превосходством над простолюдинами, эти недоросли так никогда и не были в театре.

— Женские роли обычно поручают мальчикам, — объяснил Уилл, — потому что женщин в актеры не берут.

— Но ведь это неправильно, — протестующе забасил Мэтью, — между мужчинами и мальчиками не должно быть любовных отношений. Даже понарошку.

Это замечание больно кольнуло Уилла. Он почувствовал себя уязвленным. И тогда он сказал:

— Между прочим, в древности это вовсе не считалось грехом, и у знатных афинян были свои так называемые мальчишки-катамиты. Это название произошло от имени юного Ганимеда, который прислуживал Зевсу за трапезой. Мужчины в те времена считали, что женщина — это только продолжательница рода, которая вынашивает потомство, а для истинного наслаждения души и тела нужно искать кого-нибудь другого. И прекрасный юный мальчик становился воплощением желаний этих умудренных опытом бородатых мужчин. Некоторые народы так поступают и в наши дни.

Да простит его Господь, Уилл отошел от темы и нес уже настоящую чушь, но ученики слушали его, затаив дыхание и ловя каждое его слово. Затем снова раздался срывающийся голос Артура:

— Но разве это не противоречит законам Церкви и заветам Господа нашего Иисуса Христа?

Уилл вдруг подумал, что Артур и его брат Гилберт наверняка могли бы подружиться: у них очень много общего... А он по дурости своей стал отвечать и на этот вопрос:

— Кое-кто с этим не согласен и считает, что и сам Иисус занимался этим со своим возлюбленным учеником Иоанном и что это вызвало ревность Иуды. И что никакая женщина, кроме одной-единственной, Его матери, не унаследует царствия небесного. — И затем, «внезапно испугавшись того, что мальчишки могут запросто передать это отцу как якобы его собственную точку зрения, поспешно добавил: — Конечно, все это чушь и вздор, да, конечно, чушь. Но все-таки кое-кто думал именно так. А теперь давайте вернемся к нашему учебнику по грамматике.

...Что это было? Зачем он наговорил им все это? Может быть, все дело

в больных нервах Уилла и том огорчении, что ему довелось пережить? Неужели все его существо протестует против женщин — белых и сварливых, черных и драчливых? Уилл с новой силой взялся за сочинение пьесы, которая якобы принадлежала перу Плавта:

Обед остыл — она разгорячилась; А он остыл затем, что вас все нет; Вас нет затем, что не хотите есть; Есть не хотите — значит, разговелись Уж где-то вы, заставив тем нас всех

Поститься и замаливать ваш грех^[20]...

Ох уж эти неуклюжие строчки! Отовсюду так и лезет его подражание Сенеке, а отнюдь не Плавту... Неужели он никогда не станет самим собой?

— А Ральф сегодня не завтракал, — доложил Майлз. — У него зуб очень болит.

— Значит, — сказал Уилл, глядя на Ральфа, который застонал и поспешил сунуть в рот новый зубчик чеснока, — теперь я знаю, кто из вас кто. Ральф — этот тот, у кого болит зуб. — Ральф захныкал. — А разве у вас в городе нет зубодера? — удивился Уилл.

— Он болеет. У него лихорадка. Отец сегодня уехал по делам. Он сказал, что повезет его завтра в Кембридж.

— В Кембридж? Это же далеко.

— В наш Кембридж, глупый, — с усмешкой ответил Майлз. — В глостерширский Кембридж, а не в лондонский.

«Глупого» Уилл пропустил мимо ушей. И он не сомневался, что Майлз определенно знал, что делает, когда той ночью он пришел в комнату своего учителя и забрался к нему в постель. Мальчишка дрожал: было довольно холодно.

— Ральф плачет от зубной боли и мешает мне спать. — Близнецы спали в одной кровати.

Уилл прислушался: никакого плача слышно не было.

— Тогда заходи, и побыстрее.

На следующий день Ральфу вырвали больной зуб. Майлз больше не приходил в комнату Уилла, но в его присутствии начал кокетничать и воображать, словно девчонка. И вот однажды Уилл схватил его, когда он самым первым явился на урок в классную комнату, но, да простит его Господь, это оказался не Майлз, а Ральф. Ральф заорал громче, чем от зубной боли, и в следующий момент в комнату ворвались его мать и отец, которые в это время как раз сидели за завтраком. Они выскочили из-за стола, даже не прожевав того, чем были набиты их рты. Разгорелся громкий скандал, и дело едва не дошло до драки. Защищаясь, Уилл выхватил перочинный ножик.

— Он убьет нас, — вопила госпожа Куэджли. — Я всегда знала, что это когда-нибудь случится. Вот что значит пускать в дом всякий сброд из глухомани.

— Молчи, женщина, — гремел ее супруг. — А ты, негодяй, прочь из моего дома! Совратитель невинных, малолетних детей... Вон отсюда, развратник!

— Подумать только, судья-пьяница прямо на глазах становится благочестивым человеком. Какой пафос! А как насчет римских оргий?

— Я сказал, вон отсюда!

— Сначала отдайте причитающиеся мне деньги.

— Ничего ты не получишь! А если не уберешься немедленно из моего дома, я обломаю свою палку об твою башку.

Мать тем временем утешала Ральфа, а мальчишка искоса поглядывал по сторонам, наблюдая за Уиллом. Он знал, в чем дело, он все прекрасно понимал.

— Вы забыли про наш договор, — напомнил Уилл, рассеяно глядя, как лезвие ножа блестит в свете утреннего зимнего солнца.

— Что, о законе вспомнил? Так пеняй на себя. Растление малолетних — тягчайший из грехов. Пошел вон, или я позову слуг, чтобы они вышвырнули тебя отсюда.

— Я и сам уйду, — с достоинством ответил Уилл. — Нам не о чем больше говорить.

И он ушел в свою комнату, чтобы увязать грязные рубашки в красный шейный платок. Тут к нему влетел запыхавшийся Майлз.

— Мы будем очень скучать, — сказал он, с трудом переводя дыхание. И бросил на неубранную постель несколько медных монеток. — Вот, возьмите. Это подарок. — Потом он неуклюже чмокнул Уилла в щеку и убежал. Уилл не спеша покинул дом; мажордом с издевательской усмешкой выпроводил его за дверь, а одна из служанок (ее звали не то Дженни, не то Джинни) выглянула из-за угла и глупо хихикнула. Но видит Бог, он еще отомстит этим плебеям! Он клялся в душе Зевсом и Исидой, что обязательно возьмет свое и станет выше этих жалких рабов.

Мороз сковал землю, но Уилл не чувствовал холода, его кровь прямо-таки кипела от негодования. Лошади у него не было, в Глостершир он приехал верхом на кляче, которую Куэджли по случаю купил для своего сына Мэтью. И куда сейчас? Нет, не в Бристоль, только не в Бристоль... Всякий раз, когда он глядел на западный горизонт, ему казалось, что там тлеет вечное зарево его позора и унижения. Уилл решил пойти по дороге, ведущей на северо-восток. Человеку с так сильно развитыми греховными

наклонностями лучше всего держаться поближе к своей семье (в которой, судя по его подсчетам, очень скоро ожидалось прибавление).. Багаж Уилла состоял из небольшого и горького житейского опыта, из воспоминаний о замке Баркли, в небе над которым кружили ласточки, и из нескольких сотен стихотворных строк лже-Плавта.

Что может быть страшнее испытанья, Чем говорить о несказанном горе?

Но расскажу, насколько скорбь позволит, Чтоб знали все: я обречен на смерть

Не преступленьем, а самой природой^[21].

В Уитминстере он зашел в дешевый трактир, чтобы поесть, и там судьба свела его с одним проходимцем, основным занятием которого была игра в кости. Уилл сидел в уголке и размачивал сухой хлеб в похлебке, больше похожей на помои, и этот игрок обратился к нему. Джентльмены в этот трактир не заходили, а Уилл выглядел именно как благородный господин; видимо, шулер признал в нем родственную душу — благообразный, учтивый, улыбчивый молодой человек, твердо знающий, что ему нужно от жизни. Игрок же был худощавым парнем в большой черной шляпе, которая делала его похожим на странствующего проповедника; говорил он стремительной скороговоркой.

— Этой похлебкой сыт не будешь, — с ходу заявил он. — Вот в Глостере мы могли бы объесться сладкими пирожками и закусить их ватрушками. А вы, сэр, чем занимаетесь? Судя по всему, дела у вас идут неважно.

— Вообще-то, я в некотором роде поэт. Хотя, еще совсем недавно был учителем.

— Совсем недавно? Так-так. Что ж, честных мастеровых людей на свете много, а вот хороший вор — большая редкость. Сам я еду в Глостер, чтобы провернуть там одно выгодное дельце. Мы могли бы пойти туда вдвоем, но для начала мне хотелось бы рассказать вам суть этого дела. Вы выглядите неглупым молодым человеком.

Вкратце это предложение заключалось в следующем: они заходят в трактир порознь, сначала Уилл, который, как истинный джентльмен, заказывает для себя эль, а спустя какое-то время входит его напарник-шулер. Он затевает игру в кости, Уилл становится его первым партнером и выигрывает несколько раз подряд, после чего мошенник с сокрушенным видом говорит: «Нет уж, сэр, для меня вы слишком сильный соперник. Будьте так добры, дайте и другим сыграть». Уилл уходит, а его место занимает какой-нибудь простофиля, которого устроитель всей этой затеи

при помощи нехитрых манипуляций легко обыгрывает и уходит с деньгами.

И вот они отправились вместе. День выдался ясным и морозным. Когда по пути в Глостер им довелось пройти через городишко Куэджли, Уилл зло сплюнул. Его попутчик без умолку рассказывал о своем ремесле, в котором, оказывается, было столько нюансов и хитростей, что хватило бы на целую книгу: тройки-четверки, пятерки-двойки, соперники, различные способы мошенничества... Заодно игрок поведал и о других проходимцах, с которыми можно столкнуться на улицах большого города, — в их число входили «молчальники», собирающие милостыню, притворяясь глухонемыми, конокрады, юродствующие бродяги, карманники, уличные воришки, шлюхи, сводни и скупщики краденого. Это был незнакомый новый мир, но Уилл уже начал ощущать себя его частью: разве он не был таким же обманщиком, развратником и растлителем малолетних? Кроме того, он чувствовал безотчетный страх перед тем, какие еще пороки могут пробудиться в его душе. Когда они наконец добрались до Глостера, остановив свой выбор на трактире «Нас трое» (его эмблемой были два дурака), Уилл с блеском исполнил роль, отведенную ему нечистым на руку попутчиком, и заработал таким образом небольшую сумму серебром. Он забрал деньги и устроился на ночлег в другом трактире, а на следующее утро отправился домой, чувствуя, как сердце часто и больно бьется от волнения.

В Ившеме он ненадолго задержался и заглянул в тот трактир на берегу реки, где когда-то мечтал о женитьбе на юной Энн Уэтли. Во дворе трактира раздавались крики — там выступали заезжие актеры. Теперь, когда среди пожитков Уилла были несколько листов рукописи пьесы «под Плавта» театр представлялся ему в совершенно новом свете. Все здесь было устроено на редкость неудачно и бестолково: по одну сторону от импровизированной сцены стояла повозка и возвышалась груда ящиков, о которые постоянно спотыкались выходящие на подмостки актеры. Зрителей собралось мало (день выдался ясный, но очень холодный), и большинство из них было навеселе. Уилл не знал, что это была за труппа и откуда. Это была проста горстка бездарных, скверно игравших актеров в, поношенных ливреях. Насколько он мог судить, их не заботила современная театральная мода и они? по старинке играли какое-то моралите, главными действующими лицами которого были Бережливость, Терпение и Умеренность. Текст был чудовищным, рифмы никуда не годились, и лишь появление на сцене Порока и его слуги заставило зрителей немного оживиться. А когда в конце концов хохочущий,

подмигивающий, но так и не раскаявшийся Порок был отправлен прямо в адское пекло, из толпы раздались негодующие возгласы и на сцену полетело несколько камней. Потом Порок и его слуга все-таки восстали из мертвых — так как, наверно, это была пасхальная постановка — и обошли зрителей, держа в руках ящички для денег. Сбор за спектакль составил всего несколько мелких монеток, и Уилл широким жестом пожертвовал целых полпенни из тех денег, что он получил накануне от своего плутоватого спутника.

Он остановился в том трактире на ночь и на следующее утро, хмурое и сырое, покинул Ившем. Все его мысли были заняты актерами и представлениями. С одной стороны, «Судебные инны», размышлял он, с другой — придорожные трактиры; неужели из всего этого нельзя вывести нечто среднее, к примеру, построить такое заведение, где можно было бы читать свои стихи и быть услышанным? Но затем Уилл спохватился, подумав, что джентльмену не пристало думать о подобной чепухе, и постарался поскорее выбросить весь этот вздор из головы. И все же даже в собственных шагах ему чудился ритм белого стиха, а в голове сами собой слагались строки трагического монолога:

И за свершенный грех я стал изгоем, И принял я безропотно судьбу^[22].

Когда он подходил к Темпл-Графтону, то услышал зловещее карканье ворона, одиноко сидящего на голой ветке вяза: «Энн, Энн, Энн, Энн...» Птица вспорхнула с дерева и полетела в направлении Стратфорда, словно гонец, продолжая хрипло кричать на всю округу: «Энн, Энн, Энн Энн...»

ГЛАВА 10

...Восторженные крики, слезы, объятия и даже внезапно появившийся аппетит: так много впечатлений обрушилось разом на беременную Энн. Почему я вернулся? Я вернулся потому, что очень соскучился по своей жене и ребенку, по отцу с матерью, по сестре и младшим братьям. Хотя Гилберта уже никак нельзя было назвать мальчиком: за время отсутствия Уилла он заметно подрос, возмужал, его голос стал грубее, но он с тем же упорством продолжал говорить о своих встречах с Богом; когда же у него случались приступы падучей болезни, то весь дом сотрясаясь, а в кухонном шкафу гремела оловянная посуда. Ричард пока оставался все тем же хромым мальчишкой, но и на его юной мордашке уже появилось не по-детски лукавое выражение. Сьюзан заметно подросла. В целом же все оставалось по-прежнему (ведь Уилла не было дома всего каких-то несколько месяцев); Стратфорд стоял на прежнем месте. Финансовые дела отца также не претерпели никаких изменений в лучшую сторону: заплат на одежде прибавилось, соломенная крыша дома потемнела и местами стала совсем тонкой. По ночам в ней что-то шуршало: может быть, это гадюка свила себе гнездо в соломе?..

— Что ж, — сказал отец, — ты вернулся домой как нельзя кстати. Мастер Роджерс пару дней назад говорил мне о том, что ему нужен клерк и с каким удовольствием он взял бы на эту должность такого парня, как ты.

Генри Роджерс, секретарь городского совета, чванливый господин, от которого пахло пылью и плесенью, проявлял большой интерес ко всему, что имело отношение к смерти, праху и тлену. Что ж, в какой-то мере он был прав, ибо разве не мертвецы правят живыми людьми? И зачастую человек, уже давно сошедший в могилу, посредством законов управляет этим миром более успешно, чем делал это при жизни. К примеру, разве власть Вильгельма Завоевателя не крепнет год от года? Так что Уильяму Завоеванному снова ничего не оставалось, кроме как смириться, хоть и неохотно, с новым поворотом в своей жизни. Взяться за изучение юридических терминов и замысловатых фраз, которыми пестрели нотариальные документы, начать разбираться в статутах, закладных, поручительствах, документах о передаче имущественных прав... Это была новая ипостась использования телячьей кожи, ибо разве не она идет на изготовление пергаментов?

— Аминь, аминь, аминь, — бормотал Уилл.

— Итак, взимание побора в пользу земельного собственника, — причмокивая, разъяснял мастер Роджерс. — Истцу, в чьем владении должен находиться данный земельный участок, надлежит привлечь теперешнего владельца земли к суду за то, что тот неправомочно не дает ему воспользоваться своим законным правом собственника. Это называется юридической фикцией. — В этой конторе над всем витал дух закона, правящего миром живых от имени тех, кто уже давно переселился в мир иной. — Затем ответчик признает право истца, после чего достигнутый компромисс заносится в судебный протокол, скрепляется трехсторонним договором, и все довольны.

— Но в чем суть этого побора?

— Побор — это компромиссное решение по иску, когда речь идет о правах собственности и нет никакой возможности уладить дело обычным путем. Это часть нашей истории. Такой порядок существует со времен правления Ричарда Первого.

— Слова, все это слова!

— В нашем деле слова — это главное. — Мало-помалу Уилл начал понимать, в чем здесь дело. Слова, отговорки, фикции... Они правили всем. — Тебе нужно выучить французский язык, — продолжал мастер Роджерс. Он снова громко чмокнул и отошел к заставленным книгами полкам. Похоже, Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандский, жив, как никогда... — Вот веселая и интересная книжка, — усмехнулся он, глядя на Уилла. — Рабле, его сказка про великанов. Мы с тобой будем читать ее вместе каждый день после обеда.

Серые зимние дни шли своей чередой, живот Энн становился все больше и больше, и уже не за горами было то время, когда в их семье появится еще один рот и новый человек придет в этот жестокий и грязный мир.

— Рождение, — радостно чмокнул мастер Роджерс, — это первый шаг к могиле. Ты обрекаешь человека на смерть.

Гаргантюа, после тошнотворного описания эпопеи с живым гусем, которым он вытер задницу, отправился к великому врачу-софисту по имени Тьюбал Олоферн. Никакого французского Уилл учить не стал, так что мастер Роджерс сам сидел с книгой и громко читал вслух по-английски,

— «...Затем он попал в учение к старику по имени мэтр Жобелин Брид, то бишь к мордатову придурку». Так, эту ерунду мы с тобой пропускаем и переходим к другой, более непристойной сцене. И все это исключительно ради твоего просвещения.

Минуло Рождество, живот Энн все рос и раздался уже до невероятных

размеров. Уилл успел привыкнуть к своей роли учтивого и незаметного судебного клерка, любящего мужа и заботливого отца, баюкающего Сьюзан по вечерам. Прошел тоскливый январь. Это были короткие пасмурные дни, и в мрачных, похожих на склеп помещениях конторы приходилось весь день напролет жечь свечи. Однажды, как раз на Сретение, в контору к Уиллу наведлся Гилберт, с приходом которого старший брат немедленно забыл о своих бумагах. Мастер Роджерс удалился в отхожее место и что-то очень долго оттуда не возвращался. На улице шел дождь, капли воды понемногу собирались на потолке, и стоило Гилберту хлопнуть дверью, как они разом обрушились вниз и размывили только что выведенное Уиллом имя Уилсон^[23]. Он тут же понял, в чем дело: схватки у Энн начались еще утром, до его ухода на службу. Уилл вскочил и прежде, чем Гилберт успел раскрыть рот, схватился за плащ, понимающе кивая. Гилберт выпалил скороговоркой:

— Они родились, да, оба. Прямо у мамы из живота. Бог послал их, как чудесное знамение Израилево. — Гилберт стоял посреди комнаты в своем промокшем шерстяном плаще, и под ногами у него уже образовалась темная лужица дождевой воды. Его лицо было тоже мокрым от дождя, с кончика носа капала вода.

— Оба? Они?

— Ага, по одному каждого пола. Девочка и мальчик.

— Двое? Близнецы? — Сначала это сообщение обескуражило Уилла, но потом он переспросил: — Мальчик? Сын? У меня сын? — У него родился сын, наследник! Уилл рассеянно поглядел на лежащий перед ним пергамент и то имя, что оказалось размыто дождем.

— И теперь, — сказал Гилберт, — ты прямо как Ной. У него тоже было трое детей, а вокруг был потоп.

— Сыновья, — улыбнулся Уилл. — У Ноя были сыновья. — Он снова улыбнулся, хотя факт рождения двойни не доставлял ему особой радости; ему казалось, что Бог и природа нарочно сделали все так, чтобы омрачить его радость от рождения наследника.

— Я это знаю, — серьезно ответил Гилберт. — Их звали Сим, Хам и Иафет, вот. Имена начинаются на С и Л (он вывел пальцем латинские буквы S и H на пыльном столе мастера Роджерса), а с какой буквы пишется третье имя, я не знаю. (Он имел в виду, что это должна быть латинская буква I или J.) С у тебя уже есть.

Уилл прислушался к брату, в душе считая его провидцем. Да, С — это Сьюзан, его отрада, его маяк в океане похоти и разврата. Итак, решено, своего сына он назовет Хам, нет, лучше Гамнет. Подумать только, ведь

всего несколько месяцев тому назад и сам Уилл находился в шкуре бедняги Олоферна, учителя из той непристойной книжки Рабле. Поэтому свою вторую дочь он назовет Юдифь, то есть по-английски Джудит.

— Послушай, — спохватился Уилл. — А сама мать, Энн? Моя жена, как она?

— Хорошо. Очень хорошо. Но слышал бы ты, как она орала.

— Ну, это ясное дело. — Уилл злорадно усмехнулся. — Так и должно быть. А теперь идем и проведем мамашу и двойняшек. — Они запахнулись в плащи. — Так сказать, засвидетельствуем им наше почтение. — И они вышли на улицу, под потоки проливного дождя...

Для нас же с вами сейчас самое время (так как первая бутылка уже почти пуста), подобно Ною, выпустить голубя на поиски земной тверди... Впрочем, чем эта история закончится, нам еще только предстоит узнать. Всему свое время. В Стратфорде Уилл уже исчерпал себя, сделал все возможное — ну или почти все — и теперь стал часто слышать призывный звук походных труб и колокольный звон, чувствовать попутный ветер. Нам же остается лишь распахнуть дверь, замок которой открывается любым ключом.

Итак, год 1587-й, середина лета. В Стратфорд прибыла театральная труппа «слуг ее величества королевы»; каждый актер приехал верхом на собственной лошади. Лето в тот год выдалось знойное и засушливое, было жарко, как в пустыне. Так с чем же они приехали, эти смеющиеся люди, которые хвастались в трактире своей близостью к королевскому двору и запросто упоминали в разговоре имена Тилни и самого Уолсингема? Больше всего на свете жителям Стратфорда нужен был дождь, но актеры его с собой не привезли. А раз Бог за грехи человеческие однажды уже устроил на земле потоп, то, возможно, на этот, раз Он просто решил спалить людей заживо? Грех, грех, грех... Во всяком случае, так было сказано на последней воскресной проповеди. Кого нужно было считать самым большим грешником? Среди актеров был человек с невыразительным лицом, расплюснутым носом и к тому же косоглазый, в одежде из домотканой материи, в колпаке с помпонами, в невысоких сапожках, по-деревенски подвязанных у щиколотки, с кожаным кисетом на поясе. Он расхаживал по городу, наигрывая незатейливые мелодии на визгливой дудочке и стуча в барабан. За ним по пятам ходил парнишка, его подручный, с деревянной табличкой в руках, на которой красовалась надпись «Семь смертных грехов».

Знающие люди говорили, что это был Дик Тарлтон. Что, вы никогда не слышали о Дике Тарлтоне? А мальчишку, что ходил за ним, звали не то

Темп, не то Камп, а может быть, и Кемп; к ногам, пониже колена, у него были привязаны бубенчики, которые звенели при каждом шаге. Когда-то шут Тарлтон был близок к ее величеству, но затем (и об этом нельзя было говорить вслух) впал в немилость, дерзнув в высочайшем присутствии сказать какую-то гадость в адрес сэра Уолтера Рали и графа Лестера. Глаза Тарлтона теперь смотрели невесело, но он был так же остер на язык, как и в прежние времена.

Эй, слушайте все! Эй, вы, погрязшие в грехах, милости просим на праздник порока! Там будет что посмотреть, приходите, не пожалеете. Каждому воздается мерой за меру, а кому будет мало — получай больше. Добро пожаловать на представление — славное веселье! Под занавес будет исполнена джига. Таких шуток вы не услышите больше нигде! И это будет завтра, знайте, вы, бесстыжие ублюдки, тупорылые болваны, ленивые вонючки...

Актеры устроили веселое представление на фоне душного стратфордского заката, символизирующего страшный гнев Всевышнего. Дождь, когда же пойдет дождь... Семь смертных грехов... Джига под занавес... Затем в окнах трактира загорелся свет, и окрестности огласил нестройный хор голосов, исполняющий под стук кружек с элем нехитрую песенку о любви:

Разлука уж близка; прощай, родная, О грустном ты молчи: я знаю, знаю...

— Жарко, — вздохнул Уилл, стоя голым перед раскрытым окном. Сьюзан теперь спала в комнате Джоан, но колыбель близнецов все еще стояла в спальне родителей, и теперь оба малыша мирно спали. Энн, стройная и вроде бы пока еще не беременная, тоже сидела обнаженной. В ночном воздухе было ощущение надвигающейся беды — низко над землей висела луна, а притихшие городские улицы будто ждали прихода Антихриста. Что же, размышлял Уилл, если я когда-то и грешил, то все это осталось в далеком прошлом; сделать из меня козла отпущения вам не удастся... До его слуха донеслись далекие голоса, но на пение это не было похоже. Скорее всего, еще одна толпа горожан идет в поля, чтобы всем вместе помолиться и попросить Бога ниспослать дождь.

Ведь слишком хороша ты для любого.

Прощай, прощай, не встретимся мы снова... [\[24\]](#)

Уилл взглянул на стройную влажную спину жены, на узкую талию, на изящную линию плеч. Слова актерской песенки навевали на него тоску, которую он никак не мог объяснить. Энн читала книжку, поднося ее близко к глазам: у нее развивалась близорукость. Заглянув через плечо жены, Уилл

увидел строки, набранные мелким шрифтом. «...И тогда он отправился в путь и скитался по свету много лет, надеясь встретить девушку еще прекраснее, чем она. Только все его поиски были напрасны. Он понял, что никто на всем белом свете не заменит ему ее...» Красивая сказка про любовь, как раз то, о чем мечтает каждая женщина. Сердце Уилла сжалось от нежности, и он наклонился и поцеловал Энн в плечо. Ее это немного удивило, но она с готовностью откликнулась на ласку, поспешно закрыла книжку и отложила ее в сторону. Они целовались, прижавшись друг к другу влажными от пота телами. Я делаю все правильно, думал Уилл, в этом нет греха. Объятия становились все крепче, а ласки все настойчивей...

Но что за шум доносится с улицы? Голоса все приближались, и это была не молитва, а крики негодующей толпы. Обнаженные мужчина и женщина на кровати прервали свое занятие и настороженно замерли, прислушиваясь; Уилла голоса взволновали гораздо больше, чем Энн. Бранные выкрики и проклятия сопровождались глухими звуками ударов и лаем собаки. Гамнет и Джудит беспокойно заворочались во сне; Уилл услышал, что и отец, и Гилберт в соседних комнатах тоже не спят. Желание заниматься любовью пропало. Уилл встал с кровати и подошел к окну. В свете луны было видно, как жители Стратфорда гонят перед собой по улице рыдающую старуху. Это была гадалка Мадж Бруэр, в доме которой всегда жило много кошек. *Семь смертных грехов. Черное. Золотое*. Что же означало ее пророчество?..

— Ведьма! Верни на землю дождь!

— Богомерзкая колдунья, твои кошки — сущие черти!

— Сорвите с нее одежду!

— Бей ее! Пусть сатана изыдет!

Какие-то юнцы принялись колотить ее палками; платье на Мадж было разорвано, и сквозь прорехи проглядывало грязное, по-старчески иссохшееся тело. Старуха плакала и задыхалась, пытаясь убежать от своих преследователей... Потом споткнулась и упала; они захохотали и принялись хлестать ее березовыми прутьями, заставляя подняться. Это было похоже на чудовищную пародию на Тарлтона и его актеров.

— Вставай, ведьма! Гоните ее из города! Энн укачала плачущих близнецов и тоже подошла к окну.

— Что там такое? Пусти, я тоже хочу посмотреть. — Она облокотилась на подоконник, опустив на него свои тяжелые груди, и, увидев, в чем дело, вздрогнула. — Боже мой, они же убьют ее!

Один из подростков принялся размахивать над Мадж горящим факелом, и она завизжала от ужаса. Лохмотья, в которые превратилось ее

платье, вспыхнули, Мадж стала сбивать пламя, сначала отчаянно крича, а затем замолчав, словно уже находясь на последнем издыхании.

— Иди сюда, — позвала Энн. — Скорее, к окну! — Не веря собственным ушам, Уилл с отвращением посмотрел на жену... — Ну иди же, иди сюда скорее!

— Он отпрянул от нее, отступив в темноту комнаты.

— Нет! — Внезапно Уилл понял, что настоящая ведьма была здесь, рядом с ним. Обезумевшая толпа с криками прошла дальше по улице.

— Это что, артисты колобродят? — спросил из-за двери отец.

— Да, да, артисты, — ответил Уилл. Голоса постепенно стихали.

— На ней все семь смертных грехов! Гоните ее в церковь, пусть замаливает!

— Как? Дьявола в церковь? Сжечь ее!

Чувствуя сильную дрожь во всем теле, Уилл торопливо схватил со стула свою одежду. Энн все еще стояла у окна и охала.

— Все, — с трудом сказала она. — ей конец.

Нетвердо ступая, Энн подошла к мужу. Ему стало не по себе от мысли о ее прикосновении, по спине побежали мурашки. Уилл поспешно натянул штаны, прыгая по комнате: в этот момент он очень напоминал шута Тарлтона, который после окончания своей дурацкой пьесы исполнял обещанную джигу.

Тем временем толпа на улице начала понемногу расходиться, распадаясь на семейные пары и компании по три человека. Кое-кто из соседей тоже вышел на шум из своих домов, многие были в ночных рубашках. Уилл видел, как олдермен Перке, коренастый здоровяк, поднял Мадж Боуэр с земли. Ее раскинутые руки безвольно свисали; голова безжизненно болталась на старушечьей шее, язык был высунут, а на губах виднелась кровь, которая казалась в лунном рвете совсем черной. Церковный сторож в одной исподней рубахе с суровым видом разгонял толпу. Уилл представил себе осиротевшую хижину старухи: летом вокруг ее дома буйно росла высокая крапива и бурьян, а теперь будет окончательное запустение. Хлипкая дверь слетит с ржавых петель и будет валяться на земле, а кошки после, того, как в доме переведутся все мыши и опустеет мучной ларь, разбегутся по полям и станут охотиться на мышей-землероек. Нет, он уйдет отсюда, обязательно уйдет... И если не сейчас, то уж в следующий раз обязательно.

Немного успокоившись и придя в себя, Уилл вернулся домой и увидел, что Энн уже спит. Итак» завтра! Завтра утром он возьмет те несколько сотен, стихотворных строчек «под Плавта» и представит их на суд актеров

ее величества. Конечно, актеры будут сонно зевать после ночного кутежа, будто вовсе не расположены выслушивать его довольно складные, хотя и не гениальные, стихи. Но Уилл больше не мог откладывать это событие, ведь ему было уже двадцать три года, он был отцом троих детей. Актеры могут отказать ему, могут даже посмеяться над ним, сказать что-нибудь вроде: «Ну что, деревенщина, в театр решил податься?» В этом случае он обязательно даст достойный ответ, потому что пришло время действовать, а не сидеть сложа руки, покорно ожидая милости от судьбы. Он сидел, глядя на опустевшую улицу, щедро посеребренную лунным светом, и в его голове зрела уверенность, что уже завтра или послезавтра он покинет этот город в составе труппы «слуг ее величества». От королевы к богине! Ради этого он был готов терпеть любые насмешки и издевательства, пройти через все унижения, проползти по темному туннелю стыда, ведущему в мрачную преисподнюю, где извиваются змеи, где покоятся души героев и над всем этим возвышается трон блистательной богини. А если это не что иное, как очередной поворот судьбы, тайно, исподволь направлявшей его, Уилла? Ведь наша жизнь — это пьеса, сюжет которой торопливо сочиняется по ходу действия, а ее финал неизвестен даже самому автору.

Энн широко раскинулась на кровати, спала она беспокойно. Уилл расстегнул на себе одежду и решил спать эту ночь в кресле у окна. Он закрыл глаза, размышляя о том, что ждет его в будущем, и незаметно, как Эндимион из мифа, заснул крепким сном.

Луна боится ласк и любит ложь, И тихо ждет, когда же ты заснешь.

А лунный свет и чист, и невесом,

Но искажает явь, как страшный сон... [\[25\]](#)

Но Уилл не боялся. Он уже ничего не боялся.

1592-1599

ГЛАВА 1

— Вон они пошли, — с кислым видом проговорил Хенсло, недовольно глядя на лежащую перед ним яблочную лепешку. Кемп все еще тяжело дышал после исполнения своего коронного танца; они с улыбкой глядел вслед шумной компании подмастерьев, выходящих из театра «Роза». Может быть, вернувшись домой, они расскажут своим друзьям и знакомым, что Кемп так здорово выделял коленца своей джиги и что предшествующая его выходу пьеса — «Как распознать мошенника» — была тоже ничего (хотя, конечно, джига Кемпа была куда лучше). Уильям мрачно покачал головой, глядя на спину Кемпа. Самодостаточный человек! Такой не будет учить текст, предпочитая нести на сцене отсебятину, а значит, рано или поздно ему придется уйти. А вообще-то, поспешил одернуть сам себя Уильям, это его совершенно не касается. Не его это дело. Его работа в театре была таким же ремеслом, как и работа перчаточка. Возможно, не таким скучным, но его суть от этого не менялась: Уильям, как и прежде, исполнял чужие поручения, и это развращало душу сильнее всего.

— Ребята передразнивают людей судьи, — проговорил Аллен. — Зря они так, конечно.

— Ничего не зря! — весело возразил ему Кемп. — Конечно, сорванцы дурачатся, но ведь они не нарушают закон.

— И из-за этих самых сорванцов нашу лавочку прикроют к чертовой матери,

— мрачно добавил Хенсло. Будучи человеком рассудительным, он знал, что одно событие может повлечь за собой другое; одним словом, Хенсло был деловым человеком.

Тем утром подручные судьи арестовали слугу шляпника и посадили его в Маршалси, лондонскую тюрьму для должников. А ведь тот бедняга, можно сказать, ничего не сделал: он только скорчил рожу и немного подразнил этих самодовольных индюков; наверно перебрал эля за завтраком. Подручные судьи налетели на него и стали бить, весело перекликаясь между собой — тычок сюда, пинок туда, — после чего поволокли к выходу. Незадачливого пьяницу обвинили в нарушении общественного порядка или чего-то в этом роде и объявили зачинщиком массового побоища, отправив в тюрьму Маршалси.

— Здесь театр, законное место для спектаклей, — проворчал Хенсло. — Так что будет лучше для всех, если они поскорее уберутся

отсюда. А то ишь чего вытворяют!

С улицы тем временем доносились выкрики, подражающие лающим командам пристава. «Смирно! Записать имя этого бродяги! Шагом марш!» Все это было довольно шумно: наверно, зрители успели насладиться не только пьесой «Как распознать мошенника» и джигой Кемпа, но и продававшимся в «Розе» элем. Но разве, думал Уильям, предназначение театра не в том, чтобы подавлять неукротимый дух бунтарства, которым одержима человеческая душа? Сейчас же театр только подливал масла в огонь. Кажется, похожая мысль была у Аристотеля... Хотя, конечно, этот балаган не имеет ничего общего с настоящим искусством. Обычный трактир, который отличается от прочих лишь тем, что в нем нельзя остаться на ночь. Пьеса «Как распознать мошенника» ставилась без Уильяма, так что он просто произносил несколько дурацких реплик отведенной ему роли (получалось неубедительно, он это понимал) и уходил со сцены. А как же пьеса «Гарри VI», когда аудитория была не в силах сдерживать свои чувства и громко проклинала французов?; Что ж, Франция была врагом, точно так же, как и Испания. А как же «Тит Андроник», от которого в жилах зрителей закипала кровь, глаза жадно следили за надруганием над трупом, а воображение рисовало сцену казни? В этом спектакле обреченный на смерть должен был быть изрублен на куски, а его внутренности брошены в огонь жертвенника. Прелестно, просто замечательно... Хотя это всего лишь мода (такая же, как и мода на перчатки). Так сказать, желание переплюнуть самого Кида^[26].

— Я пойду гляну, что там такое, — вызвался Уильям (какое благородство!). — Может быть, все обойдется. — Он обещал посылать домой деньги: работа есть работа.

— Ладно, — согласился Хеминг, — пойдем вместе. — Это был невысокого роста толстяк с внешностью бакалейщика, он с готовностью спустился во двор, присев на краешек авансцены и соскользнув с нее на землю. Уильям, который был моложе его на восемь лет, легко спрыгнул следом. В кошельке у него звякнули деньги. Хоть он был уже далеко не в мальчишеском возрасте и совсем недавно отметил свой двадцать восьмой день рождения, он все-таки сохранял стройность, ловкость и легкость на подъем. Они быстро прошли через двор и дошли до ворот. Страдающий от одышки Хеминг с трудом поспевал за Уильямом. Стоял жаркий июньский день, было одиннадцатое число знойного и засушливого месяца. Говорят, по такой погоде можно запросто подцепить чуму...

Потасовку перед Маршалси они заметили еще издали и остановились, опасаясь подходить слишком близко. Пытливый взгляд Уильяма мгновенно

охватил всю картину происходящего, подмечая мельчайшие детали — неспешное течение реки, лебедей, рассекающих водную гладь, равнодушное солнце... У подножия серых каменных стен тюрьмы стояла шумная толпа подмастерьев. Люди выкрикивали угрозы, воинственно потрясали кулаками и собирали булыжники и камешки помельче. Выпустите его! Свободу узнику! Мы желаем видеть заключенного! Уильям понимающе кивнул. Это был народ — простолюдины, плебеи. И пришли они сюда вовсе не для того, чтобы восстановить справедливость. Им хотелось просто пошуметь. Он ничуть не сомневался в этом. Да, конечно, подмастерья были еще слишком юны и неопытны, но по дороге к ним присоединились и бездельники постарше, которые уже начали швырять камни в сторону тюрьмы, хотя многие даже не знали, из-за чего, собственно, весь этот шум. Выпустите его немедленно! Долой тюрьмы! Подумаешь, ну изнасиловал, ограбил или убил кого-то — какая разница? Эй вы там, мы отстаивали свои права в борьбе с самим королем Джоном^[27]. Долой произвол! Выпустите его, и мы сами его вздернем, если есть за что. Глядя на эти грубые, перекошенные от гнева лица, Уильям снова покачал головой.

— Гляди, охранники, — охнул Хеминг, который обливался потом под лучами солнца.

Из тюрьмы действительно вышли люди, вооруженные палками и дубинками; один или двое из них выхватили из ножен кинжалы, и острые стальные клинки сверкнули языками серебряного огня. Шпаги охранников были убраны в ножны. Еще бы, с какой стати пачкать оружие об этот сброд? И вот уже послышались глухие удары и хруст костей...

— Лучше бы нам убраться отсюда подобра-поздорову, пока не поздно, — трусливо сказал Хеминг при виде крови.

Тем временем некоторые подмастерья попытались отступить: их деревенские физиономии окаменели от страха. В суতোлке несколько человек не удержались на ногах и теперь безуспешно отбивались от обрушивающихся на них со всех сторон пинков. Какой-то толстый мальчишка метался по площади, высоко держа руку, из которой фонтаном била алая кровь. Он отчаянно вопил: на этой руке у него уже не хватало пальца. Толпа ревела. Толпа наступала. Охранников же было всего несколько человек, и, даже несмотря на то что они уже вынули из ножен шпаги, силы были явно неравны. Вертлявые юнцы ловко уворачивались от ударов шпаг (Уильям был зачарован тем, как клинки блещут на солнце; при таком освещении сталь смотрелась наиболее выигрышно). Удары клинков парировались длинными палками. В один миг все перемешалось, и

охранники сошлись со своими противниками в рукопашном бою. В воздухе то и дело мелькали тощие ноги подмастерьев и ноги потолще, принадлежащие поверженным охранникам. Один из защитников тюрьмы лишился своей шпаги и был вытеснен на край толпы; какой-то бродяга с растрепанной бородой занес над его головой тяжелый булыжник и в следующий момент размозжил ему череп. Высоко в небе кружили коршуны. Через некоторое время раздался стук копыт: это люди мэра спешили на подмогу.

— Идем отсюда, — сказал Уильям.

Уж он-то знал, что эти всадники не пощадят никого, даже зевак. Хотя, с другой стороны, можно ли считать зевак полностью непричастными? Ведь в душе каждого из нас скрывается очень много обид, самого разного гнева. Возможно, из всех сегодняшних зрителей лишь он один был действительно сторонним наблюдателем — для него это была только сцена из постановки, зрелище в красно-серебристых тонах, и он безучастно смотрел, как кровь смешивается с потом, как на щеке у одного из зачинщиков появляется кровоточащий шрам в форме буквы Г, а с другого драчуна падают штаны, и на всеобщее обозрение предстает его зад, поросший золотистыми волосками.

— А вот и лорд-мэр собственной персоной.

Перед Маршалси появился облаченный в широкую мантию человек со свирепым лицом. Он был полон негодования и решимости. Взмыленные кони нетерпеливо трясли головами; один из них испуганно заржал, почуяв запах крови. Произошла короткая заминка, но потом подковы снова мерно зацокали по мостовой.

Когда они шли обратно, спеша поскорее укрыться за спасительной оградой «Розы», Уильям почувствовал едкий запах, разносимый сухим и горячим ветром,

— в воздухе пахло горелым папоротником. Значит, труппа «слуг лорда Стренджа» этим летом будет сидеть без работы, это уж как пить дать. Приближалось 24 июня, день святого Иоанна Крестителя, время гулянок и всеобщего помешательства. В этот день потасовки вроде той, что устроили пьяные подмастерья у Маршалси, — обычное дело. Тайный совет наверняка закроет театры, возможно до осени, до самого Михайлова дня. Уильям передернул плечами. Нет, что ни говори, а работа перчаточника была гораздо более надежной. Если не из-за беспорядков, то из-за боязни эпидемии чумы театры все равно закроют. Если погода не переменится и дождевые воды не унесут грязь из сточных ям и загаженных проходов между домами, то людей начнет косить чума. Все так шатко, обманчиво...

Но видимо, такова уж человеческая жизнь. Он пробыл здесь со «слугами ее величества» — до тех пор, пока не умер Тарлтон, великолепный танцор джиги. И не исключено, что уже в самом скором будущем Уильям поссорится с Алленом или нагрубит Хенсло, который помешался на своей дурацкой амбарной книге. А может быть, он выскажет все, что накопело на душе, Кемпу, который, видите ли, считает ниже своего достоинства учить какие-то там роли, потому что ему нравится импровизировать, и до сих пор никто на него за это не жаловался, кроме самих поэтов. А кого интересует их мнение? Да, очень скоро Уильям покинет эту компанию...

Хенсло считал деньги, когда Уильям и Хеминг в конце концов разыскали его в душной темной комнатке на задворках «Розы». Перед ним лежала старая книга, тонкие пергаментные листы которой были покрыты бурыми пятнами. Когда-то эта книга принадлежала его брату; рачительный Хенсло перевернул ее и принялся вести заново, сделав последнюю страницу первой. Взглянув на вошедших, он снова стал изучать записи. Уильям смог прочитать: «Иисус, 1592». Надо же, такая большая набожность у этого скряги и хозяина балагана... Он рассказал Хенсло, что им с Хемингом довелось увидеть.

— Что ж, — ответил Хенсло, — все ясно. «Розу» закроют на лето, и что мне тогда прикажете делать?

— А что будем делать мы? — задал встречный вопрос Хеминг.

— Вы можете уехать из города и играть свои пьески по деревням. А я должен торчать здесь и дожидаться осени, а вместе с ней наступления лучших времен. Вы только поглядите, какие траты у меня были в этом году! Чего стоит один ремонт в «Розе», новая крыша и покраска сцены... — Он пожевал губами. — Целых сто фунтов, это вам не шуточки!

— А ты переверни несколько страниц, — посоветовал Уильям. — До того раздела, что начинается священными словами «Во имя Бога». — Хенсло бросил на него пронзительный взгляд. — Толбот неплохо на тебя поработал, — заметил Уильям.

— Толбот? Ах да... Толбот. «Гарри Шестой», — со вздохом согласился Хенсло. — С нашим Недом никто не сравнится. И с его Росцием тоже. Да... и все это благодаря Толботу.

— Заслуга моего Толбота была ничуть не меньше, чем Неда Аллена, который его играл.

— Что ж, там видно будет, — ответил Хенсло, оценивающе разглядывая Уильяма (высокий лоб? шансы на успех? силу писательского таланта?). — Там будет видно, как Бог даст.

Вот так невесело шли дела в увеселительных заведениях летом, когда

городские улицы пустели. Как истинный деловой человек, Хенсло видел то, что было скрыто от глаз посторонних: доход, расход, прибыль, убыток и олицетворение всего этого в фунтах, шиллингах и пенсах.

— Грин совсем плох, — сказал Хеминг.

— И это еще мягко сказано, — отозвался Хенсло. — В любом случае он долго не протянет.

Это замечание о Роберте Грине никак не шло у Уильяма из головы, и, уезжая из Лондона, молодой человек думал только о нем. По-прежнему нещадно палило солнце, и труппа вместе со своими постановками отправилась в северные предместья; пройдет совсем немного времени, и распоряжение Тайного совета дойдет и дотуда. Актеры ехали верхом, а позади них громыхла повозка, нагруженная реквизитом и всякой всячиной. Лондонские театры были закрыты до осени, все публичные сборища запрещены (Хенсло как в воду глядел), по загаженным нечистотами городским улицам шныряли крысы, и чума заявляла о себе мягкими розоватыми бубонами на коже людей. Актеры уезжали от эпидемии на север, в захолустные городишки, чтобы давать там представления перед глуповатой публикой, ведь нужно было зарабатывать деньги. Грин же, опустившийся магистр искусств, у которого отказывали почки, был вынужден остаться в Лондоне и там зарабатывать себе на жизнь. Уильям представил себе, как он поздно просыпается и, чертыхаясь с похмелья, встает с постели, на простынях которой заметны пятна мочи — следы ночного недержания. Верный Бол Нож, бывший вор и убийца, с готовностью подносит Грину стаканчик вчерашнего кислого рейнского вина, если, конечно? на дне бутылки хоть что-то осталось. Поправив этим вином здоровье, Грин идет к столу, и вот уже перо порхает по бумаге, выводя первые строчки какого-нибудь нового дурацкого памфлета, который по завершении нескольких страниц доставляется к издателю и представляется ему как начало гениального произведения. На обратном пути от издателя Бол-гонiec спешит перевести щедрый аванс в вино. В загаженном углу сидит ветреная любовница Грина, сестра Бола, и нянчит его орущего ребенка, этого мерзкого Фортуната. Жалкая, ничтожная жизнь! Все же Уильям удивлялся тому чувству, которое он испытывал при виде этого опустившегося поэта и неудавшегося ученого: это было нечто сродни зависти. Разгульная жизнь и болезнь, конечно, наложили свой отпечаток на внешность Грина, и тем не менее он до сих пор был чертовски привлекателен. Уильям не мог понять, что именно в Грине вызывало зависть. Может, то, что он был лишен всех пуританских предрассудков и жил так, как ему вздумается, в свое удовольствие, и удача при этом сама

шла ему в руки? Или то, что до своего падения Грин занимал высокое положение в обществе — был магистром искусств и джентльменом? А может, то, что Грин не состоялся как драматург из-за того, что был слишком одаренным поэтом? Его пьесы были перенасыщены стихами, поэзия пронизывала собой все действие и стирала различия между персонажами: все они говорили исключительно стихами. Уильям пришел в неописуемый восторг от провалившейся постановки «Монаха Бэкона и монаха Банги»: это была настоящая поэзия. Глупая Маргарет из Фрессинфилда, обыкновенная пастушка, говорящая великолепными стихами о Париже, — не есть ли это красота куда более возвышенная, чем та, что отражается в правдивом зеркале жизни? Конечно, Грин не мог тягаться с Марло, но он был гораздо ближе к Марло, чем Уильям. И Уильям не надеялся достичь таких высот мастерства.

...1588-й. Он вспомнил этот год. Подмастерье, впервые вышедший на сцену в составе труппы «слуг ее величества», какая-то дурацкая пьеса, составленная из отрывков разных произведений, а затем смерть Тарлтона, смятение среди актеров и переход Уильяма вслед за Кемпом в труппу «слуг лорда Стренджа». Сокрушительное поражение Непобедимой армады испанского короля Филиппа II, радостная весть о победе английского флота на море, когда все подданные британской короны в едином порыве ощутили себя слугами ее величества. И над всем этим возвышался «Фауст» Марло — обыкновенная пьеса, поражающая своей правдивостью. Не той мелочной правдой жизни, вроде горячих боков коня, стекающих с носа капель пота или заунывной песни Кемпа, а одной великой истиной, скрывающейся за разрисованным занавесом будничности. Роберт Грин познал крах и в самом ближайшем будущем познает смерть в нищете; Марло же стал проповедником истинного ада, если этот ад был тем, что сокрыто от человеческих глаз за тем занавесом. И если «Тамерлан» был только хвастливым заявлением о себе, криком в пустоте, то в «Фаусте» уже звучал уверенный голос поэта, призывающий проклятие и говорящий о нем как о чем-то желанном. «Осада осуждения...» Нет, не так. Марло был чужд дурацких каламбуров. Уильяма бросило в дрожь. Однажды ему довелось побывать на собрании кружка «Школа ночи»^[28]. Марло тогда тоже был там. Сэр Уолтер был сильно пьян, но говорил вполне разумные вещи (разве не может математика быть таким же способом обращения к Богу, как молитва? Тем более, что под конец этого вечера мы и так все будем ползать на коленях). Марло произнес гневную речь против Христа, назвав его самозванным спасителем и высмеяв теорию существования души. Он бросил вызов самому Богу и призвал Его покинуть небеса. Что ж, оба они,

и Грин и Марло, обращались к какой-то темной богине и ожидали от нее ответа; Им были чужды сомнения. Они уверенно шли вперед, стремясь объять все — или ничего. Вот оно, истинное благородство души, которого не могли исказить ни нищета Грина, ни пристальный взгляд налитых кровью глаз Кита Марло.

А ему, Уильяму Шекспиру, что нужно от этой жизни? Стать джентльменом — вот его заветная мечта. Сын ремесленника, он должен постичь все премудрости мастерства и с триумфом вернуться домой, как и подобает истинному джентльмену. Но прежде нужно было скопить денег, и ради скудного заработка он теперь ехал верхом по пыльной дороге, изнемогая от жары.

Вымирающий Лондон остался позади. Уставший от жары, утопающий в нечистотах город превратился в пекло. По губам спящих детей ползали мухи, крысы принюхивались к лежащим на грудах вшивого и вонючего тряпья; колокола звонили целый день, оповещая о зараженных чумой; холодный эль казался теплым, как посеет; мясник обеими руками сгонял мух, облепивших мясные туши; кучи нечистот гнили на жаре, источая невыносимый смрад; юродивые в лохмотьях грабили дома, где беспомощные хозяева лежали при смерти... Город словно превратился в одну большую голову, в одно осунувшееся, с запавшими глазами лицо, изрыгающее на мостовую потоки зловонной рвоты и шепчущее в беспамятстве: Господи, Господи, Господи...

С приходом осени, когда наступила долгожданная прохлада и отступила чума, Уильям вернулся в Лондон, чтобы написать там пьесу о войне Алой и Белой розы. Пьесу нужно было закончить упоминанием о красно-белой розе Тюдоров^[29]. В театре же могли запросто обойтись и без Уильяма, тем более что актеры решили возвращаться из Нортгемптона через Бедфорд, Хартфорд и Сент-Олбанс. По всему выходило, что в «Розу» труппа вернется не раньше декабря: выступления в провинции проходили удачно и сборы были, как никогда, высоки. Однако Аллен сказал, что возвратится в Лондон в октябре; заговорщицки подмигнув, он напомнил всем, что женится на Джоан Вудвард, падчерице Хенсло. Что ж, подумал Уильям, вот тебе один из способов стать джентльменом — жениться на родственнице состоятельного скряги. Но этот способ ему совсем не подходил, ведь он уже давным-давно был женат.

На лондонском мосту он встретил Хенсло с бухгалтерской книгой под мышкой.

— Грин умер, — торжественно сказал Хенсло с видом мажордома, объявляющего, что обед подан. — Я пришел слишком поздно и помочь уже

ничем не смог, упокой Господи его душу. Миссис Айсем, его квартирная хозяйка, увенчала его, как он и завещал, лавровым венком. Он лежал в ее доме, и на нем была рубашка ее мужа. Говорят, что вши почувствовали приближение смерти и заранее начали расползаться с его тела. Вот тебе наглядный пример и назидание. Райт и Берби вцепились мертвой-хваткой в рукописи Грина, будут издавать. И Четл туда же.

— Четла я знаю. Первостатейный подхалим.

— Так вот, этот самый Четл собирается издать книгу, куда войдет сразу несколько произведений Грина. При этом он настроен против актеров. Я обшарил всю комнату Грина, но так и не нашел ни одной пьески.

— Ты что, ходил к нему домой?

— Ну да, я же тебе о том и говорю. Но помочь ему уже ничем не смог... Отдал четыре шиллинга на саван и еще шесть шиллингов и четыре пенса на похороны. Его похоронили на кладбище при «Бедламе»^[30]. Бедная пропащая душа, наверно, уже томится в аду. Это точно, как точно то, что перед смертью миссис Айсем поднесла ему мальвазии на пенни. Говорят, его жена приехала и привезла деньги, хотя он давно ее бросил ради той шлюхи, что потом родила ему ублюдка... Не дай нам Бег такой кончины!

— Аминь.

Роберт Грин напомнил Уильяму о себе даже из могилы: он грубо сунул тому в руки зеркало, предлагая полюбоваться на самого себя. Погожим осенним днем, когда сентябрь уже позолотил листву на деревьях, над рекой за клубился легкий туман, а в церкви Святого Олафа печально зазвонили по покойнику, Уильям стал читать памфлет Грина, напечатанный лишь после его смерти — «На грош ума, купленного за миллион раскаяний». Грин проклинал там безбожника и богоборца Марло. В самом конце жизни великий Грин предал свою темную богиню и принялся истово бить себя кулаками в грудь и каяться, боясь адского пламени. Но даже за этими мольбами и упованием на милосердие Божие один грех все-таки продолжал преследовать его, и имя этому греху было зависть. Грин завидовал актерам: еще бы, ведь они жирели и богатели на его пьесах (что на самом деле было далеко не так; Уильям знал это по собственному опыту), а летом вообще бросили его одного, без гроша в кармане, обреченного на верную смерть в горящем и чумном Лондоне. Один актер был выделен в тексте особо, и неподдельный ужас охватил Уильяма, когда он прочел эти строки: »... Выходка-ворона, украшенная нашим опереньем... С сердцем тигра в шкуре лицедея... (Значит, Грину все-таки запомнилась эта строка из «Гарри Шестого».) ...думает, что способен писать белым стихом, как лучшие из нас... чистейший Johannes Factotum... «мастер на все руки»... в своих

фантазиях мнит себя единственным потрясателем сцены {Игра английских слов: Shakespeare

— потрясающий копьем, Shake-scene — потрясатель сцены.} в стране...»

Уильям в сердцах швырнул лживую книжонку на кровать. Он посмотрел в окно, но не увидел уже ни седого тумана, ни сказочных башен, ни сонной реки. Поэт умер с проклятием на устах! Выскочка, потрясатель сцены в шкуре тигра... Но чем же он, Уильям, мог его обидеть? Тем, что выполнял свою новую работу с тем же прилежанием, с которым некогда шил перчатки? Мастер на все руки, мальчик на побегушках. Ведь он не делал ничего особенного, а лишь старался подбирать слова так, чтобы они соответствовали выбранной теме, чтобы строчки сидели как влитые, подобно хорошим перчаткам. А получилось, что из-за этого Грин умер обиженным на весь свет.

Позже гнев Уильяма утих, и он даже начал гордиться этими словами Грина. Его имя, пусть даже исковерканное и осмеянное, было напечатано в книге, которую прочитает весь Лондон. Его заметили; умирающий поэт выделил его из массы сочинителей, чтобы сорвать на нем свою злость, отомстив таким образом за боль своих гнилых почек и за уязвленное самолюбие. Но (Уильям снова взял в руки книгу, чтобы перечитать запавший в душу отрывок) в тексте были и очень обидные слова. Выскочка-ворона, украшенная нашим опереньем... Перчаточник из Стратфорда, необразованный простолюдин, вообразивший себя магистром искусств. «Пусть эти мартышки подражают твоему былому величию...» О ком Грин это говорит? О Нэше или, может быть, о Лодже — неудавшихся драматургах, не умеющих читать по-гречески? Мартышки, ворона, тигр... Уильям холодно улыбнулся. Любопытные сравнения! Что же, на Грина он зла не держал, но вот ни издателя Райта, ни этого холуя Четла, чьими стараниями была сострепана эта жалкая книжонка, прощать не собирался.

Он уныло посмотрел на рукопись пьесы, над которой сейчас работал. Хромой Ричард и неприступная Анна (хладнокровная, но с горячим сердцем), расположения которой тот добивается. Во всем угадывался Макиавел из «Мальтийского еврея» Марло; это не его стихи. Но какая разница? Уильям знал наперед, что сойдет и так, пьеса пройдет на ура. Так что долой проклятый Глостер, и храни Боже династию Тюдоров! Но все равно он еще докажет покойному Грину (который словно издевался над ним из своей могилы), что он, Уильям Шекспир, вовсе не мартышка, не ворона и не тигр. Что он тоже кое-что из себя представляет и что очень заблуждаются те, кто видит в нем лишь низкопробного писателя,

кропающего халтурные пьески на потребу толпе, и бесталанного, запинаящегося актеришку. Настало время показать всем, что он поэт — настоящий поэт.

Незадолго до Рождества в Лондон возвратились «слуги лорда Стренджа». Выпивка, тосты, сентиментальные хмельные объятия... Ей-богу, нам так не хватало тебя, Нед. Что же до Аллена, то он лишь самодовольно ухмылялся и обнимал свою молодую жену. Да, мы откроемся еще до Нового года. Будем давать «Мули Мулокко» — подходящая пьеса для открытия сезона. А потом «Иеронимо», «Купца» и «Тита». Что? «Монаха Бэкона»? Бедняга Робин Грин... Тоже сыграем. Так сказать, в память о безвременно ушедшем. Кстати, новая пьеса Кита Марло обещает большой успех. «Резня в Париже» называется. А то этот Макиавел уже у всех в печенках сидит. Кто такой Макиавел? Это дьявол по-итальянски, его также звали Никколо или Старина Ник. А вот наш Потрясатель Сцены что-то приуныл, даже не пьет совсем. Ну, Джонни Кастратум, как дела? Ха-ха-ха... Что это у тебя за книжка? Чего ты там вычитал? Нед, отбери ее у него. И вообще, прочитай нам из нее что-нибудь веселенькое. Что, его святейшество изволит гневаться? Он что, отвык от нашего доброго протестантского эля, этого нашего главного пастыря? Давай, Недди, читай. Итак, это книжка Уилла, и она называется «Мечта доброго сердца». О, это мы знаем: давнишняя история сомнительного содержания. Вот, я как Четл, который обращается со своим предисловием к почтенным читателям. Нет уж, Уилл, ты сначала меня догони, а потом получишь свою книгу обратно. Давай, давай, вокруг стола. Ля-ля-ля! Парни, держите его, это должны слышать все. Кхе-кхе... Кстати, лично я видел с его стороны (как бы это сказать?) коленца и похлеще тех, что он выкидывает сейчас. Нет, все-таки давайте почитаем стишки. Ну-ка, поднимите меня на этот стол... Так, а вот тут исправлено. Уилл говорит, что он не безбожник, и очень переживает из-за того, что позволил покойному Робину Грину выкрикнуть это обвинение со смертного одра. Нет, он же никогда не утверждал, что Уилл безбожен; безбожник у нас один — это Кит, он им был и, прости Господи, остается. Говорят, что он даже Рождество празднует по-своему, и в яслях на сене у него лежит собака. Нет, Уилл у нас ворона с сердцем тигра и напыщенный писака. Вы только гляньте на него! Совсем трезвый, сидит себе молча, как будто в штаны наложил. Поцелуй его, Джоан, сядь к нему на колени, приласкай его; пусть Рождество будет веселым для всех.

Этот январь выдался суровым. Дыхание зрителей на морозе превращалось в пар, они притопывали и приплясывали на месте, пытаясь согреться, хлопали себя по бокам, дышали на окоченевшие пальцы.

Несмотря на холод, зрители продолжали приходить на спектакли в «Розу». Аллен, который играл Гиза в пьесе «Резня в Париже», был вынужден выкрикивать слова своей роли, чтобы их было слышно за кашлем толпы:

И погрузился герцог Гиз в раздумья:

То пламя только кровью погасить

Возможно — или спрятать за границу^[31].

Зрителям очень нравились такие представления — нападки на церковь, шепот ада, пытки, предательства, отравления, разрывающиеся пузыри с бычьей кровью... И вот однажды, в конце января, когда в «Розе» в очередной раз давали «Гарри Шестого», в театр пришла компания людей в полумасках. Незнакомцы то и дело подносили к носу футлярчики с ароматическими шариками (несмотря на холода, чума снова вернулась в город). Полумаски расположились в самой дорогой ложе для благородных господ, приказав принести огня и вина. Хенсло выскочил из ложи как ошпаренный, бросившись выполнять приказание. Что это были за люди? Двое благородных господ в сопровождении человека в черном и пары пажей. Ливрей на них не было. Зачем они пришли в театр? Уж наверное не для того, чтобы развлечься в компании лодочников и прочих простолюдинов...

Пьеса прошла не совсем гладко. Актеры заметно нервничали, их отвлекал кашель толпы, смех и обрывки разговоров, доносившиеся из-за опущенных портьер господской ложи. Исполняя под занавес свою коронную джигу, Кемп споткнулся и упал. Толпа зашумела, и он решил преподнести эту оплошность как нарочно сделанный шутовской трюк. Когда спектакль закончился и со сцены была прочитана молитва, призывающая Бога хранить королеву, в артистическую уборную к Уильяму прибежал дрожащий от страха и волнения Хенсло.

— За тобой посылают, — выпалил он. — Они требуют к себе мастера Потрясателя Сцены.

— Кто требует? Может, им просто захотелось пошутить...

— Захотелось им пошутить или нет — этого я не знаю, но только за тобой послали.

Уильям пожал плечами, отложил пирог с мясом (у него немного побаливал коренной зуб), стряхнул крошки с камзола и пошел выяснять, в чем дело. Партер уже опустел: холодная погода не располагала к праздному шатанию. Из господской ложи слышался звон бокалов и смех: значит, необычные гости были не прочь посидеть в тепле за стаканом доброго вина. Уильям постучал в дверь, и оживленные голоса стали наперебой приглашать его войти. В маленькой, жарко натопленной ложе уютно

расположились двое молодых людей в теплых камзолах. Их великолепные одежды были украшены пышными рюшами, расшиты серебром и драгоценными камнями. В ложе было до того жарко, что у всех гостей даже лбы блестели от пота. Теперь незнакомцы были без полумасок, и Уильям узнал старшего из них.

— Милорд...

— Нет, к черту формальности! Сегодня мы обойдемся без них. Я мастер РД, а это мастер ГР. Или, если принять во внимание, что семья должна стоять на первом месте, о чем ему все говорят, то мастер РГ. — И Роберт Девере, лорд Эссекс, непринужденно улыбнулся. — Стакан вина для мастера Потрясателя Сцены! Мастер же ГР (или РГ) добавил:

— Добро пожаловать в нашу компанию.

Он был молод, не старше двух коротко стриженных пажей, которые, не обращая внимания на господ, забавлялись тем; что старались наступить друг другу на носки башмаков и при этом глупо хихикали. Сколько же ему лет? Восемнадцать? Девятнадцать? У благородного юноши были чувственные, высокомерно поджатые губы, очень белая кожа, золотистые локоны и редкая светлая борода. В его взгляде было нечто такое, что сразу не понравилось Уильяму — лукавство и нежелание глядеть открыто. Но мальчик был бесспорно красив.

— Если позволите, милорды, — сказал Уильям, — то я не стану пить сейчас. У меня слабый желудок, от алкоголя меня тошнит.

— Зато тебя не тошнит от крови и всяких прочих ужасов, — заметил Эссекс.

— Нас заинтересовала не эта пьеса, а та, другая, после которой нам стало любопытно взглянуть, что за человек этот мастер Потрясатель Сцены. — И снова Уильям не смог поймать бегавшего взгляда Генри Ризли, графа Саутгемптона; этот взгляд быстро перескакивал с предмета на предмет, и со стороны могло показаться, что юноша следит за полетом мухи. — Та пьеса, где все происходит как в страшном сне. Там еще был мавр Макиавел, а мальчиков бросили в огонь и изжарили, как пирог.

— «Тит Андроник», — подсказал Уильям. — Иногда, милорд, бывает очень полезно знать точное имя или название, будь то пьеса или человек. Возможно, я и потрясаю сцену, но все же мои предки потрясали копьями.

— Ага, — заметил Эссекс, — вот ты, значит, какой воинственный. А поглядеть со стороны — вроде бы незлобивый и даже, можно сказать, образованный человек.

— Я имею в виду лишь мое имя, милорд.

Все это время похожий на итальянца человек в черном стоял позади

Саутгемптона и холодно наблюдал за Уильямом, разглядывая его в упор. У него был взгляд как у палача.

— В жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает оправдывать свое имя, — проговорил он, и в его голосе послышался еле уловимый иностранный акцент.

— Потрясатель сцены, Потрясающий мощной или же Потрясающий оглоблей — никакой разницы нет, — отмахнулся Саутгемптон. — У сегодняшнего дня нет имени. К тому же сегодня и без того холодно и мерзко. — Он недовольно поглядел на догорающий огонь.

Смуглый человек, похожий на итальянца, продолжал:

— Вполне возможно, что имя Шекспир происходит от французского имени Жак-Пьер. Возможно, его далекие предки были французами. — Он вел себя так, как будто Уильям был редкой бабочкой, которую можно разглядывать, изучать, прикалывать булавкой к листу бумаги, но которая явно не заслуживает того, чтобы обращаться к ней напрямую.

— Это наш Флорио, он просто помешан на всем французском, — снисходительно пояснил Саутгемптон. — Он перевел на английский всего Монтеня. Дай ему пенни, и он в любое время выдаст тебе порцию мрачной французской мудрости. А что, разве не так? Ну-ка, скажи нам что-нибудь сейчас, а пенни получишь потом, когда моя матушка соизволит залезть в свою кубышку и подкинуть мне еще денег.

— *La vie est un songe*, — не задумываясь ответил Флорио. — *Nous veillons dormant et veillants dormons*. — Произнося это, он глядел в глаза Уильяму, но взгляд его был потухшим, словно из него навсегда ушла жизнь.

— Ну так что, Жак-Пьер, может, переведешь для нас, что он сказал? — предложил захмелевший Эссекс, насмешливо глядя на Уильяма.

— О милорд, французское имя Девере куда более древнее, чем мое. К тому же, полагаю, ваша светлость, вы совсем недавно вернулись из Франции и вряд ли нуждаетесь в моих переводах.

Саутгемптон засмеялся, это был смех девчонки.

— Жизнь — это сон, — равнодушно сказал Флорио. — Мы просыпаемся спящими и...

— Ладно, ладно, и без тебя знаем, — грубо оборвал его Саутгемптон. — Мы уже устали от твоего Монтеня.

— Так же, как он устал от мира. Что ж, теперь он наконец покинул его.

— Кстати, возвращаясь к твоей пьесе про Тита, — продолжил Эссекс, не обращая внимания на эпитафию Флорио. — Думаю, что в ней кое-чего не хватает. Например, педерастов и сцен совокупления с трупами. Но все остальное есть. Я видел, как играют Сенеку итальянцы, но ты пошел еще

дальше. Что же до французского, Гарнье и всего остального... это не имеет значения. Мы уже увидели, что ты из себя представляешь. Обыкновенный клерк, лысеющий и довольно дерзкий. Что правда, то правда, в дерзости тебе не откажешь. Я дам тебе пенни, заслужил. — И затем, обращаясь к Саутгемптону, он со смехом сказал: — Ну, я выиграл наше пари, так что теперь мы можем его отпустить, пусть возвращается в свою берлогу. Теперь ты убедился, что эти актеры-стихоплеты не представляют собой особую разновидность животных. — Для Уильяма, он пояснил: — Его светлость полагали, что сочинитель непременно должен быть огромным горластым головорезом вроде этого безбожника... ну этого, как его... Мерлин... Марлин... Короче, не важно. Теперь он понял, что ты совсем не такой.

Уильям нахмурился.

— Милорд, а где вы видели эту пьесу? Насколько мне известно, ее не играли при дворе...

— Тс-с, — зашипел Эссекс, — об этом не стоит говорить вслух. Повсюду ходят шпионы, а у стен есть уши. Никогда не знаешь, кто в следующий момент попадется тебе навстречу. Или окажется в толпе зрителей. И кто из них, — сказал он, многозначительно взглянув на Саутгемптона, — является женой самого завидного красавчика.

Саутгемптон густо покраснел. Эссекс снова негромко засмеялся, и этот смех заставил Уильяма вздрогнуть; по спине у него побежали мурашки.

— Нам пора возвращаться в Холборн, — напомнил Саутгемптон, Эссекс зевнул и сладко потянулся.

— Вообще-то сначала мне не мешало бы отлить. — Он встал и едва не упал: он был сильно пьян. — Я бы, конечно, мог залить этот огонь, но терпеть не могу, когда шипят угли. — И, зевая, он вышел из ложи.

Уильям нервно сглотнул. Внезапно ему на ум пришла одна совершенно бредовая идея, и он робко взглянул на молодого джентльмена, со скучающим видом развалившегося на стуле. А затем набрался смелости и сказал: —

— Милорд, могу я попросить вас об одном одолжении?

— О Боже мой, неужели на всем белом свете нет такого человека, которому от меня ничего не было бы нужно? Ну все, просто все хотят меня использовать. И не только мужчины, но и женщины тоже.

— То, о чем я хочу вас просить, не будет стоить вашей светлости ровным счетом ничего. Это даже может принести славу и почести вашей светлости. Не соблаговолите ли вы принять посвященную вам поэму?

— Ну вот, опять стихи... Всегда так. И что, хорошая поэма?

— Она еще не закончена, но это будут замечательные стихи. История о Венере и Адонисе.

— Старье. Неужели нельзя написать о чем-нибудь новеньком? Ну как, Флорио, — спросил Саутгемптон, — согласимся, или же пусть он встает в конец длинной очереди просителей?

— Ничего плохого в этом нет, — пожал плечами Флорио. — Если, конечно, это приличная поэма, а не похабные вирши.

— Вот против похабства-то я ничего и не имею. Но я терпеть не могу скуки!

Уильям с горечью глядел на этого Адониса — такого апатичного, пресыщенного всем, что мог дать ему его мир. Он представил себе, как набрасывается на этого мальчишку, срывает с него шелка и драгоценности и начинает пороть, пороть до тех пор, пока тот не закричит и не запросит пощады. Ну держись, щенок, я тебя еще исполосую вдоль и поперек...

— Скука поражает лишь праздные умы, — неожиданно громко сказал Уильям. (Саутгемптон удивленно посмотрел на него.) И затем, уже тише, добавил: — Прошу извинить мне эту дерзость, ваша светлость.

— Да-да, проси. А то я и обидеться могу. — Саутгемптон отвел свой лисий взгляд. — Кажется, если не ошибаюсь, в той книжонке говорилось о сердце лицедея в тигровой шкуре. Ладно» мастер Потрясатель Сцены, мы соблаговолим принять вашу поэму. — Он щелкнул пальцами, подзывая к себе хихикающих пажей.

— Но прежде, чем мы отсюда уедем, вы все-таки выпьете стаканчик вина.

ГЛАВА 2

«И вы, Уилл, выпьете стаканчик вина... И ты, Уилл...»

Февраль выдался непривычно сухим для зимы. Уильям слонялся по лондонским улицам, время от времени стряхивая с себя это сладостное оцепенение и возвращаясь к реальности, чтобы написать очередную строфу. Он представлял себе, как эти чувственные, желанные губы произносят его имя — они медленно раздвигаются, за ними виден лениво ворочающийся красный язык. Что же до поэмы, то работа над ней была Уильяму в радость и совсем не обременяла. «Роза», как и другие театры, расположенные к северу от реки, закрылась с наступлением Сретенья. Это был день рождения Гамнета и Джудит; по такому случаю любящий и заботливый отец заранее отослал домой, в Стратфорд, письмо, приложив к нему деньги; у него в кубышке скопилось достаточно денег, чтобы можно было безболезненно переждать несколько месяцев вынужденного простоя, а не гастролировать вместе с остальными актерами по захолустным городишкам и деревням. Такие гастроли очень утомляли: частые переезды, постель из сена, блохи, переваренная телятина, прокисшее пиво... К тому же труппа тоже пока выжидала: бездельничали, зевали, ругались из-за пустяков, лениво что-то репетировали, надеясь, что чума вот-вот пойдет на убыль и Тайный совет отменит свой жесткий, но необходимый приказ. И только Уилл Кемп дурачился по-прежнему. Ну да какой спрос с такого дурака?

— Эй, Нед, что это у тебя под мышкой? Боже ты мой, выпирает на целых три фута. Так это же огромный бубон. — И затем он начинал подпрыгивать, глупо распевая: — Бубон, бубон, бубо-о-о-он.

Хенсло ходил мрачнее тучи, и на то у него были веские причины. Двери одного из театров уже закрылись навсегда, и на них был намалеван огромный крест. Этот знак был суеверием прежних времен. Ох-ох-ох, видите, и нас беда не обошла стороной. Дженни заразилась и так убивалась, когда ее закрывали. Ох-ох-ох, это нам в наказание за плотские грехи.

— Сейчас не время дурачиться, — строго сказал Хенсло. — Каждую неделю от чумы умирает больше тридцати человек. Так что вам лучше не терять времени даром и отправиться в дорогу, а меня оставить наедине с моими делами.

— Мы подождем еще немного.

— Что же, жди, если хочешь, но только потом не приходи ко мне занимать денег. Видит Бог, давать мне вам в долг нечего.

— О Уилл, наш Потрясатель, сжался над убогим, подай всего одну крохотную серебряную монетку. У меня во рту пересохло, страсть как хочется хлебнуть чего-нибудь холодненького. А я уж для тебя так расстараюсь... Выполню все, что только пожелаешь.

Уильям лишь угрюмо покачал головой. Перо замедлило свой бег по бумаге. Строфа никак не выходила.

— Я сам никогда не беру денег в долг, а значит, не обязан и одалживать. Разве только, — поддразнил он приятеля, — под проценты. Скажем, по кроне с фунта и фунт твоей шкуры в залог.

— Да ты просто жмот вонючий.

— Не-а, я чистый жмот, — улыбнулся Уильям. — Я совсем недавно мылся.

— Интересно знать, в чью в постель он лазает?

Но ни к кому в постель он не лазал. Совсем ни к кому. Женщины его больше не интересовали: это отвлекало от работы, а он должен был двигаться вперед, к своей цели. И теперь Уильям трудился над своей поэмой:

Стоит зайчонок бедный у пригорка
На задних лапках, обратившись в слух,
Он за врагами наблюдает зорко,
К залиvistому лаю он не глух.

В тоске больного он напоминает,

Что звону похоронному внимает^[32].

Это воскрешало в его душе воспоминания о юности, о жизни в Стратфорде. Но сейчас сочинительство уже не было детской игрой со словами, которые нужно было нанизать, подобно красивым камешкам, на нить старого мифа, в подражание возвышенному и тяжеловесному стиху «Метаморфоз Сциллы» Лоджа. В то же время Уильям не нисходил и до веселой пошлости Марло в его незаконченной поэме «Геро и Леандр». Придуманный им образ был собирательным, соединившим черты деревенского поэта, который попал в сети любвеобильной женщины старше себя, и изнеженного английского графа, которого хотели во что бы то ни стало женить (женись; твой долг — произвести на свет наследников; к тому же леди Элизабет такая замечательная девушка, она влюблена в тебя без памяти). В какой-то момент Уильям безучастно подумал о том, что если у него и возникнет любовь, то из этого непременно нужно будет извлечь выгоду. Хватит, он и так уже достаточно настрадался.

Последние строки поэмы были написаны в начале апреля. Эта затея казалась Уильяму уже совершенно безнадежной, и тем не менее он испытал

огромное облегчение, закончив рукопись. Он перечитал свое творение от начала до конца и почувствовал презрение к самому себе: стихи показались глупыми и бесталанными, и он с трудом удержался от того, чтобы не изорвать рукопись в клочки и не развеять их по реке (наверняка к нему тогда сплылись бы лебеди, решив, что он хочет их покормить). Но потом Уильям успокоился и подумал: «Может быть, это и не гениально, но уж во всяком случае ничуть не хуже, чем пишут другие. Я не могу потратить всю свою жизнь на то, чтобы потакать пристрастиям одного ценителя прекрасного и капризам другого. Если я до сих пор не разбогател, то нужно понять, почему у меня ничего не получается; или же смириться и продолжать влачить нищенское существование лицедея». И затем он стал целыми днями ходить по улицам, сочиняя послание юному лорду. Эта задача оказалась куда труднее написания поэмы.

Боюсь, не оскорблю ли Вашу милость... В Лондон пришла весна. На дверях домов все еще красовались грубые кресты, но свежий ветерок уже доносил до Уильяма запах травы и тонкое позвякивание коло-кольца на шее у отбившегося от стада барашка. Пирожники и торговцы цветами наперебой нахваливали свой товар. Посвящаю Вам мои строки, нет, не так, мои слабые строки... Из лавки цирюльника раздались звуки лютни, и звонкий голосок напевал жалобную песенку. И не подвергнет ли меня суровому порицанию... нет... и не осудит ли меня свет за избрание столь сильной опоры... В Темзе плавали трупы со связанными за спиной руками: наверное, их прибило к берегу после наводнения. ...для такой легковесной ноши... Паривший в небе коршун выронил из когтей кусок человеческой плоти. Но если поэма понравится Вашей милости, я сочту это высочайшей наградой... Из грязной таверны доносился нестройный хор пьяных голосов, выкрикивающих какие-то разухабистые куплеты. ...и поклянусь посвятить весь свой досуг неустанному труду... В толпе деревенских ротозеев шныряли воришки. ...пока не создам в Вашу честь творение более достойное... Из переулка выбежал хромой мальчишка, деловито тащивший куда-то свиную голову. ...Но если этот первенец моей фантазии окажется уродом... Мимо смиренно прошли два монаха, они тихо переговаривались между собой. ...я буду сокрушаться о том, что у него был такой благородный крестный отец... Из корзинки торговца рыбой нестерпимо воняло тухлой селедкой. ...и никогда больше не стану возделывать столь неплодородную почву... Из-за угла выехала грохочущая повозка. ...опасаясь снова собрать убогий урожай... Внезапно солнце выглянуло из-за туч и ярко осветило белокаменные башни. ...Я предоставляю свое детище на Ваше милостивое рассмотрение... Худенькая девчушка-оборванка

жалобно плакала и просила милостыню. ...и желаю Вашей милости сердечного довольства... Старый одноглазый солдат спрятался в темном проулке и мусолил беззубым ртом кусок хлеба. ...и исполнения всех Ваших желаний... На воротах Темпл-Бар красовались черепа. ...для блага света, возлагающего на Вас свои надежды. Далекие звуки музыки — корнеты и волынки. Покорный слуга Вашей милости... Запряженная в повозку ломовая лошадь громко зафыркала. ...Уильям Шекспир.

— Вот оно как бывает; один выходец из Стратфорда написал книгу, а другой ее печатает, — сказал Дик Филд. Он все еще говорил с сильным уорвикширским акцентом.

Филд стоял посреди своей мастерской: серьезного вида толстяк в рабочем фартуке, одна щека испачкана в типографской краске. У печатного станка суетился подмастерье, негромко насвистывая мелодию, за столом в углу сидел мальчишка, осваивающий азы переплетного дела. Работа у Филда шла хорошо: после смерти своего хозяина, француза Ватролье, Дик женился на его вдове и сам стал хозяином мастерской. К нему пришел заслуженный успех, ведь к тому времени Филд стал искусным мастером-печатником. Взять хотя бы перевод «Неистового Орландо» (кажется, работа Харрингтона?) — книга получилась просто загляденье. И даже если не принимать во внимание то, что они с Филдом были земляками, Уильям правильно сделал, что принес к нему свою, поэму. Теперь он с благоговением взял готовый том из рук Филда, и его вдруг охватило смешанное чувство гордости и стыда. Ему было странно и страшно, он вдохнул запах свежей типографской краски и бумаги, и у него закружилась голова. Книга, его книга... Теперь уже в этом не было никакого сомнения: текст, набранный в типографии, выглядел совершенно иначе, чем теплые, потрепанные, перечеркнутые, испещренные поправками, любимые и ненавистные рукописные листы, где каждая строка была неповторима (ведь почерк у каждого человека свой. Вот титульный лист — «Венера и Адонис», а ниже: «Его милости достопочтенному Генри Ризли, графу Саутгемптону и барону Тичфилду...» Теперь все мосты были сожжены. Книга должна зажить своей собственной жизнью в безразличном и безликом мире, которому нет никакого дела до неизвестного автора. В мире, где никому не делается поблажек и снисхождения, где нет посредников в лице актеров, которые могли бы своей талантливой игрой сгладить возможные погрешности и Шероховатости. Теперь Уильям оставался один на один с читателем. С одним-единственным читателем...

— Да, — согласился он. — Стратфордский поэт и Стратфордский печатник. Мы еще покажем Лондону, на что способен Стратфорд.

Фидд откашлялся.

— Говорят, ты навсегда уехал из Стратфорда. Я слышал эти сплетни на похоронах моего отца. Твой отец помогал оценивать имущество и сказал, что ты обещал два раза в год приезжать домой.

— Человек должен работать там, где есть работа. У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на постоянные разъезды. Я работаю и посылаю деньги домой.

— Да, и об этом я тоже слышал. — Он снова кашлянул. — А ты не думал о том, чтобы купить дом здесь, в Лондоне?

— Если я и соберусь покупать дом, — твердо сказал Уильям, — то только в Стратфорде. Лондон для работы. А дома у меня будет достаточно времени, чтобы посидеть у камина и рассказать детям сказку. — Уильям ответил довольно резко.

— Извини, — стушевался Филд. — Конечно, это меня не касается. Что ж, желаю тебе процветания и всяческих благ. И успеха твоей книге.

— Эта книга и твоя тоже, — улыбнулся Уильяме. — Даже если не обращать внимания на содержание. Книга сама по себе получилась замечательная.

Итак, книга была издана и зажила собственной жизнью. Она вызвала самые восторженные отклики у юных щеголей. Она оказалась в моде — довольно откровенная по содержанию, но тем не менее не опускающаяся до пошлости: романтические стихи, изящный слог. Уильям сидел в таверне в компании ворчливого Хенсло; у себя за спиной он слышал взволнованное перешептывание: »...Вот он, это же милейший мастер Шекспир... Какие причудливые образы, какая простота, какая изысканность!..» И все это время он надеялся услышать мнение одного-единственного читателя. Книга вышла 18 апреля; наступил май, но никаких известий Уилл так и не получил. Аллен сказал:

— Больше ждать не имеет смысла.

— Ждать? Чего?

— Тихо, спокойно. Ты совершенно забросил работу. Кстати, когда будет закончен «Ричард»?

— Какой Ричард? Ах да, «Ричард»... «Ричард» может и подождать.

— Но зато мы не можем. «Роза» в этом году так и не откроется. У нас есть разрешение Тайного совета давать представления за городом. Главное — чтобы не приближаться к Лондону ближе чем на семь миль. Это чтобы мы не потеряли форму до будущей зимы, когда нам предстоит выступить перед королевой. — И затем развязно добавил: — Да уж, старина, мы все-таки не какие-нибудь дешевые лицедеи, а слуги ее величества. Положение

обязывает. — А потом продолжал уже своим обычным голосом: — Вообще-то, компания подобралась большая — Уилл Кемп, Джордж Брайан, его тщедушное святейшество Том Поп и Джек Хеминг. Багаж у нас не большой, много вещей брать не будем. Ну как, едешь с нами?

— Нет, мне нужно остаться здесь.

— Что ж, тогда давай хоть устроим напоследок прощальную пирушку и хорошенько напьемся.

Гость пришел к Уильяму не в самый удачный день, когда по городу поползли тревожные слухи. Эта новость шумно обсуждалась столичными сочинителями памфлетов и драматургами: Тайный совет начал борьбу с ересью, особые люди, так называемые комиссионеры, делают обыски в домах людей, занимающихся сочинительством, ищут какие-то бумаги, подстрекающие к мятежу. В жилище Томаса Киды (а разве он сам по себе не был совершенством, разве не его перу принадлежала «Испанская трагедия»?) были обнаружены крамольные записи, в которых опровергалась божественность Иисуса Христа. Насмерть перепуганный Кид сказал, что это написал Марло. Так что Марло был обречен, и та же участь могла постигнуть любого из пишущей братии. Лучше уж сжечь все, пока не поздно: все заметки, письма, черновики. При желании все можно извратить до неузнаваемости, объявить ересью и призывом к измене. Кид уже находился в Брайдуэлле; судя по слухам, его подвергли нечеловеческим пыткам, и у него было уже сломано шесть пальцев. И вот домой к Уильяму пришел человек в черном. Поначалу Уильям не узнал его и приготовился к тому, что его сейчас начнут допрашивать (хотя какая такая ересь могла скрываться за строками «Венеры и Адониса»?). Но потом он все же вспомнил памятный январский день и господскую ложу в «Розе»... Это был тот самый человек, что так серьезно и холодно глядел тогда на Уильяма, — Флорио, тщедушный итальянец, переводчик Монтеня. Он спросил:

— Можно мне присесть здесь?

— У меня есть немного вина. Так что если желаете...

От вина Флорио решительно отказался.

— Я прочитал вашу книгу раньше него, — признался он. — На мой вкус слишком слащаво, похоже на приторно-сладкое вино, — Он с неудовольствием поглядел на стоящую на столе бутылку. — Сначала он ни в какую не хотел ее читать. Но потом приехал милорд Эссекс и начал громко восторгаться ее достоинствами, повторяя, что вы своей поэмой прославили его, а не себя. Милорд Эссекс может подвигнуть его на все, что угодно. Так что теперь он наконец прочитал ее. — Флорио замолчал,

оставаясь неподвижно сидеть в полумраке комнаты.

— И что... — Уильям судорожно сглотнул, — что он сказал?

— О, он в восторге, — нерадостно вздохнул Флорио. — И срочно послал меня за вами. Точнее, я сам вызвался поехать к вам; он хотел просто отправить за вами свою карету и посыльного с письмом. Я предложил ему свое посредничество, потому что хотел с вами поговорить.

Уильям недоуменно нахмурился.

— Я вижу, вы удивлены. Вы думаете, что я всего лишь слуга, секретарь и доверенное лицо, не более чем просто наемный работник. С одной стороны, ^это так и есть, а с другой — не совсем. — Он закинул одну тонкую черную ногу на другую. — Я родился в Италии. Здесь я чужак, иностранец. Поэтому я имею возможность видеть англичан как бы со стороны. Я много путешествовал по свету, но нигде мне не доводилось сталкиваться с людьми, подобными вашим английским аристократам. Такое впечатление, что Бог создал их отдельно от всех остальных людей, специально ради собственного удовольствия.

Уильям поудобнее сел на стуле, приготовившись выслушать проповедь.

— Если предметом страсти вашей знати являются чистокровные лошади, то, возможно, Господь заводит себе с той же целью таких, как мой господин. Богатство, красота, благородное происхождение, а также кое-какое образование

— это все, что нужно ему для счастья. Прибавить к этому живость ума, азарт, с которым неистовый жеребец срывается с места или пушинка...

— Да, теперь я вижу, что вы прочли мою поэму, — с улыбкой заметил Уильям.

— Мне запомнились эти ваши строки про коня. Так вам будет легче понять, что я имею в виду. Если вы разбираетесь в лошадях, то поймете и то, что я хочу рассказать вам о своем господине. Он натура противоречивая — в его характере сошлись огонь, воздух и лед. Он запросто может обидеть человека, но и сам легко обижается. И если вы станете его другом...

— Я даже не смею надеяться, — пролепетал Уильям. — Кто я такой, чтобы просить...

— Вы поэт, — спокойно сказал Флорио. — Иметь среди приближенных личного поэта — это престижно, все равно что завести себе еще одного чистокровного коня. Хотя на самом деле вы простой парень из деревни.

— Стратфорд — хоть и маленький, но все же город.

— Город? Ладно, пусть будет город. В конце концов, это не так уж

важно. Все, что я хочу сказать, так это то, что я не хочу, чтобы его обижали. Милорд Эссекс слишком уж прямолинеен; он солдат, придворный, человек амбициозный, и часто, сам того не замечая, он больно ранит его. В день нашей первой встречи по вашим глазам я понял, что вы задумали.

— Какой вздор, — смущенно улыбнулся в ответ Уильям. — Думаете, меня обидеть намного труднее? У него есть все — власть, красота, молодость. Я же, как вы только что изволили заметить, простой деревенский парень.

— Городской.

— Если ваш господин призывает меня, то я с радостью поеду. К тому же я знаю, насколько непостоянным может быть величие сильных мира сего.

— Позвольте мне кое-что рассказать вам о милорде, — сказал Флорио. И затем, как будто только что осознав тайный смысл слов Уильяма, он с жаром заговорил: — Да-да, вам еще только предстоит узнать об их непостоянстве. Но вот его отец не пожелал ничего менять, за что и угодил в застенки Тауэра, где пострадал за свою веру. За ту самую веру, что когда-то была и моей тоже, до того, как я начал читать книги мастера Монтеня и научился говорить «Que sais-je?». Он умер молодым, и милорд, в восемь лет оставшись без отца, был назначен воспитанником при дворе. Его опекуном стал лорд Бэрли, и остается им по сию пору. Но его светлость, подобно норовистому коню, противится любым попыткам ограничить его свободу. Милорд Бэрли, а также его собственные мать и дедушка уговаривают его жениться. Если его милость пожелает вслед за милордом Эссексом отправиться на войну, то он может там погибнуть, так и не оставив наследника. И тогда древний род прервется. У него уже даже есть невеста, это внучка милорда Бэрли — милая девушка, холодная английская красота которой скрывает неугасимое пламя, пылающее в душе. Но милорд не обращает на нее ни малейшего внимания. Ни на нее, ни на какую другую женщину. И мне кажется, что ваша поэма может ему повредить.

— Ну что вы, ведь это всего лишь древнегреческий миф...

— Да, но милорд считает себя Адонисом. Поэты имеют куда большую власть над читателями, чем им самим кажется. Я же считаю, — медленно проговорил Флорио, — что ему необходимо жениться. Не только и не столько ради продолжения рода, сколько ради собственного же благополучия. Двор погряз в грехе и разврате, и кое-кто уже бросает на него похотливые взгляды, будучи не прочь попользоваться его красотой. Думаю, что вы с большим успехом, чем кто бы то ни было, могли бы убедить его задуматься о женитьбе.

— Да бросьте вы, — улыбнулся Уильям. — Если уж его родная мать не может...

— Его мать расписывает ему преимущества женитьбы и взывает к его чувству долга. Вы тоже могли бы поговорить с ним о том же самом, но сказанное вами было бы иначе услышано. Колдовство поэзии придало бы вашим словам большую порочность, что ли, а порок так привлекает молодых людей. Милорд считает себя Адонисом, любит себя. Вы могли бы сыграть на этом.

— Вы хотите сказать, — уточнил Уильям, — что я должен написать и преподнести ему стихи о прелестях женитьбы?

— И отнюдь не даром. Его матушка будет рада озолотить вас. — Флорио встал. — А теперь я должен препроводить вас к нему. Он очень ждет. И я был бы вам весьма признателен, если бы этот разговор остался между нами. Ведь дело секретаря состоит в том, чтобы записывать под диктовку письма.

— Значит, — пролепетал Уильям, — поэма ему все-таки понравилась.

— О да, милорд, как я уже сказал, пришел в неопишуемый восторг. Он находится под неизгладимым впечатлением богатства образов. И все это за одно-единственное майское утро.

...Не было ли в комплиментах итальянца первых признаков разложения и продажности? Уильям продолжал идти к цели, безжалостно разрывая красивую упаковку, скрывавшую драгоценный бриллиант в самом сердце огромного дома. Позабыв о приличиях, он с искренним восхищением разглядывал богатое убранство комнат, роскошь шелков и гобеленов, портьеры, украшенные бесчисленными сценами из Овидия, мягкие ковры, на которых, словно на снегу, не было слышно шагов. Криво усмехаясь, Флорио, взгляд которого оставался по-прежнему мрачен, вверил этого неотесанного поэта попечениям целой толпы слуг (в золотых цепях, богатых ливреях, с жезлами из эбенового дерева, украшенными шелковыми кисточками). С соблюдением всех формальных церемоний слуги провели гостя в огромную спальню. Эта комната поразила Уильяма неопишуемой роскошью и в то же время показалась очень знакомой: он вспомнил свои мальчишеские фантазии, золотую богиню, ее манящие руки, протянутые к небу в мольбе. Но здесь не было богини, это предчувствие оказалось обманчивым. На золотом ложе, которое словно плыло, подобно кораблю, по огромному ковру, украшенному изображениями тритонов и nereид, возлежал, откинувшись на атласные подушки, мастер РГ. Он отдыхал; ведь полная удовольствий и развлечений жизнь молодого аристократа была очень утомительна. Увидев Уильяма на пороге, он сказал:

— Входи! Входи же скорее! У меня нет слов, ты просто лишил меня дара речи. («Ты», он сказал «ты»...)

— Милорд, я не смею...

— Перестань, к черту все эти дурацкие формальности. Иди, садись рядом со мной. Будь горд, но позволь мне возгордиться еще больше. Ведь теперь у меня есть друг-поэт.

— Ваша светлость...

ГЛАВА 3

— Ваша светлость...

— Называй меня просто по имени.

— Но мне не подобает...

— Вот еще! Здесь я решаю, что подобает, а что нет. И потому я говорю, что не пристало тебе торчать здесь сегодня, этим прелестным июньским днем, с такой кислой физиономией. Я завел себе поэта, чтобы он создавал мне хорошее настроение, а не нагонял тоску.

Уильям глядел на него с любовью и горечью. Смерть поэта ничуть не взволновала бы этого аристократа, который расставался со своими поэтами с той же легкостью, с какой бросал деньги на ветер. (Уилл, заплати сам по этому счету, а то я уже потратил все деньги, что у меня были с собой. — Но, милорд, вряд ли той суммы, что имеется у меня при себе, будет достаточно. — Ну да, я и забыл, что ты просто бедный голодранец, который перебивается с хлеба на воду и зарабатывает себе на жизнь стишками.)

— Я не могу не огорчаться, милорд (то есть Гарри), при известии, что мой друг был заколот его же собственным кинжалом и умер в страшных муках. Представьте себе, своим же собственным кинжалом, который ему всадили прямо в глаз. Говорят, Марло кричал от боли так громко, что это слышал весь Дентфорд. Эта агония могла сравниться лишь с крестными муками Христа. 4 Новость о смерти Марло дошла до Уильяма с большим опозданием, потому что поэт был отгорожен от реального мира, от эля, театра и вшей роскошными атласными подушками и приторным ароматом духов. Сначала Уильям услышал, что пуритане ликуют и радуются смерти антихриста; затем коронер вскользь обронил, что Фрайзер убил Марло, защищаясь и спасая свою собственную жизнь; и в конце концов его воображению предстала ужасная картина случившегося в Дентфорд-Стрэнд — в комнате сидят Фрайзер, Скирс и Поли, слышен смех, а затем Кит Марло, лежащий на кровати, приходит в ярость, сверкает острие кинжала, противник вырывает кинжал у него из руки и затем... Из головы никак не шла одна строка, крик Фауста, продавшего душу дьяволу: «Вижу, как кровь Христова разливается по небесному своду».

— Друг или не друг — без разницы. Радуйся, что тебе не досталось, — отозвался его светлость мастер РГ, Гарри. — Теперь ты мой и только мой поэт.

— А все-таки кое в чем он был весьма искушен, этот мальчик с

капризно поджатыми губами. — Ради этого даже друга лишиться не жалко.

— Вообще-то, близкими друзьями мы с ним никогда не были. Но другого такого поэта не было и уже, наверное, не будет. — Эта была чистейшая правда. Все-таки Марло был его предшественником, солнцем на небосклоне английской поэзии, даже тогда, когда его ежедневно вызывали в Тайный совет на допросы; он не боялся ни Бога, ни черта, ему было наплевать на то, что говорят у него за спиной, и его последний шедевр так и остался незаконченным.

— Что ж, приятно слышать, что близкими друзьями вы не были. Потому что это может стать еще одним гвоздем в крышку гроба его покровителя, этого табачника, вонючего сэра Уолтера. Просто злость берет, что этот урод все еще крутится при дворе, сеет там ересь, смуту и разврат. Ты должен написать пьесу, высмеивающую его и всех его подручных-еретиков.

Откуда такая враждебность? Неужели и тут не обошлось без влияния Эссекса? Ох уж эти интриги, недомолвки и хитроумные заговоры... Что же до «Школы ночи», то у Уильяма было собственное мнение на этот счет. У него начиналась новая жизнь, эпоха постмарлоизма (удачное название), которую он собирался посвятить любви, карьере и поэзии.

— Вот, — улыбаясь, сказал Уильям, — я принес новый сонет. — С этими словами он вынул из-за пазухи исписанный листок, на котором едва успели высохнуть чернила: «Твоя любовь — она царей знатнее, богатств богаче, платьев всех пышней. Что конь и пес и сокол перед нею...»^[33] Не поторопился ли он с этой песнью любви после всего нескольких недель дружбы? Но мастер РГ, Гарри, сказал об этом первым.

— У меня сейчас нет времени читать сонеты, — нетерпеливо отмахнулся Гарри. — Тем более, что я еще не успел прочесть то, что ты давал мне раньше. Так что положи его вон в тот сундук.

Это был большой резной ларец, из недр которого пахло ароматной прохладой. Гарри рассказывал, что эту вещицу привез из заморского плавания какой-то капитан, который влюбился в юношу без ума, но был отвергнут. Уильяма охватила ревность при виде пухлого вороха чужих поэм, поверх которых лег его сонет: «Твой женский лик, природы дар бесценный...»^[34] Красота Гарри действительно была женской, в то время как тело оставалось мужским, и это рождало в душе его друга странное чувство. Быть понапористее? Ведь времени у него было не так много. Уильям становился старше, скоро ему исполнится тридцать.

— Сегодня, — объявил милый мальчик, — мы отправимся на прогулку

по реке.

Сказано — сделано. На водной глади играли ослепительные солнечные блики, слышался тихий плеск воды, на веслах сидели гребцы в ливреях, и новенькая барка, над которой был натянут полотняный шатер, неспешно плыла в сторону Грейвсенда, увозя на своем борту шумную компанию смеющихся молодых людей. Эти юноши очень отличались от скромно одетого поэта, покоровившего юридические школы и университеты неповторимостью и сладкозвучием стихов. Здесь было всего вволю: и вина, и холодного мяса дичи, и прочих яств, но чем выше поднималось солнце, тем все более неловко чувствовал себя Уильям. Он видел себя со стороны: безродный выскочка без титула и богатства, простенькое колечко на руке, одет прилично, но очень скромно. Его охватило отвращение при виде одного господина, которого все запросто называли Джеком: этот вельможа хохотал разинув рот, набитый недожеванным мясом. Этим юношам было нечем заняться, они изнемогали от *επιπνί*^[35] (очень подходящее определение, предложенное мастером Флорио) и прятали пораженные недугом безделья тела под шелками и гобеленами. Но вот солнце снова вышло из-за тучки, и молодые люди снова ожили и обрели былую живость, раскрываясь навстречу воздуху и свету. Эти юноши были подобны лебедям, что покачивались на волнах, провожая барку, — жадным и равнодушным птицам. А кружившие в ясном июньском небе коршуны служили лишним напоминанием о том, какая участь ожидает всякую брентную плоть.

— Интересно, когда снова откроются театры?

— Трудно сказать... чума все еще уносит тридцать жизней в неделю.

— А вот меня представления не интересуют. Там одна пошлость и кровь льется рекой.

— Ну, тогда всегда есть Лили и его мальчики. — Грубый многозначительный смешок. — Непорочные, словно лилии, мальчики Лили.

— Неужели человек не может стать выше всей этой мерзости — выше крови, низменных страстей и ночного горшка? Ведь любовь...

Хорошо, он даст им то, чего они хотят, и превратит свое ремесло в настоящее искусство. Воображение Уильяма рисовало прекрасную сцену с занавесом и декорациями, надежно защищенную от палящих лучей солнца, от ветра и от прочей непогоды. На этой сцене благообразные актеры талантливо разыгрывали остроумный диалог, и не было ни вульгарного шутовства Кемпа, ни окровавленных мечей, ни пафосных монологов в исполнении Аллена. Уж он бы постарался вложить в уста этих

разряженных марионеток нужные слова! Уильям грустно вздохнул, понимая, что ему суждено до конца своих дней быть между двух миров — между небом и землей, между разумом и чувствами, между действительностью и мечтами. Всегда один, чужой в любом обществе, он добровольно обрекал себя на мученическую жизнь поэта.

— Ты все чаще посвящаешь свои сонеты женитьбе. Мало того, что мои мать и дед постоянно твердят мне о свадьбе, а мой достопочтенный опекун даже невесту подыскал, так вот теперь и ты туда же. Мой друг и личный поэт вступает в тайный заговор против меня. — Генри в сердцах швырнул новый сонет на стол. Осенний ветерок подхватил легкий листок, и тот, с шелестом соскользнув со стола, спланировал на ковер, где на зеленом фоне резвились искусно вытканые дриады и фавны.

Уильям улыбнулся, близоруко вглядываясь в перевернутые строчки:

Потомства от существ прекрасных все хотят, Чтоб в мире красота цвела — не умирала:

Пусть зрелая краса от времени увяла —

Ее ростки о ней нам память сохранят... [\[36\]](#)

Сам он думал, что выполняет возложенную на него обязанность как нельзя более осмотрительно и деликатно. В случае успеха этой затеи художавый итальянец посулил ему щедрое вознаграждение. Ведь Уильям не был аристократом и не владел несметными богатствами и поместьями; он должен работать ради денег. Ее милость, немолодая, но все еще очень привлекательная графиня, женщина лет за сорок, до боли сжимала его руки своими длинными, униженными перстнями пальцами. Спасибо, милый друг, огромное вам спасибо. Просто божественная песнь Аполлона после слов Меркурия... И Уильям осторожно сказал Гарри:

— Друг должен верить другу все, что есть у него на сердце. А уж тем более поэт. Но боюсь, все это напрасно. Допустим, если я сейчас умру, то после меня, по крайней мере, останется мой сын. И имя Шекспир не исчезнет, род не прервется, — уверенно сказал он. Однако затем к нему вернулось чувство вины и отвращения к самому себе, хорошо знакомое по прежней актерской жизни: он снова зарабатывал деньги, лицемерно произнося проникновенную речь и беспомощно сознавая, что слова созданы для того, чтобы скрывать истину. Сначала было слово, и слово это было ложью. — Но ведь я никто, я ничего из себя не представляю. — Протянув к Гарри руки, он раскрыл обе ладони, показывая, что они пусты. — А за тебя мне очень страшно, ведь смерть может подстергать повсюду — и в чистом поле, и на улице. Вон на прошлой неделе от чумы умерло больше тысячи человек. И что тогда? Что останется после тебя?

Несколько не самых лучших портретов и один-два сонета? Тебя же просят всего-навсего о том, чтобы ты дал продолжение своему роду, не дал ему умереть.

— Ну да, семья превыше всего. Обычная песня. — В голосе юноши слышалась горечь. — Прежде Ризли, а потом уже Гарри. Мастер РГ.

— В женитьбе нет ничего страшного, это самое обычное житейское дело. Мужчина женится ради продолжения рода, но он может оставаться свободным, как и прежде.

— Как ты, например? Если человеку приходится сбегать от жены в другой город, могу себе представить, что это за свобода такая. А в своих пьесах ты мечтаешь об укрощении строптивых.

Да уж, подумал про себя Уильям, я всегда недооценивал этого мальчика, ставшего в пятнадцать лет магистром искусств. Его ум и красота обратили на себя внимание самой королевы, а я тем более был смущен его красотой. Похоже, мысль о королеве посетила обоих собеседников одновременно, так как в следующий момент Гарри сказал:

— Что же до всей этой болтовни о наследниках и древних династиях, то сама королева показала всем нам отличный пример.

— Королева — женщина.

— Ну и пусть. Если уж роду Тюдоров суждено прерваться, то пусть Ризли тоже уйдут в небытие.

Уильям улыбнулся, его забавляло то, как эти грозные слова срываются с капризных девичьих губ.

— Что ж, вряд ли нам стоит беспокоиться о преемственности власти. Там и без нас обо всем позаботятся, — шутливо сказал Уильям. И затем, отойдя к окну, насвистел несколько тактов из известной баллады. Гарри тоже знал ее: «А красавчик Робин мне милее всех».

— Ты становишься слишком фамильярным.

Удивленный Уильям обернулся:

— Из-за свиста? Мне что, и посвистеть уже нельзя?

— Свист тут ни при чем. Ты вообще ведешь себя чересчур фамильярно.

— Так ведь я был всемерно поощряем к этому вашей милостью. Прошу нижайше извинить меня, милорд. — Он говорил нарочито жеманно и закончил свою тираду глубоким реверансом. Гарри был смешон: он злился и капризничал, как девушка во время менструации. — Достопочтенный милорд, — добавил Уильям.

Гарри усмехнулся:

— Ну ладно, если уж я достопочтенный милорд, то давай продолжим в

том же унизительно-подобострастном духе. Кстати, подними с пола свой сонет. — Юноша не умел долго злиться.

— Ветер его сбросил на пол, пусть ветер и поднимает.

— Но я же не могу приказывать ветру.

— И мне тоже, милорд.

— Нет, вот как раз тебе-то и могу. А если ты не подчинишься, я велю бросить тебя в подземелье, кишашее жабами, змеями и скорпионами.

— Мне не привыкать.

— Ладно. Тогда я велю тебя выпороть. Нет, я сам буду стегать тебя кнутом по спине. Сначала порвется камзол, потом лопнет кожа, и из раны хлынет кровь. Обрывки кожи, камзола и плоти — это будет одно сплошное месиво. — Даже в игре его не оставляла склонность к жестокости. Гарри был наделен властью, дававшей ему право делать больно другим, и он с радостью этим пользовался.

— О нет, пожалуйста, пощадите. — Уильям удивился самому себе, узнавая себя прежнего. Друг и любовник, он вдруг увидел себя в роли отца; ему пришлось нести на своих плечах куда более тяжелую ношу, чем десять лет разницы в возрасте. Принимая условия игры, он упал ниц — повалился на ковер, чувствуя, как хрустят суставы. Гарри тут же оказался рядом, наступив изящной ногой в дорогой лайковой туфле на листок с сонетом. Уильям успел прочесть: »...жалея мир, грабителем не стань и должную отдай ему ты дань»^[37]. Внезапно он протянул руки и крепко ухватил юношу за щиколотки. Гарри визгливо вскрикнул, и затем Уилл повалил его на пол, на мягкий зеленый ковер, ушибиться на котором было невозможно. Нелепо взмахнув руками в попытке удержать равновесие, юноша упал и, смеясь, остался лежать. — Ну вот,

— с наигранной свирепостью в голосе продолжал Уильям, — ты и попался. — Они принялись бороться, и руки ремесленника оказались сильнее.

— Только больше никаких сонетов о женитьбе, — тяжело дыша, сказал Гарри.

— Ни единого, — привычно поклялся завзятый лгун.

И все же воспоминания о прежней жизни не покидали Уильяма. Он живо представлял себе сестру — как она после рождественского обеда перемывает тарелки в холодной воде. Наверное, в этом году праздничный обед удался на славу, ведь Уильям послал домой достаточно денег, вырученных за сочинение сонетов. А вот сам он домой не приехал, хотя и обещал. У него была неотложная работа, постановка спектакля для домашнего театра одного знатного господина. Требовалось написать пьесу

о лордах, давших обет три года не заниматься любовью, и комедийное продолжение о том, как они нарушали эту клятву. «И как долго это будет идти?» — поинтересовался у него Гарри. Уильям, ответил: «Хватит времени, чтобы выпить три кружки эля». И так как в то время в Лондоне не оказалось ни одной актерской труппы (театры все еще были закрыты, хотя эпидемия чумы уже пошла на спад), то лордов пришлось играть самим лордам. Правда, в первый день Рождества в «Розу» вернулась группа «слуг лорда Сассекеа» (Хенсло записал в своей бухгалтерской книге: «Благодарение Всевышнему»), но было уже слишком поздно. Лорды приготовили даже женские роли, так что зрителями спектакля должны были стать преимущественно леди. Мастер Флорио из-за своего иностранного акцента получил роль дона Адриано де Армадо, а учителем Олоферном стал не кто иной, как... v (Надо же, близнецам на Сретенье исполнится уже девять лет. Подумать только, как быстро летит время...)

— ...Я удивляюсь, как твой хозяин до сих пор не сжил тебя со свету, потому что ты далеко не так умен, как оно... онориф...

— Онорификабилитудинитацибус.

— Нет... Мне этого в жизни не выговорить. — Это был сэр Джон Джеральд, который благодаря своему дурашливому выражению лица стал самым подходящим актером для роли Котарда.

Все лорды кичились своим остроумием, ученостью и педантичностью, даже когда педантичность подвергалась осмеянию. Уильям же добивался как раз этого, отдавая указания своим титулованным актерам. Он стоял среди них в великолепной тяжелой мантии, подаренной его господином и другом. («Не задерживайтесь, сэр, или что, мужчины в Оксфорде всегда не слишком расторопны?» В ответ — лишь смущенная улыбка.) После обильных ночных возлияний, в которых ему волей-неволей приходилось участвовать, потому что невозможно было всякий раз притворяться больным или занятым, здоровье Уильяма заметно пошатнулось, и ему пришлось снова превратиться из потомка рода Арден в Шекспира. Он даже начал завидовать монаху Лоренцо, который уже существовал в его воображении и даже обрел свое законное место в новой лирической пьесе. Отгородиться от всего, жить в одиночестве, стать отшельником — таково было его заветное желание... Но потом он вспоминал о своем долге, заключавшемся в том, чтобы вернуть добрую славу имени отца, а заодно помочь семье выбраться из нищеты. А тут еще эта проклятая любовь, это неукротимое буйство чувств, переходящих в ревность... Уильям уединился в своей комнате и изливал ревность на бумагу в виде стихов, которые затем рвал на мелкие кусочки (Гарри любезничал с лордом таким-то или сэром

тем-то, они держались за руки). Потом он упивался жалостью при виде слез, медленно текущих по нежным щекам, когда Гарри слушал виолы или старинные флейты. *Lachrymae, lachrymae...*

Ты — музыка, но почему уныло Ты музыке внимаешь? И зачем Ты с радостью встречаешь, что немило, А радостному ты не рад совсем?

— Ну вот, — вспыхнул Гарри, — опять ты все сводишь к женитьбе!

Заметь, как дружно, радостно и звонко

Согласных струн звучит счастливый строй... [\[38\]](#)

— Вечно вы все лезете в мою жизнь и норовите распорядиться ею по собственному усмотрению... А вот интересно, — сказал въедливый юнец, — что бы ты сделал, если бы я вдруг стал ухлестывать за леди Лизой и проводил все время с ней? Ты небось сошел бы с ума от ревности и зависти. — Уильям растерянно улыбнулся: этот вопрос застал его врасплох. — Признайся же, — продолжал Гарри, вскочив с дивана, на котором он лежал все это время. — Признайся, что ты делаешь все это только ради того, чтобы угодить другим, в то время как сам ты не в восторге от этой затеи. Неужели моя мать приходит к тебе в комнату и стоит у тебя над душой, указывая, что надо писать и какими словами, а не то тебя выкинут из этого дома, и ты уже никогда, во веки вечные не увидишь ее драгоценного сыночка, потому что сам по себе ты всего-навсего распутный актеришка?

— Распутный — сильно сказано, — краснея, отозвался Уильям.

— Правда? Так что, значит, я угадал? Уильям вздохнул:

— Я изо всех сил старался угодить всем, кроме тебя. У меня есть другие сонеты на ту же самую тему. Я пишу их по несколько за один присест, но тебе выдаю по одному. Что ж, больше я их сочинять не буду.

— Но почему, почему, почему? Почему ты продолжаешь плясать под их дудку? Вернее, зачем ты сам позволяешь им петь с твоего голоса?

Уильям протянул ему пустые ладони, ощущая себя при этом евреем-ростовщиком.

— Я делаю это ради денег. Должен же я на что-то жить.

— Ради денег? Бог ты мой, ради денег? Ты что, в чем-то нуждаешься? Разве я не даю тебе все, что ты только пожелаешь? — Гарри стоял упершись руками в бока и прищурившись глядел на него. — И за сколько ты им продался? За тридцать сребреников?

— Ну что за чушь! Я должен посылать деньги домой. Ведь все-таки я, в отличие от тебя, человек семейный, у меня есть жена. И я не могу допустить, чтобы она и трое моих детей прозябали в нищете.

Гарри злорадно усмехнулся:

— Бедняга Уилл! Тоже мне, глава семейства...

— У меня есть сын. Он должен вырасти настоящим джентльменом.

— Бедный Уилл! Мой бедный, наивный Уилл! Знаешь, иногда мне начинает казаться, что я гораздо старше тебя. И могу говорить с тобой по-отцовски назидательно.

— Сын, который вырастет и станет таким же юношей, как ты. Конечно, лордом ему не быть никогда, а вот рыцарем... кто знает. Сэр Гамнет Шекспир. Я смотрю на тебя и представляю себе, каким он может стать. И иногда мне становится страшно, что я не доживу до этого времени. Я теперь так быстро устаю...

Гарри подошел сзади к креслу, в котором сидел Уильям, и обнял его, скрещая унизанные драгоценными перстнями руки, кажущиеся очень белыми в унылом зимнем свете, на груди друга. Уильям взял его правую ладонь в свою и крепко сжал.

— Я не буду больше писать сонеты, — пообещал он. — Ты разгадал этот дурацкий замысел.

Гарри поцеловал его в щеку.

— Напиши мне еще сонеты, — попросил он, — но только не на эту дурацкую и бесполезную тему. А когда наступит весна, давай съездим вместе в этот... ну, где живет твоя жена с детьми.

— Стратфорд.

— Ага, туда. И прихватим с собой замечательный подарок для лорда Гамнета.

— Ты очень добр. Ты всегда очень добр ко мне.

— Но, — продолжал Гарри, отходя от него и направляясь к окну, — ты должен сделать для меня кое-что. Написать еще одну поэму. Пусть она станет отмщением женщинам, всему их роду. — На улице начался дождь, ветки деревьев стучались в окно. — Особенно тем из них, кто помешан на идее брака и только и думает о том, как бы поскорее выскочить замуж. Я хочу получить еще одну книгу, снова увидеть в посвящении свое имя и выслушать по этому поводу поздравления от друзей.

— Все, что я написал до сих пор, принадлежит тебе, — ответил Уильям. — Равно как и то, что будет написано потом. Но быть настолько жестоким по отношению к женщинам я просто не могу.

В Стратфорд они так и не поехали. Вместо этого Уильям начал работу над своей новой поэмой о Лукреции и Тарквинии, а Гарри связался с дурной компанией, куда его втянул по жестокой иронии судьбы другой поэт. Этим поэтом оказался Джордж Чепмен, который был на четыре года старше Уильяма и существовал на тот скудный доход, что приносили

редкие (ставшие еще более редкими за два последних года) постановки его пьес на сцене «Розы», когда та была открыта. Для труппы «слуг лорда Сассекса» Чепмен написал трагедию, полную пафосных монологов — «Артаксеркс», в которой Кир-младший, второй сын Дария, произносил гневные речи, очень напоминавшие слова шекспировского Олоферна с той только разницей, что тут все происходило на полном серьезе. Гарри был поражен его черной бородой и громогласным исполнением роли. Был такой же морозный январь, как и тот, когда в господской ложе оказался Уильям; Чепмен был так же призван туда и заинтриговал Гарри своей невозмутимостью. Новый поэт совершенно не понравился Флорио; что же до красавчика Роберта Девере, графа Эссекса, то на этот раз его ум оказался занят куда более важными вещами, чем дерзость поэтов и лицедеев.

— Уилл, — сказал как-то раз Гарри, — я влюбился.

Уильям осторожно отложил перо, перевел взгляд на своего друга и покровителя и еще секунд пять внимательно его разглядывал.

— Влюбился? Ты влюбился? Гарри хихикнул:

— Ну, вообще-то, жениться на ней я не собираюсь, она вовсе не леди из высшего общества. Это деревенская Лукреция из Ислингтона. Жена хозяина трактира «Три бочки».

— Подумать только, влюбился. Ты — и вдруг влюбился. Боже милосердный.

— Она не знает, кто я такой. Я был с Чепменом, так что она думает, что я тоже из поэтов. Ко мне ей не подобраться. — Гарри снова хихикнул.

— Значит, семя все же взыграло. Что ж, хорошо. Подумать только, он влюбился... — Уильям рассмеялся. — А что думает об этом ее муж?

— Он в отъезде. Уехал в Норфолк, его отец при смерти, но все что-то никак не умрет. Короче, мучительная кончина. Уилл, я должен овладеть ею, прежде чем он вернется. Но только как это сделать?

— Мне кажется, — рассудительно ответил Уильям, — что твои новые друзья могут тебе в этом помочь. Говорят, эти «слуги Сассекса» ребята разбитные и сами не прочь развлечься со шлюхами.

— Ничего подобного. Их всех больше интересуют мальчишки. В Ислингтоне есть одно такое заведение...

— Так-так-так... Влюбился, значит? — Он снова со вздохом взял перо. — Я должен дописать поэму, таково было пожелание вашей милости. Так что мой ум всецело занят размышлениями об участии тех, кто посягает на добродетель благородных матрон. Но похоже, мне надо задуматься и о том, какие последствия это будет иметь и для скромного сочинителя

низкопробных стихов.

— Ты издеваешься надо мной. Просто напиши мне стихотворение, которое я мог бы подарить ей. Ведь писал же ты для меня сонеты о том, как прекрасно любить женщину, а теперь напиши такой, чтобы, прочитав его, женщина полюбила меня.

— Знаешь, твой приятель мастер Чепмен не столь загружен работой, как я, ведь он располагает временем для того, чтобы ездить с тобой на пьянки аж в Ислингтон. Так что проси его, мой благородный лорд.

— Уилл, я не настроен шутить. Джордж не сможет написать такие стихи. А ей никогда не понять того, что он пишет.

— А она хоть читать-то умеет?

— Ну да, и писать тоже. У нее красивый почерк, особенно когда она выписывает счета. Джордж сейчас тоже занят, он сочиняет поэму. Он поселился в Ислингтоне, в «Трех бочках», и там ее пишет. Говорит, что забрался в такую даль специально для того, чтобы назойливые поклонники не отвлекали его от работы.

Это сообщение повеселило Уильяма; он был обеспокоен, его одолевала ревность, и тем не менее поведение Чепмена показалось ему забавным.

— Ну да, точнее сказать, назойливые кредиторы. Вообще-то, мне и самому уже не терпится съездить в Ислингтон, чтобы хоть одним глазком взглянуть на жену трактирщика, которой удалось покорить сердце моего господина. — Кроме того, Уильям хотел увидеть этого самого Чепмена.

— Ах... у нее такая белая и гладкая кожа. Крохотная ножка. И узкая талия, которую мужчина может обхватить двумя ладонями. А еще у нее черные волосы и темно-темно-карие глаза.

— Такие сейчас не в моде.

— Знаешь, все наши великосветские леди преследуют мужчин. А она нет. Она оттолкнула меня. Она вообще не подпускает к себе никого из мужчин.

— Включая мастера Чепмена?

— Джордж любит только себя, это-то меня в нем и привлекает. А еще он пишет поэму, хотя я его об этом не просил. Он сказал, что посвятит ее мне, потому что я, по его мнению, достоин такой чести.

Вот оно как... Теперь Уильяму уже не терпелось поскорее увидеть этого Чепмена.

— Ну так что, когда мы туда отправимся?

— Сегодня. Сегодня вечером. Уже этим вечером ты сможешь ее увидеть.

Путь в Ислингтон, где по распоряжению лорд-мэра недавно была отстроена башня Канонбери, оказался неблизким. Было холодно, начинало смеркаться, дул пронизывающий ветер, и мерзлая земля звенела под звонкими ударами конских копыт. Оба путника были несказанно рады оказаться наконец в тепле жарко натопленного трактира.

— Ну не красавица ли?

— Гм...

Как раз в этот момент молодая женщина насмешливо протягивала пучок соломы в сторону стола, за которым расположились трое прожорливых постояльцев (они уже успели съесть две целых курицы и теперь жадно набросились на сыр, заедая его ломтями ржаного хлеба). Это была обыкновенная деревенская девица, но для Гарри это было непривычно.

— Я бы сказал, — ответил Уильям, — ничего себе штука. Хотя ты, наверное, слишком молод и красив для нее. Скорее всего, ей нужен мужчина постарше и попроще.

И тут появился тот самый мужчина постарше и попроще. Он тяжело сошел вниз по лестнице, широко зевая и показывая гнилые зубы. Черные волосы на его голове были всклокочены. Толстые щеки, двойной подбородок, недобрые глаза. Это был мастер Чепмен собственной персоной. Они переглянулись с Уильямом, словно два драчливых петуха.

— А, Гарри, — громко сказал Чепмен. Продолжая зевать, он уселся за дощатый, хорошо выскобленный стол, стараясь расположиться поближе к огню. — Труд поэта — тяжелый труд, — проговорил он. — Вот я и прилег отдохнуть.

— Гомер выспался, — захихикал Гарри. — Для чтения твоих стихов сил требуется ничуть не меньше!

Чепмен пропустил это замечание мимо ушей и повернулся к Уильяму:

— Так когда там у вас возвращается Аллен вместе с остальными портачами Стренджа?

— Понятия не имею. Я уже год не вижу этих людей и не слежу за театральными новостями. — Уильям усмехнулся. — Скажем так, живу как отрезанный ломоть.

Тем временем смазливая девица принесла им сладкого вина. Она определенно была хороша собой. Гарри шумно вздохнул. Да уж, необычный поворот: его милость по уши влюбился в трактирщицу. Уильяму нужно было как можно быстрее избавить его от этой напасти.

— Что ж, — рассудительно проговорил Уильям, — заведение тут неплохое. А возвращаться домой затемно да по холоду не очень-то приятно.

Так что лучше нам остаться на ночь здесь. — И он заговорщицки подмигнул Гарри.

— Вы очень удачно выбрали эпиграф к своей поэме про Венеру, — сказал Чепмен, переводя разговор в другое русло, и тут же громко и с выражением процитировал нараспев:

Пусть низкопробным низкие любят; меня ж

К Кастальскому ключу ведет прекрасный Аполлон ^[39].

Затем он рыгнул, отхлебнул немного вина и продолжал:

— Не знаю, можно ли человеку развивать сразу две стороны своего писательского таланта. На мой взгляд, одна непременно подчинит себе другую.

— Возможно, лучшая из них возьмет верх над той, что хуже, — отозвался Уильям. Гарри же по-прежнему не сводил глаз с молодой трактирщицы. — Что ж,

— продолжал Уильям, обращаясь к Чепмену, — рад, что хотя бы эпиграф пришелся вам по душе.

— Ну что вы, остальное сочинение тоже очень недурно. Чего стоят одни зарисовки деревенской жизни! У каждого из нас свой путь, не похожий на все остальные. Мы должны работать в меру своих сил и умения, памятуя при этом о Божественной природе таланта. — Затем он снова хлебнул вина и, не утирая губ, продекламировал:

Вы, души, — узницы в темнице плоти, Из чаши муз вы никогда не пьете.

Так не дерзайте петь, не заглянув В бездонный тот источник... ^[40]

— Предлагаю испить из чаши муз, — сказал Уильям.

— Выпьем же за ее величество Ночь, — отозвался Чепмен, поднимая свою почти пустую кружку. — Ночь — вот моя госпожа и моя муза, И за нее я пью!

— И я тоже пью за нее, — печально вздохнул Гарри, измученная душа которого томилась от плотского желания.

— Скоро пойдем спать, уже не долго осталось, — с улыбкой пообещал Уилл.

На следующее утро они отправились обратно, в Холборн. Яркое светило солнце, с голых ветвей деревьев свисали обрывки легкой серебристой паутины. По дороге молодые люди разговаривали, и их дыхание становилось облачками пара, словно это был призрак их речи.

— Что же, — сказал Уильям, — я знал, что для мужчины постарше это не составит большого труда. Тут главное — опыт. Женщины всегда тянутся

к опытным мужчинам, они распознают их по взгляду.

Гарри поглядел на него с недоверием, а потом вдруг ужаснулся.

— Нет! Ты не мог! Дверь в ее комнату была заперта... — Он побледнел. — Нет, нет, нет, ты шутишь!..

— Для тебя она была заперта, это точно. А я хоть и храпел, но на самом деле не спал, а только притворялся спящим. Ведь, в конце концов, я актер.

— Но ты не мог! Она не впускает к себе никого из мужчин!

— Я вышел, когда ты крепко спал.

— Я не спал. Я вообще, если хочешь знать, за всю ночь почти глаз не сомкнул. Я подумал, что ты идешь по нужде.

Нет, только не на этот раз. Всего полчаса внизу, в тишине, перед очагом, в котором тлели угли.

— Ну что ты, это было совсем нетрудно. Я постучал, она спросила, кто там, а я ответил, что это я, граф Саутгемптон, тот мужчина, что постарше и с лысиной. Она тут же отворила. Ах, какое блаженство! Что за нежные ласки и гладкая белая кожа...

— Нет, нет, ты лжешь!

— Как будет угодно вашей милости. Что ж, я показал тебе пример. Все, что от тебя требуется, это всего-навсего ему последовать.

Что ни говори, а он преподавал хороший урок этому сопливому щенку.

ГЛАВА 4

— «...Только доказательства Вашего лестного расположения ко мне, а не достоинства моих неумелых стихов дают мне уверенность в том, что мое посвящение будет Вами принято. То, что я создал, принадлежит Вам; то, что мне предстоит создать, тоже Ваше, как часть того целого, которое безоговорочно отдано Вам...»

Гарри закончил читать вслух.

— А как же Чепмен? — спросил Уильям.

— Чепмен может засунуть свои умелые стихи в отхожее место. Это даже гениальнее «Венеры». Никогда не думал, что такое возможно, но это действительно так.

Да, новая поэма была лучше. Это Уильям знал, равно как и то, что продолжать в таком же героическом духе ему не удастся. Он кусал ногти, не находя себе места. В Лондон после долгих гастролей стали возвращаться актеры. Аллен ушел из труппы Стренджа и собрал еще нескольких единомышленников, которые стали называться труппой «слуг лорда-адмирала». Лорд Стрендж, став графом Дерби, вскоре скончался (как говорили злые языки, от сглаза).

Кемп и Хеминг покинули труппу еще во время гастролей и перешли под покровительство лорда Хансдена. Но Хансден был лордом-камергером... Уильям тосковал о суровой прозе жизни, он давно устал от изливающегося на него бесконечного потока приторно-слащавой лести. Те из приятелей Гарри, кому удалось прочесть «Лукрецию» в рукописи, отзывались о ее авторе с томным подобострастием — ах, какое богатство образов, какая непревзойденная изысканность! Тем временем рукопись превратилась в гранки; примерно через неделю эти гранки станут книгой, и тогда свои чувства к автору начнут изливать студенты юридических школ и университета. В какой-то момент Уильяму показалось, что он видит себя как бы со стороны, пишущим стихи совершенно иного порядка: да-да, написано складно, но все надо перекроить, а то за словами теряется действие; я не могу этого сказать, это не в моем характере; а это еще что такое? Да брось ты, им никогда этого не понять. Он обрел форму, доказал самому себе, что способен на это, и теперь, похоже, собирался прочно обосноваться в золотой клетке, питаться марципаном (от которого у него и так уже болели зубы) и улаживать лордов изящными стансами. Подумать только, на какую головокружительную высоту может забраться простой

перчаточник! Весна всегда приносила с собой это беспокойство: все мысли Уильяма обращались к Стратфорду. Даже во время работы над «Лукрецией» перед глазами у него стояли образы Стратфорда. Итак, настала пора вернуться к истокам. Тот затон под Клоптонским мостом... Он непременно должен увидеть его снова! И показать Стратфорду себя — графского друга в красном плаще, французской шляпе и верхом на арабском скакуне.

Погожие весенние деньки, несколько дней в седле — Слау, Мейденхед, Хенли, Уоллингтон, Оксфорд, Чиппинг-Нортон, Шипстон-он-Стор — достаточно времени для того, чтобы привести мысли в порядок. Уильям наслаждался путешествием, как и подобает настоящему джентльмену, в кошельке которого позвякивают золотые монеты... А потом был подступающий к горлу ком. Хенли-стрит совсем не изменилась. Постаревшие отец и мать, Энн, с легкостью и достоинством несущая на своих широких плечах груз тридцати восьми прожитых лет, почти тридцатилетний Гилберт — по-прежнему очень набожный, время от времени страдающий падучей болезнью и потому неженатый — и Ричард, двадцатилетний юноша. Теперь уже детей в доме не было, их место заняли подростки: Гамнету и Джудит было по девять, Сьюзан — одиннадцать, а их дядюшка Эдмунд чудесным образом превратился в энергичного четырнадцатилетнего крепыша, у которого уже ломался голос. Время летело незаметно. Все чувствовали себя неловко в присутствии этого лондонца с усталыми глазами и редющими волосами, человека, называвшего себя сыном, братом, мужем и отцом. Его собственные дети были привязаны к Ричарду куда больше, чем к нему, и называли его дядюшкой Ричардом.

— Значит, ты добился того, чего хотел?

— Пока еще нет. Эти деньги так себе, мелочь. Все еще впереди.

— И когда ты вернешься навсегда?

— Скоро, очень скоро. И тогда я уже больше никогда никуда не уеду.

Чувство неловкости не оставило Уильяма и тогда, когда они с Энн оказались наедине в старой; спальне, из окна которой когда-то наблюдали за избиением ведьмы. В этой спальне Уильям тогда возненавидел жену. Они лежали рядом на той же кровати из Шотери, но их руки не были сплетены в объятиях. Что-то умерло в их отношениях тем душным летним вечером, когда актеры из труппы Тарлтона горланили песни в таверне, а бедная Мадж умирала от побоев. Этой ночью Энн все же заставила мужа совершить то, для чего он был ей нужен. Наутро Уильям сел в кровати и стал рассказывать разные истории своему сыну, с бесконечной нежностью

и любовью прижимая к себе худенького мальчишку.

— А какой он, этот Лондон?

— Ну, там живет королева, а еще там есть Тауэр и большая река. В Лондоне очень много улиц, и на каждой улице полно магазинов, где можно купить любую вещь, какая только бывает на свете. В лондонскую гавань приплывает много кораблей из Америки, из Китая, Сипанго и Московии, где живут русские.

— А я поеду в Лондон? — Когда-нибудь поедешь. А пока у тебя много дел и здесь. Ты должен помогать маме и заботиться о ней.

— Расскажи мне сказку, но только чтобы я там тоже был. Как будто она про меня!

Уильям улыбнулся:

— Ну, слушай. Давным-давно жил на свете один король, и был у него сын, которого звали Гамнет.

Уильям подумал о неудавшейся пьесе Кида: странно, какое созвучие имен! И о покойном лорде Стрендже, вещавшем своим по-деревенски хриплым голосом с северным акцентом: «Ну, я тебе сейчас такого Амлета устрою!» Это означало, что он был очень зол. Амлет был героем полузабытой йоркширской легенды, известной там еще со времен датского владычества; он притворился безумным, чтобы узнать, кто был убийцей его отца.

— Случилось так, что король-отец умер, но его призрак вернулся, чтобы сказать принцу, что на самом деле он умер не еврей смертью, а его убили. А убийцей был его родной брат, дядя Гамнета.

— А какой дядя — дядюшка Дикон, дядюшка Гилберт или дядюшка Эдмунд?

— Но это же просто сказка. Тот дядя хотел жениться на королеве и стать правителем всей страны.

— А, тогда это должен быть дядюшка Дикон.

— Почему дядюшка Дикон?

— Он сказал, что теперь, когда Уильям Завоеватель уехал в Лондон, он будет здесь королем Ричардом. А дядюшка Гилберт ответил, что королем должен быть он, потому что он старший, но дядюшка Дикон сказал, что короля Гилберта никогда не было, но он, если хочет, может стать... этим... как его...

— Епископом Кентерберийским?

— Ага, им. Но это же все понарошку. Дядюшка Дикон смеется, потому что это просто шутка.

Благополучно вручив все подарки и деньги, Уильям отправился

обратно в Лондон. В прозрачном свете весеннего дня он вдруг с пугающей ясностью осознал, каким великим таинством является для человека отцовство, и ужаснулся возложенной на него ответственности. Актер и драматург, он на мгновение попробовал представить себя на месте своего сына, невинного существа, которое явилось в этот мир из небытия и, возможно, обречено на тяжкие страдания. Гамнет родился после поспешного совокупления летним утром и был коронован тем венцом, которого для него никто никогда не просил. От родителей были сокрыты все циклопические механизмы, которые они, сами того не ведая, привели в действие посредством чужеродного проклятия. Это проклятие скрыто в подспудном «страхе перед розой, яблоком и зеркалом: все смертно — и цветок, и плод, и человек, который отражается в амальгаме. Свечи тоже следует бояться, потому что это огонь, неукротимая безумная стихия, участвующая во вселенском круговороте. Огонь и вода — вот главные составляющие этого потока, а человек является центром смерча, сердцевинкой гигантского цветка. Его убежище настолько крохотное, что кажется песчинкой в пустыне, над которой веет ветер времени...

Остановившись на ночлег в одном из трактиров Оксфорда, Уильям отрешенно думал о том, что вся Европа, все антиподы, Китай, и Сипанго, и даже сказочная Америка — все сотрясается под натиском богов. Собственное предназначение виделось ему в том, чтобы стоять у истоков бытия и перевоплощать фантазии в грандиозную и бессмертную реальность. А чем Уильям был занят сейчас? Он довольствовался чистой и спокойной жизнью придворного подхалима, заискивающе улыбался и угодливо расшаркивался перед своим господином...

Утром он проснулся, пытаясь запомнить ускользающий сон: в огромном лесу был лист или желудь, от прикосновения к которому из земли вырывался огненный поток. Огонь уничтожал все на своем пути, Уильям уже чувствовал обжигающее дыхание пламени, видел слепящий свет; и, когда его плоть, сердце и легкие обратились в бренный прах, весь мир вдруг залила вода.

Вода обновила вселенную. Река из плоти и крови текла по камням из родников, и русло ее было неглубоким и порожистым; кровь же Уильяма — не он сам, а его сын — питала собой старое трухлявое дерево. Сын Уильяма протягивал левую руку старому, прогнившему миру, а правой указывал на новые земли... Потом в этом сне играла скрипка, а музыкант притопывал в такт своей мелодии; на полу были свалены бурдюки, вино в которых никогда не иссякало; женщины в желтом неспешно исполняли фигуры какого-то старинного танца; завтрашний день представлялся

безоблачным и предсказуемым, лишенным фальши и лжи... Значит, его сын унаследовал способность останавливать настоящее? Он превращал дни в незатейливые картины и развешивал их на стенах домов; на одной такой картине оказался сам Уильям: он тонул, онемевшие руки сжимали деревянную перекладину, увлекаемую быстрым течением реки...

— Сэр, да вы сегодня сам не свой, — сказал ему утром хозяин трактира.

— Ерунда, просто я видел дурной сон. Приснится же такое...

— Мне надо съездить ко двору, — сказал Гарри, откладывая гранки «Лукреции».

Чистая жизнь придворного подхалима...

— Да, говорят, в последнее время там творятся какие-то странные дела. При дворе сейчас очень тревожно.

Еще бы! Уильям знал о том, что Гарри положил глаз на кого-то из королевских воспитанниц и теперь просто из кожи вон лезет, стараясь пробраться в этот восхитительный цветник. Так и должно было произойти, ведь жизнь не стоит на месте. Любовь к мужчинам и любовь к женщинам могут запросто сосуществовать. Более того, это просто необходимо.

— Весь этот шум из-за Лопеса, того лекаря, который, как выяснилось, оказался шпионом. Сам он еврей, выходец из Португалии.

— Я знаю, кто такой Лопес. Новости двора не минуют ушей даже смиренных поэтов.

— Королева поначалу даже слышать ничего не хотела, когда Робин пытался рассказать ей об измене. Ну зато теперь ей придется в это поверить. — По-девичьи красивое лицо Гарри светилось от восторга, это был восторг человека, удостоенного великой чести быть в самом центре событий. Глядя на друга, Уильям почувствовал себя немощным, уставшим от жизни стариком. — Лопес приговорен к смерти, и двое его сообщников, Тиноко и Феррара, тоже. Но, несмотря на все усилия Робина, королева до сих пор не приказала привести приговор в исполнение.

— Прежде чем ты уедешь, — медленно проговорил Уильям, — мне хотелось бы сказать тебе кое-что.

— Ладно, давай, только побыстрее.

— Мне кажется, что мое дальнейшее присутствие в этом доме нежелательно.

— Что? — Гарри разинул рот от удивления. — С чего ты взял? Разве я говорил тебе что-нибудь в этом роде?

— Нет. Но нечто подобное я слышал от твоего секретаря. Думаю, я его разочаровал. Гарри рассмеялся:

— Флорио уже давным-давно разочарован во всех и вся. Флорио есть Флорио. К тому же он просто мой секретарь, и не более того. — Он недовольно поджал губы. — Но я этого так не оставлю. Я немедленно велю позвать его сюда.

— Нет! Не надо, подожди. Я думаю, причиной здесь не сам Флорио, а ее милость. Она уже говорила с тобой?

Гарри почесал подбородок.

— Вообще-то матушка пыталась мне что-то ненавязчиво втолковать. Все твердила о том, что мы впустую потратили время на сонеты, эффект от которых, похоже, оказался прямо противоположным тому, на какой она рассчитывала. Что ж, ее тоже можно понять. Ведь она моя мать.

— Мать, которая больше не одобряет дружбу своего сына. Особенно теперь, когда его друг прекратил сочинять сонеты, посвященные прелестям брака. И еще мне кажется, что мастер Флорио догадывается, чем мы с тобой занимаемся.

— Глупости. Флорио сейчас озабочен составлением словаря. Ему не до нас. Думаю, ты зря беспокоишься.

Уильям сделал глубокий вдох.

— Все указывает на то, что мне лучше отсюда уйти. Я много об этом думал. Конечно, мой уход совсем не означает конец нашей дружбы, потому что я всегда был и буду твоим другом, куда ты сам будешь того хотеть. Но я выбрал свой путь в жизни, свое ремесло, и с открытием театров я должен буду вернуться к нему. Кое-кто видит во мне только поэта и забывает о том, что я актер. А актер не может жить здесь. — Он развел руками, указывая на роскошные портьеры, хрусталь и золотые инкрустации.

Похоже, Гарри был утомлен и раздражен этим разговором.

— Мы поговорим об этом в другой раз. Ты поднимаешь шум из-за какой-то ерунды.

— И еще я боюсь того, что ты сам скоро придешь и скажешь о том, что твои друзья смеются над тобой из-за того, что ты выбрал себе в приближенные лицедеи. А сэр Джек и лорд Робин, в силу необходимости, значат для тебя гораздо больше, чем бедный Уильям. Я еще должен доказать всем, что способен на большее. Мало обладать писательским талантом, ведь его в карман не положишь. Я должен работать, чтобы приобрести земные блага.

— Но у тебя уже есть моя любовь, — усмехнулся Гарри.

— За нее я тоже должен заплатить. И цена будет очень высокой.

Настало лето, и «Обесчещенная Лукреция» завоевала сердца знатных

читателей, снова поразив их воображение богатством образов, хотя многие люди увидели в этом произведении выраженную более четко, чем в предыдущей поэме, нравственную проблему и более жесткий и зрелый взгляд на добродетель (не кажущуюся добродетель неискушенных, но ту, что приобретается с возрастом). Уильям знал, что актеры, некогда игравшие в труппе лорда Стренджа, а ныне выступающие как «слуги лорда-камергера», объединились со «слугами лорда-адмирала» для выступления в театре «Ньюингтон-Батс», но, судя по слухам, дела там шли из рук вон плохо. Во время его пьес о зверствах римлян и об укрощении строптивой публика откровенно скучала, и представления проходили при полупустых залах. Так что Уильям благополучно оставался простым поэтом и по-прежнему жил в доме своего друга. Ворох сонетов в резном ларце продолжал расти. Все это были стихи, которые никогда не принесли бы Уильяму славы, да он попросту не отважился бы читать их на публике: сонеты были предназначены для одного-единственного читателя... Сидни^[41] рассказал всему свету о своей несчастной любви к леди Пенелопе Девере, сестре бравого Робина, лорда Эссекса; Дэндел^[42] опубликовал свою «Делию», а «Идея» Дрейтона^[43] уже давно ходила по рукам и зачитывалась до дыр; и хотя время от времени кто-нибудь поговаривал об «исполненных сладострастия сонетах господина Шекспира, имеющих хождение среди его самых близких друзей», но никакого подтверждения у этих слухов не было. Все-таки есть на свете вещи, которые не стоит предавать огласке.

Однажды жарким июньским днем Гарри сказал Уильяму:

— Собирайся. Сейчас мы поедем туда, где будут давать самое грандиозное представление. Ты такого в жизни не видал.

— Спектакль?

— Ага, можно и так сказать. — Гарри был возбужден. — И хватит вопросов!

— Уильям ни о чем и не спрашивал. — Это лучше, чем весь Сенека, вместе взятый. А названия этой пьесе еще нет. Его мы с тобой придумаем потом.

— А что за труппа играет?

— «Слуги ее величества». — Гарри захихикал. — Я уже приказал запрячь карету. Идем!

— Но последний куплет этого сонета...

— Оставь, сонет может подождать. Идем, а то еще опоздаем к началу.

Уильям чувствовал себя очень неловко, покачиваясь на мягких

подушках в богатой карете, запряженной четверкой серых лошадей. Карета покатила на запад от Холборна. Занавески на окнах были опущены, чтобы защитить седоков от любопытных взглядов толпы, а также от жаркого летнего солнца, которое могло повредить аристократической бледности Гарри. Уильям приподнял уголок занавески и увидел, что в том же направлении движутся шумные толпы народа. Люди на ходу жевали хлеб с чесночной колбасой, некоторые несли с собой выпивку. Это были плебеи, чернь, толпа.

— Похоже, — медленно проговорил Уильям, — мы направляемся в Тайберн^[44].

— Вообще-то я знал, что долго держать тебя в неведении не удастся. Сегодня в Тайберне будет разыгран незабываемый спектакль. Робина просто распирает от важности, он ходит надутый как индюк, и имеет на это полное право. Он все-таки доказал свою правоту и ошибку королевы. Этот придурок, который совсем недавно был лекарем, получил из Испании огромный бриллиант. И те двое его сообщников тоже не остались внакладе. Что ж, зато теперь-то они получают по заслугам!

— Ты должен был сразу предупредить об этом, — обиделся Уильям. — Я не хочу на это смотреть!

Гарри рассмеялся:

— Невинный младенец Уилл! И это говорит человек, который с таким смаком описал, как: Тарквиний залез на Лукрецию, а в «Тите» упомянул все прочие мерзости этого проклятого мира. Мечты же идут рука об руку с явью. И если ты получаешь удовольствие от одного, то должен; вынести и другое.

— Я не стану смотреть.

— Еще как станешь. Ты выпьешь эту чашу до дна.

Карета неспешно катилась по узенькой улице мимо ветхих домов и покосившихся лавчонок; снаружи доносились гулкий топот множества лошадей и крики толпы. Теперь уже карета продвигалась с трудом: кучер то и дело хлестал кнутом зевак, которые, пугали лошадей или пытались пощупать богатую сбрую; лакеи громко ругались. Со всех сторон; неслись испуганные крики и проклятия, но в этом противостоянии побеждал сильнейший, и неудачники оставались позади. В Тайберне Уильям и Гарри наконец раздвинули занавески, впуская в карету! солнечный свет, и еще какое-то время молча обозревали толпу зевак, томящихся под жаркими лучами солнца. Рядом стояли кареты знати, и на крышах некоторых из них удобно расположились богато одетые зрители. Кое-кто из господ устраивался на запятках, предварительно согнав оттуда лакеев; более

сдержанные благоразумно оставались в своих каретах. Все ждали начала казни...

— Я вижу Робина, вот он, — сказал Гарри, выходя из кареты. — Сегодня день его триумфа!

Юный Саутгемптон был прав. Около четырех лет назад Эссекс взял на службу Лопеса и сделал его своим агентом, потому что Лопес лучше, чем кто бы то ни было другой в Англии, знал, что происходит в Иберии. Однако Лопес завел обыкновение сообщать новости сначала королеве, а уж потом Эссексу, и тем самым сделал графа посмешищем для всего двора. Тогда Эссекс затаил злобу на Лопеса и даже выступил с обвинениями против него, за которыми последовала новая насмешка королевы; более того, это был уже явный упрек: значит, доктор Лопес покупал сильный яд и расплачивался за него испанским золотом? Неужели он задумал совершить убийство? Но настоящий яд скрывался в воспаленном воображении Роберта Девере, а вовсе не в лекарском сундучке маленького еврея, ставшего одним из приближенных королевы. И вот четыре года упорного труда дали свои плоды, и их финалом должен был стать этот солнечный июньский день.

— Это триумф! — повторил Гарри. — Я подойду к Робину. — Разряженный в пух и прах Эссекс в это время пил вино в компании своих подхалимов и заливался по-детски радостным смехом. — А ты оставайся здесь. И если не хочешь смотреть, то просто закрой глаза. — И он снова усмехнулся.

Осужденных было трое. Помощник палача опустился на колени и деловито стучал молотком, укрепляя одну из досок на помосте. Тут же, сложив мускулистые руки на груди и приосанившись, стоял и сам палач, очень похожий на вошедшего в образ Аллена, которому не было нужды ничего говорить, так как все было ясно и без слов. Высоко в небе, пронзительно голубом и прозрачном, словно хрусталь, кружили коршуны. Откуда-то со стороны послышался шум: приближались позорные повозки, за которыми в воздухе вырастали клубы удушливой пыли. Один из возниц — беззубый мужик с физиономией идиота — громко приветствовал своих знакомых, замеченных им в толпе. Люди закричали и стали плевать в неподвижные фигуры, привязанные к повозкам. Молодая женщина, стоявшая впереди Уильяма, начала подпрыгивать — отчасти для того, чтобы лучше видеть, отчасти чтобы дать выход охватившему ее нетерпению. Родители брали на руки детей и сажали их себе на плечи. Несколько других помощников палача притащили откуда-то огромный железный котел и четыре котелка поменьше, над которыми клубился пар.

Под смех и одобрительные крики толпы кипятков из котелков был вылит в большой котел. Один из подручных сделал вид, что собирается выплеснуть содержимое своей посуды на зрителей, стоящих у самого помоста; толпа всколыхнулась и в притворном испуге, смеясь, попятилась назад. Повозки тем временем достигли места казни. И теперь...

Это был Ноко. Или как его там звали? Ноко, нет, Тиноко. Чужеземное, какое-то языческое имя... Он должен был стать первым. Теперь этого дрожащего смуглого человека в белой рубахе грубо отвязали от повозки, сорвали рубаху. Палач поднял над головой нож — остро наточенное, до блеска отполированное лезвие сверкнуло на солнце; толпа ахнула и притихла. Палач отдал приказ, ведь в его обязанности не входило набрасывать веревку на тонкую длинную шею; это была работа первого подручного; Тиноко, с трудом передвигая ноги и дрожа от страха, под смех толпы был возведен на помост. За спиной у него, позади виселицы, на узком, грубо сколоченном подиуме уже дожидался палач. Это был помост на помосте. Палач был молод и мускулист; он зашевелил губами, ругаясь, и старательно затянул пеньковую петлю на шее своей жертвы. И затем Уильям увидел, как шевелятся губы обреченного, словно произносятся слова молитвы; Тиноко попытался молитвенно сложить дрожащие руки, но это ему так и не удалось. Петля была накинута и затянута; в наступившей тишине послышался хрип задыхающейся жертвы. Второй подручный резко выбил лестницу. Лишившиеся опоры ноги задергались в воздухе, но выпученные от ужаса глаза все еще моргали. И тут началось действие, требующее гораздо большей точности, чем ремесло Уильяма: не дожидаясь хруста шеи, палач подошел с ножом к висельнику и одним махом вспорол тому живот от сердца до паха. Быстро перекинул нож из правой руки в левую и затем погрузил свой окровавленный кулак внутрь качающегося тела. Первый помощник взял из рук наставника кровавый нож и осторожно вытер его о чистую ткань, в то время как взгляд его был прикован к рукам потрошителя. Палач вынул руку из разреза и поднял высоко над головой, так, чтобы видели все, окровавленное сердце; потом достал другой рукой грудку кишок. Толпа разразилась радостными криками; стоящая перед Уильямом женщина прыгала и хлопала в ладоши; малыш, сидящий на плечах у отца, равнодушно сосал палец, не понимая этих взрослых игр. Алая кровь лилась рекой. Потом, так как веревку предстояло использовать снова, петля была ослаблена, и истекающее кровью тело сняли с виселицы. Палач кинул сердце и внутренности в дымящийся котел и вытер руки полотенцем. Толпа стонала от восторга: своей очереди дожидались еще две жертвы... Подручные передали палачу тесак, который казался грубым и

неуклюжим по сравнению с предыдущим инструментом, но был таким же острым — это стало ясно по тому, как палач одним махом перерубил кости при четвертовании: сначала отлетела голова, потом руки и ноги. Превратившееся в обрубок тело было показано толпе, после чего все куски полетели в стоявшую у помоста корзину.

Следующим был Феррара — тучный, заплывший жиром толстяк. Когда его поднимали на помост, то его голая волосатая грудь дрожала, точно студень, тройной подбородок колыхался, а глаза закатывались, как у бесчувственной куклы. Это уже больше походило на комедию в духе Кемпа, Когда Феррару поднимали на виселицу, он визжал, словно резаный поросенок: «Нет, нет, нет!»

— потом принялся утробно реветь, когда у него на шее затягивалась петля. На этот раз палач замешкался: Феррара был уже мертв, когда в него вонзилось острие ножа. Сердце толстяка было огромным, заплывшим жиром, словно гусиная печенка; кишкам, казалось, не будет конца, они тянулись и тянулись розовой колбасой; толпа долго потешалась над комичным зрелищем обрубленных жирных, похожих на окорок, ног.

И вот, наконец, настал черед главного злодея. Доктор Родриго Лопес, еврей, Макиавел, маленький и черный, отчаянно гримасничал и что-то невнятно лепетал, словно больная обезьянка. Его лишили возможности сохранить хотя бы остатки благородства перед смертью: с него была сорвана вся одежда. Гляди, какой у него ...; сразу видно, что он такой же развратник, как и все эти проклятые иноземцы! Лопес молился, истерическим голосом выкрикивая священные слова на чужом языке. Нет, это он молится дьяволу, ведь «адонай» у них значит «дьявол»! И затем он крикнул на ломаном английском:

— Я любить королеф! Я любить она так много, как Езус Крист!..

Толпа покатывалась со смеху, но в то же время она была охвачена праведным негодованием: этот голый, похожий на обезьяну иностранец дерзает призывать Святое имя, да еще смеет, размахивая своим поганым членом, говорить о любви к королеве! Кончай его, не мешкай! И вот забившееся в предсмертных конвульсиях тело оросило землю — но не кровью. Потрясенные родители закрывали глаза своим детям. Один раз, второй, третий... Семя пролилось на руки палача, когда тот приступил к телу со своим тесаком и привычно ловко разделал труп.

Как и предсказывал Гарри, Уильям увидел все, испив чашу этого кровавого действия до дна. Поэт отвернулся, и его охватил ужас при виде смеющегося Гарри, жестами показывающего, что сам он отправляется вместе с победоносным Робинсом праздновать этот триумф, а Уильям может

отправляться домой в карете. Всю обратную дорогу Уильям был в растерянности и плохо соображал, что происходит, словно ехал на свою собственную казнь. Тем временем удовлетворенная толпа, растратившая без остатка весь гнев, начала редеть; небольшие семейные группки чинно расходились по домам.

Уильям проснулся оттого, что кто-то грубо тормозил его за плечо. Он так и не досмотрел странный сон, действие которого происходило в Пэрис-Гарден: огромный рычащий медведь терзал собак, те жалобно таякали, истекая кровью... обезьянка ехала верхом на собаке и визжала, но вскоре их настигли и сожрали бешеные псы... маленький! мальчик убегал от медведя, на его голове виднелись кровоточащие следы от острых когтей... Пэрис-Гарден был райским садом, вместилищем невинного блаженства: такое откровение Уильям получил в этом сне. Он открыл глаза и увидел Гарри, держащего в руке свечу в серебряном подсвечнике. Гарри был пьян и пребывал в хорошем расположении духа.

— Итак, папаша, как дела? Как тебе представление? Понравилось сидеть в ложе для почетных гостей?

Он поставил свечу на бюро. Бодрый, неотразимый, сотворенный Господом раньше, чем нравственность, Гарри упал на кровать, на которой лежал его поэт. У графа был такой вид, как будто он только что возвратился из райского сада и еще не успел расстегнуть камзол. Но тем вечером Уильям был в силах противостоять ему. Укрывшись одеялом с головой и дрожа всем телом, он ответил:

— Я устал. Мне очень плохо.

— Плохо ему! Тебе и должно быть плохо. Сначала казнь через повешение, а потом им еще вдобавок и кишки выпустили! — Гарри тихонько засмеялся. — А мы сегодня провели замечательный вечер в компании шлюх. Но не в Ислингтоне, нет. Ты был прав насчет этой трактирщицы из Ислингтона. Так что сначала мы были с девками, а потом я вдруг вспомнил о своем старом милом папаше, которому, наверное, тут скучно одному. — Гарри провел рукой по волосам Уильяма, длинным и шелковистым на затылке и редющим надо лбом, и собрал их в горсть. И настойчиво потянул.

— Отстань, оставь меня в покое. Мне очень плохо...

— Правильно, так и было задумано. А сейчас будет еще хуже. — И Гарри снова дернул его за волосы.

Изловчившись, Уильям приподнялся, чтобы перехватить его руку, и сказал при этом:

— Иногда я не чувствую к тебе ничего, кроме гнева и отчаяния.

— Да, да, пусть это будет гнев. Но только один гнев, без отчаяния. Гнев, гнев, гнев... — У Гарри были длинные ногти; он вонзил кончики пальцев свободной руки в голую грудь Уильяма. — Я хочу выцарапать все, что у тебя там засело. — И он медленным царапающим движением повел руку вниз. Уильям вскрикнул и перехватил. Теперь он крепко сжимал обе трепетные, по-девичьи нежные ручки.

— Если ты сейчас же не оставишь меня в покое, то, думаю, мне лучше отсюда уйти и поискать ночлега в какой-нибудь таверне!

— Нет, никуда ты не пойдешь. Ты останешься: это приказываю тебе я, твой господин.

И на этот раз, как, впрочем, и всегда, Уильям обмяк и сдался. Гарри же начал вести себя еще более агрессивно.

— Умереть, умереть! — Акт умирания должен был произойти чуть позднее, и Уильям заранее знал, что после того, как это свершится, он возненавидит себя еще больше.

ГЛАВА 5

— Я же предупреждал, что ни к чему хорошему это не приведет. Я все время твердил тебе об этом. Ты же ничего и слышать не хотел.

Гарри с истерическим криком швырнул книжку на пол. Это была тоненькая книжонка в дешевом переплете, ее обложка уже почти отлетела. Уильям, сохраняя спокойствие и в душе даже немного радуясь такому повороту событий, поднял книжку. Это была поэма анонимного автора, озаглавленная «Уиллоуби, его Авиза, или Правдивый портрет скромной девы и целомудренной и верной жены». Уильям догадывался, кто мог написать это или, по крайней мере, стоять за ее сочинением. Стиль поэмы ничем не напоминал пафосный, тяжеловесный слог Чепмена, но ведь Чепмен запросто мог продать эту тему какому-нибудь спившемуся рифмоплету или магистру искусств. Тем более, что продать такую книгу не составляло никакого труда. Уильям принялся листать страницы и наткнулся на крохотный островок прозы, такой же неудобоваримой, как сыр с черным хлебом:

«Генри Уиллоуби, внезапно пораженный любовным недугом, виной которому стала прекрасная А., сначала страдает в одиночестве, но затем, будучи не в силах угасить неукротимый пожар, пылающий в его сердце, по секрету сообщает о своих чувствах своему близкому другу Уиллу, который и сам незадолго до этого пережил нечто подобное...»

Это был чистейший вымысел от начала и до конца, и все-таки среди всей этой словесной трухи скрывалась крупинка истины. В поэме рассказывалось о благочестивой и прекрасной трактирщице, достойно отражавшей все посягательства на ее добродетель. Так кто же еще мог послужить прообразом для этого Генри Уиллоуби, как не сам Гарри Ризли? А чтобы не оставалось никаких сомнений относительно личности Уильяма, книжка содержала прозрачные намеки на его близость к актерскому ремеслу: «...Вряд ли кто-то другой сможет сыграть его роль лучше его самого... развязка больше подходила для этого нового актера, чем для актера прежнего... в конце концов эта комедия превратилась в трагедию, причиной чему стало безрадостное, плачевное положение, в котором оказался этот самый Генри Уиллоуби...» И вот самый прямой намек: «... Все привязанности и искушения, которые только мог измыслить для него безумный Уилл...»

— Ну вот, теперь пойдут разговоры, — сказал Уильям, откладывая

книжку на стол у окна.

За окном виднелся желтеющий платан, слышался громкий щебет ласточек. Еще одна осень, конец лета, но, возможно, на этот раз она будет означать конец его рабства у Гарри. Рабства, но не дружбы; Уильям был по-прежнему очень привязан к этому юноше, любил его, как собственного сына, как себя самого. Просто закончатся тайные обьятия, та роковая любовь, что заставляла его ненавидеть самого себя и вроде бы пошла на убыль после того июньского безумия. Уильяму казалось, что так и должно быть. Что же до Гарри, то он уже не считал нужным скрывать своего интереса к хорошеньким королевским фрейлинам. И Уильям продолжал давить на его больную мозоль. Он сказал:

— Наверняка милорду Бэрли все это донесут. Гарри злорадно ухмыльнулся в ответ:

— А милорд Бэрли и так уже все знает. Мой опекун выдвинул мне грозный ультиматум.

— Ультиматум? Когда это было? — В последнее время Уильям был слишком занят своими театральными делами и не замечал ничего, что происходит вокруг.

— Он дал мне последний шанс. Так что или женюсь на досточтимой леди Лизе — чтобы треснула ее прыщавая рожа! — или мне придется заплатить штраф. Так сказать, возместить моральный ущерб за разбитое сердце моего опекуна и за обманутые надежды этой прыщавой суки.

— Штраф? Деньги? Ты должен заплатить деньги?

— Пять тысяч фунтов.

Уильям присвистнул в лучших традициях стратфордского простолюдина, не имеющего представления об этикете.

— И что ты теперь собираешься делать?

— Я найду деньги. Хотя, конечно, это будет непросто. Но я согласен заплатить в десять раз больше, лишь бы только не ложиться в одну кровать с этой уродиной. Я ни за что не женюсь!

— Не исключено, — осторожно заметил Уильям, — если все это действительно так, то тебя могут заставить жениться и против твоей воли. Любовь прекрасна, но так уж распорядилась природа, что у удовольствий могут быть нежелательные последствия, которые не имеют никакого отношения к собственно любви.

— Вот только не надо примерять собственное прошлое к моему будущему! Тебя-то заставили жениться из-за того, что у нее брюхо на нос полезло...

— Да? А разве благородные лорды в этом смысле чем-то отличаются

от простых стратфордских перчаточников?

Гарри подошел к винному столику и налил себе кубок кроваво-красного вина; это было его любимое вино, в последнее время он все чаще воздавал должное этому напитку; Уильяму он выпить не предложил.

— Не думаю, что тебе нужно разговаривать со мной подобным образом, — сказал он. — Иногда мне кажется, что причина моих неудач кроется именно в чрезмерной фамильярности. Не в моем неподчинении тем, кто поставлен надо мной, но в моем собственном поведении с теми... Ну да ладно, не имеет значения. — Он жадно осушил свой кубок.

— До сих пор я ни разу не дал тебе повода для упреков в непочтительном отношении к твоей милости, — сказал Уильям, — и можешь быть уверен, что и в будущем беспокоиться на мой счет тебе не придется. Я никогда не таскался с тобой по тавернам в поисках приключений. Я постарался положить конец твоей дурацкой интрижке в Ислингтоне. И уж тем более я никогда не вставал в горделивую позу, прекрасно понимая, что ничего, кроме упреков и недоброжелательства, мне это не принесет. Я не такой дурак. Наедине мы друзья, но в присутствии посторонних я всего лишь смиренный слуга, такой же, как мастер Флорио. Но больше я им не буду. Эта книга подсказала мне, что делать. — Он держал «Уиллоуби и его Авизу» обеими руками, как будто собирался ее разорвать. — Тебе нужны пять тысяч фунтов? Будь я в состоянии добыть такие деньги, я не задумываясь отдал бы их тебе. Ты станешь закладывать земельные угодья своего рода, но ведь это неправильно, так не должно быть. Я уйду, чтобы перестать зависеть от тебя и от изящной поэзии. При следующей нашей встрече мы уже будем говорить почти на равных.

— Ишь куда хватил, — с усмешкой покачал головой Гарри. — Равными мы с тобой не будем никогда. Тебе не получить графского титула. Графом нельзя стать за лицедейство в театре, за скупку муки для голодающих или за выкуп чужой закладной. Титул передается по наследству, и его нельзя отобрать. — Он налил себе еще вина, но на этот раз протянул Уильяму второй кубок. Уильям только покачал головой, сказав при этом:

— Я предвижу, что настанут времена, когда за деньги можно будет купить все. Ведь деньги уже сейчас правят этим городом. Я предвижу время, когда обедневшие аристократы в заплатанных одеждах будут почитать за счастье породниться с семьями презренных торговцев. Я хочу подняться как можно выше и в конце концов стану джентльменом. Тебя же этот путь наверх может привести только к закату.

— Что ты имеешь в виду?

— Все. Больше я ничего не скажу. Возьми для примера хотя бы опыт милорда Эссекса.

— Я не собираюсь брать для примера его опыт! Ни его, ни кого-либо еще,

— с неожиданной злостью воскликнул Гарри. — И вообще, я не собираюсь слушать, как всякие деревенские ничтожества рассуждают о знатных лордах так, как если бы те были им ровней. Так что лучше занимайся своими пьесками для балагана, а в государственных делах мы разберемся и без тебя.

Значит, лорд Эссекс не только придворный, но уже и государственный муж? И какой же будет его следующая должность?

— Мне кажется, — натянуто сказал милорд Саутгемптон, — тебе пора идти. И заberi с собой эту вонючую книжонку. Хотя нет, оставь, я прочту ее еще раз. Встретимся сегодня вечером. Возможно, к тому времени мы оба успеем осмыслить все это и прийти в себя.

Уильям усмехнулся:

— Увы, милорд, меня ждут другие дела. Такова уж жизнь актера. Но вот завтра, если, конечно, ваша милость пожелает нанести мне визит, я буду к вашим услугам. Вот, я записал тут адресок на бумажке, дом и улица. От Ходборна до Бишопсгейта, можно сказать, рукой подать.

Гарри запустил книгой в своего друга. Еле державшаяся обложка наконец отлетела совсем; все-таки переплет был очень дешевым и ненадежным, не чета работам Ричарда Филда, еще одного удачливого выходца из Стратфорда.

Подальше от реки. К северу от шумного базара и больших домов, где селились торговцы и лавочники. Даже севернее городской стены и прелестных летних домиков, находящихся за ней. Здесь, в Шордиче, так легко дышится... «Театр» превосходит «Розу» во всех отношениях. Старый Бербедж предприимчив и знает свое дело ничуть не хуже Хенсло, к тому же он старый актер, хотя, насколько я могу судить, не слишком талантливый. Но вот его сын, этот Ричард, подает большие надежды. Возможно, со временем он даже затмит Аллена... Кстати, уж не родственник ли этот Джайлз Аллен, от которого старому Бербеджу в свое время достался этот участок земли, нашему неотразимому Неду? Такое вполне возможно. Это было в 1576 году. Аренда на двадцать два года. Крохотный клочок земли, пустырь, где не было ничего, кроме пожухлой травы и собачьего дерьма. Говорят, здесь даже находили человеческие кости. Миленькое дело — увидеть в земле скалящий зубы человеческий череп... А теперь тут стоит прекрасный театр. Так, двадцать два года...

Срок аренды истекает в 1598-м, значит, осталось еще четыре года. Интересно, продлит ли этот Аллен договор? Я бы на его месте не стал. Но ведь театр делают люди, а не стены. «Слуги лорда-камергера». Тут подобралась отличная труппа: Ричард Бербедж, Джон Хеминг, Том Поп, Гарри Конделл. И неужели Уилл Кемп тоже здесь? Хотя иначе и быть не могло, ведь мы с ним, два Уилла, всегда были вместе. Но только он никак не оставит своей дурацкой привычки нести отсебятину на сцене всякий раз, когда забывает или вовсе не знает текст. Кемп слишком нахален и считает себя выше всяких там поэтических условностей... Но каждому свое. Если кровь и убийства (а пока эти явления существуют, я буду о них писать) — удел Дика Бербеда, то амплу Кемпа — низменный смех над собакой, задирающей ногу у столба. Мы будем зарабатывать деньги всевозможными путями, в том числе вытрясать их из карманов юных лордов, торопливо записывающих мои изречения в свои тетрадки... Театр «слуг лорда-адмирала», что теперь находится в старой «Розе», больше напоминает обыкновенный трактир, но все-таки у них есть репертуар — «Фауст», «Мальтийский еврей», «Тамерлан», «Гиз» и еще много чего. Мои пьесы там тоже играют — и «Гарри», и «Тит», и «Строптивая», и даже та дурацкая пьеса, халтурная подделка под Плавта. Теперь самое главное — быстро и много работать, чтобы успеть до Рождества... Ничего не теряй — и многое обрешь. Если бедный лекарь-еврей продолжает доставать их и с того» света, то зачем тогда — *Christophero gratias* — вообще вводить его в пьесу и делать местом действия макиавеллиевскую Италию; тем более что Италия прекрасно подойдет для другой пьесы о вражде двух семей. За основу здесь можно принять бесталанную поэму Брука, а вдохновиться приятелями Гарри братьями Данвер и их давней враждой с семейством Лонг. Да и для имени Монтегю — а если на итальянский манер, то Монтекки, — принадлежащего роду Саутгемптонов, место в пьесе тоже найдется.

Итак, я актер, полноправный актер (и я им нужен, разве нет?). Но это еще только начало!..

Позвольте мне перевести дух, дайте хлебнуть вина, потому что, Боже мой, Смуглая леди уже совсем близко. Еще немного — и она появится на сцене... Уильям впервые ее увидел, когда шел из Бишопсгейта в церковь Святой Елены. Она вышла из кареты перед домом недалеко от церкви: дама в опущенной вуали, в сопровождении служанки. Дул порывистый осенний ветер, на какие-то доли мгновения ее вуаль приподнялась, и Уильям увидел это дивное лицо. Смуглая кожа под вуалью казалась золотистой, словно сияющей изнутри. Ему вспомнилась другая осень, та давняя осень в

Бристоле, вспомнилось жгучее чувство стыда. Тогда юного Уилла вышвырнули из борделя с темнокожими шлюхами из-за того, что у него не оказалось при себе нескольких серебряных монеток. Теперь было все иначе. Смуглая женщина была совсем не похожа ни на содержанку, ни на сводню... Новенькая карета, запряженная парой холеных чубарых коней. Толстый кучер неспешно слез с облучка. Дверь дома распахнулась, и взгляду Уильяма открылись некоторые детали, говорящие о зажиточности хозяев, — портрет в золоченой раме на стене прихожей, столик с серебряным канделябром... И затем чудесное видение исчезло. Неужели это лишь показалось? Они репетировали «Ромео» в «Театре», и во время перерыва Уильям спросил про эту смуглую даму у старого Джеймса Бербеджа. Старик, оказывается, знал о ней; он вообще знал все, что происходило в Шордиче и его окрестностях.

— Про нее ходит много домыслов и легенд, — заговорил Бербедж в присущей ему порывистой манере. — Сама же она говорит (по крайней мере, так утверждают те, кому она якобы сама это рассказала), что родом она из Ост-Индии, а в Англию ее привез еще ребенком сам сэр Фрэнсис Дрейк на своей «Золотой лани», которая ныне почилла близ Дентфорда. Говорят, что мать и отец этой девушки были маврами, выходцами из тамошнего знатного рода, и что их убили люди Дрейка. Так она осталась круглой сиротой. Из жалости ее взяли с собой в Англию и подыскали ей здесь новую семью. Еще говорят, что Тайный совет выдал одному бристольскому джентльмену круглую сумму на ее воспитание, чтобы она стала настоящей английской леди. Что ж, англичанкой ее не сделает даже чудо. Но вот что касается леди...

— Бристоль? Вы сказали, Бристоль?

— Так говорят все, но можно ли этому верить... Я точно знаю, что одно время она жила в Кларкен-веле, в доме «Лебедь» на Тернбул-стрит, и что у нее были знакомые среди джентльменов из «Грейз-Инн». Дамочка она состоятельная, при деньгах, это сразу видно, но вот как ей эти деньги достались — вопрос спорный. Если ей верить, то выходит, что тот джентльмен из Бристоля, ее приемный отец, умер и оставил ей кое-что в наследство. Звучит правдоподобно. Особенно для тех, кто не знает о нравах бристольских работаровцев. Так что и приемная семья, и эта якобы наследство...

— А как ее зовут?

— Имя у нее иностранное, языческое, кажется, магометанское, но здесь она живет под христианским именем. Кажется, я слышал, как ее называли госпожой Люси. Она приходила к нам в «Театр» всего один раз,

под полумаской, с золотым футлярчиком с духами в руке, закрытая вуалью, как истинная христианка и благородная леди. Ей, по-моему, года двадцать два-двадцать три.

Уильям понимал, что предаваться старым фантазиям неправильно и даже вредно, тем более сейчас, когда он так решительно настроен обеспечить себе блестящее будущее. Но ноги сами несли его к тому дому, где жила смуглая леди, и всякий раз, отправляясь поутру на прогулку, Уильям придумывал новые причины, чтобы пройти мимо того места. Колокол церкви Святой Елены был для него напоминанием о существовании этой милой особы, которая прежде была язычницей или магометанкой, а теперь жила под сенью христианского храма. Так что же он хотел узнать? Чем эта странная смуглая дама занимается в этом прекрасном доме? Возможно, смуглая леди напомнила Уильяму его давнюю мальчишескую мечту о богатстве, морских путешествиях и экзотических островах. И юность, его юность, которая теперь сохранилась только в пьесах и поэмах, юность, безвозвратно ушедшую от него за время дружбы с Гарри... А ведь еще столько лет прошло в бедности и обучении перчаточному ремеслу, а потом была поспешная женитьба на строптивой девице, которая обвела юношу вокруг пальца... В мечтах Уильям видел себя помолодевшим на десять лет, стоящим на площади у фонтана, со шпагой в руке — этаким знатным красавцем влюбленный. Однако в зеркале на стене его комнаты по-прежнему отражалось усталое лицо с потухшими глазами и большими залысинами надо лбом. Созерцание белого листа бумаги приносило Уильяму куда больше удовольствия, чем разглядывание своего отражения в голубоватом стекле. Он дописывал последние сцены новой пьесы, слова складывались в остроумный стих словно сами по себе (ах, молодость, любовь!). Все получалось очень мило и изысканно, в духе Грина и Марло, и вовсе не походило на низкопробные вирши халтурщика-рифмоплета. Неужели он замахнулся на слишком многое — быть поэтом и одновременно благородным джентльменом? Вряд ли можно так много требовать от этого ненадежного, эфемерного мира...

Он увидел свою смуглую леди снова, на этот раз без вуали. Осенью, погожим ноябрьским днем. Было тепло, пригревало солнце, и казалось, что снова пришла весна. Проходя мимо заветного дома, Уильям привычно посмотрел в окно и увидел там девушку. Она стояла перед раскрытым окном, опершись локтями о подоконник, зачарованная великолепием солнечного утра. У девушки были худые, но очень изящные руки; на плечи был накинут белый шерстяной платок, защищающий от утренней прохлады; глубокое декольте платья открывало соблазнительную и

манящую ложбинку между грудями. Что же до ее лица, то оно имело большое сходство с лицом той, другой темнокожей девушки, с которой Уильяму пришлось столкнуться в свое время: тот же широкий, хотя и не лишенный изящества нос, пухлые губы... У смуглой леди были темнокarie глаза, живой и пронизательный взгляд, но Уильяму почему-то показалось, что эти влажные глаза могут быстро наполняться слезами. Она разговаривала с кем-то стоявшим у нее за спиной и невидимым с улицы, возможно со служанкой. Разобрать слова было невозможно, но Уильям заметил, что девушка надменно улыбается. Она знает себе цену, в этом не было никакого сомнения. Уильям стоял и жадно пожирал ее взглядом. Ее глаза, до того лениво созерцавшие почти пустынную улицу (ну, играли там двое мальчишек, проехал на белом коне толстяк, с виду похожий на турка, прошел ремесленник...). Наконец глаза смуглой леди встретились с его глазами; Уильям постарался задержать ее взгляд; она же, похоже, смутилась: засмеялась, поспешно отвернулась и захлопнула окно.

Больше он ее не видел, по крайней мере до Рождества, но в ту пору у него было полно других забот, так что времени на любовные грезы попросту не оставалось (и все-таки, проходя мимо ее дома и кутаясь в полы теплого плаща, Уильям нет-нет да и задавался вопросом о том, где она может быть: не заболела ли? не уехала ли из города навсегда? а что, если она бывает в Англии лишь время от времени, наездами?). Как Уильям и предполагал, его «Ромео» произвел настоящий фурор: школяры из «Грейз-Инн» попросили разрешения поставить у себя на Рождество «Комедию ошибок», «Театр» был у всех на слуху, а знатная публика назвала это заведение «обителью музы милейшего мастера Шекспира». Четвертого января (незадолго до этого Уильям начал вести дневник, потому и запомнил точную дату) ему домой нанес визит Гарри.

— Ну вот, — говорил Гарри, расхаживая по темной каморке и ища взглядом кувшин с вином, — наши отношения снова становятся доверительными. Леди Лиза выходит замуж за милорда Дерби, да хранит их Господь, ибо эти двое стоят друг друга; так что мой суровый опекун в последнее время гораздо реже и с меньшей настойчивостью, чем прежде, напоминает мне о пяти тысячах фунтов. Хорошо еще, что я не слишком торопился их ему отдать.

Эти слова заставили Уильяма насторожиться. А что, если... Но можно ли...

— Этот старый греховодник вчера почтил своим присутствием «Грейз». Вообще, там народу собралось много, и между «Грейз» и «Темплом» произошел этот скандал. Ты наверняка уже слышал об этом,

потому что в ту ночь — как они теперь ее сами называют, «ночь ошибок» — пострадала не только твоя пьеса.

— До меня дошли кое-какие слухи, но сам я при этом не присутствовал.

— В «Грейз» устроили пародию на королевский прием при дворе принца Пурпула, куда якобы был приглашен посланник королевства Темпларии — так они назвали «Внутренний темпл». Но приглашенных оказалось слишком много, и поэтому случилась большая давка, а самому послу здорово намяли бока. А вчера вечером была разыграна сценка, в которой «Грейз» и «Темпл» помирились и снова стали друзьями. Чушь собачья. Принц Пурпул отдавал всем своим подданным приказания идти в «Театр», где им живо вправили бы мозги поучительными строками «сладчайшего мастера Шекспира». — Гарри рассмеялся. — Выпивки там было — залейся, я даже блевал. Их приторно-сладкое вино прямо так и рвалось обратно.

— Выглядишь ты замечательно, как всегда.

— Ага, но этого не случилось бы, если бы тогда рядом со мной был мой милый и рассудительный папаша.

Уильям усмехнулся:

— И всегда здесь. Или в театре. А ты сейчас, наверно, целыми днями занят при дворе, так что времени на всяких убогих актеришек у тебя просто не остается.

— Что верно, то верно. Знаешь, среди этих придворных... Ну да ладно, не важно. Все они лицемеры. — Он налил себе вина, отпил глоток и глубокомысленно изрек: — Забористое пойло! Нужно будет прислать тебе Канарской мадеры. У меня есть замечательная мадера, к тому же не очень сладкая. — С этими словами он осушил свой бокал, поморщился и затем как бы между прочим спросил: — Послушай, а кто такая эта аббатисса из Кларкенвела, о которой все так много говорят?

— Аббатиса?

— Ну да, на пирушке в «Грейз» упомянули какую-то аббатису из монастыря в Кларкенвеле. Чушь какая-то! Будто бы она подбирала хор из монахинь для исполнения заубойных песнопений или чего-то в этом роде во время коронации этого самого принца Пурпула. Кажется, по ходу представления ее называли Люси Негро или как-то так.

Это сообщение Уильяму совсем не понравилось.

— Негро? Вообще-то, тут есть одна леди, можно сказать, еще совсем молоденькая девочка, она живет неподалеку от церкви Святой Елены. Ее зовут... — Он осекся и тут же поспешил добавить: — Но я совсем ничего о

ней не знаю. А вот в Кларкенвеле действительно есть черные женщины. Старые вонючие лахудры, с ними лучше не связываться. По крайней мере, мне так говорили. Самому мне с ними встречаться не приходилось.

— Тебе сейчас ни с кем встречаться не приходится. Ты по уши в работе, только и думаешь, как бы загрести побольше денег.

— Мы оба сейчас заняты, каждый играет в своем театре. — Уильям нервно сглотнул и добавил: — К тому же у меня возникли трудности: нужно покупать пай в нашем товариществе, так мы называем свой театр. Я одно время подумывал даже о том, чтобы обратиться за помощью к тебе.

— Что это еще за пай такой? Никогда не слышал ни о чем подобном.

— Это взнос, дающий право на последующее получение определенного процента с прибыли театра. Сейчас дела у «Театра» идут хорошо, а в скором времени должны будут пойти еще лучше.

Гарри допил вино.

— Что ж, рад за тебя, — беззаботно сказал он. — Надеюсь, ты преуспеешь на своем поприще. Кстати, нужно будет все-таки не забыть прислать тебе хорошей мадеры.

И тогда Уильям набрался храбрости и решил говорить без обиняков.

— Но денег для этого требуется гораздо больше, чем я рассчитывал. Я теперь даже не знаю, у кого их занять. Мне нужна тысяча фунтов.

Гарри от неожиданности присвистнул:

— Однако... Оказывается, дела в театральном бизнесе обстоят гораздо серьезнее, чем я предполагал. Тысяча фунтов — сумма внушительная.

— Но к кому еще, кроме тебя, я могу обратиться?

— Ну да, — усмехнулся Гарри, — теперь я припоминаю тот наш разговор.... Ты тогда заявил, что намерен сколотить состояние и что когда-нибудь обнищавшие аристократы в лохмотьях будут стремиться к тому, чтобы породниться с семьями содержателей балаганов.

— Ничего подобного я не говорил.

— Мне тогда и в голову не могло прийти, что твои новые богачи станут таковыми посредством того, что будут кланчить деньги у старых богачей.

— Должен же быть начальный капитал. А что еще, кроме земельных угодий, может быть начальным капиталом? И кому принадлежит земля в этом королевстве?

— Нам — тем, кто ею владеет.

— Изначально земля была общей, но потом пришли завоеватели. Эта несправедливость не может длиться вечно.

— Ты чем-то недоволен?

Уильям густо покраснел.

— Некоторые так считают. Я всем доволен, меня все устраивает. И сейчас я просто пытаюсь подобрать слова, чтобы попросить помощи у друга.

— Значит, тысяча фунтов? В займы? Уильям говорил, взвешивая каждое слово:

— По-моему, одалживаться у друга не вполне удобно.

Гарри улыбнулся и продолжил:

— А что такого? Я могу предложить тебе совсем необременительные условия

— ну, скажем, десять процентов.

Уильям тоже улыбнулся в ответ:

— И отрезать от себя фунт мяса, чтобы оставить тебе в качестве залога? Великодушие вашей милости безгранично! Кстати, я всегда считал вашу милость примерным сыном Церкви, которая осуждает ростовщичество.

— Да ты погляди на себя, откуда на этих костях возьмется фунт мяса? Да без меня ты тут окончательно отощал! — Гарри неожиданно ткнул Уильяма в бок своими униженными перстнями пальцами; молодой человек, прокутивший всю ночь на веселой пирушке, был и наутро полон сил. Друзья принялись шутливо бороться, как в добрые старые времена; вино из опрокинутого бокала разлилось по дощатому полу.

ГЛАВА 6

4 января Безумие, безумие, полнейшее безумие... После ухода Г. ко мне ввалился Дик Бербедж, потный и разгоряченный, несмотря на морозную погоду, и прямо с порога объявил мне оглушительную новость о том, что нашей труппе велено дать представление на свадьбе графа Дерби и отвергнутой Г. леди Лизы. Невероятно комичная и причудливо переплетенная цепь совпадений! Наша жизнь порой подкидывает такие события, что драматург начинает ощущать себя более милостивым вершителем судеб, чем сам Господь Бог или Провидение, короче, те, кто правит всем этим безумным миром. Безумие сейчас во всем, даже в нехватке отпущенного нам времени. До представления в Гринвичском дворце осталось всего три недели! Что ж, позволим себе поваляться на неубранной постели и пораскинуть мозгами в поисках других совпадений. В пылу борьбы Г. уронил с моей полки пару книг, среди них была и книжка Чосера: она упала и раскрылась на той странице, где благородный герцог Тезей женится на королеве Ипполите. Второй книжкой оказалась только что изданная свадебная песнь Эдмунда Спенсера^[45], где есть, например, такой пассаж:

И пусть ни Пэк злокозненный, ни духи, Ни домовые, ни шалуны
ведьмы, — Все те, кого нам видеть не дано, —

Пусть небылью своей не докучают^[46].

Итак, еще какое-то время я просто неподвижно лежал на спине, глядя на танцующие в очаге языки пламени, и это зрелище навело меня на мысль о танцующих феях. А затем пришло на ум имя Основа^[47]: оно как нельзя лучше подойдет персонажу, который станет карикатурой на Неда Аллена. Я даже засмеялся от удовольствия. Потом сел за работу. На улице шел снег. (Я не могу использовать близнецов Плавта, потому что для большинства зрителей такое откровенное переименование будет очевидно; так что козни незадачливым влюбленным у меня будет строить сам шаловливый дух Пэк, или Пак.) Все это время Дик Бербедж притопывал, пытаюсь согреться, дул на окоченевшие пальцы и чертыхался. Мне же было жарко, словно за окном стояла душная летняя ночь. Сон в летнюю ночь... В следующий момент у меня уже было готово название для новой пьесы.

6 января По пути в таверну я видел ее... Под моими ногами скрипел снег. Она либо недавно откуда-то вернулась, либо первый раз встала с

постели после болезни. Наверное, ей очень трудно переносить такие холода... Она стояла у окна и во что-то зябко куталась: на фоне снегопада ее смуглая кожа казалась тусклой и невыразительной, и мою душу переполнила жалость. Я не могу поверить в то, что шалопаи из юридических школ насмеялись над ней не только из-за цвета ее кожи; мне не хочется верить, что она — одна из черных шлюх Кларкенвела. Она же просто смуглая, но не негритянка... Проходя мимо ее окон, я набрался наглости и помахал ей рукой, но она не заметила этого или же сделала вид, что не обратила внимания. Дома я снова принялся рифмовать строки любовных сцен. Получилось топорно, даже очень, но времени на то, чтобы сочинить что-нибудь получше, уже нет. Я вложил эти дурацкие вирши в уста Оберона и подумал о том, что неплохо было бы предстать перед моей смугляночкой из окна в образе благородного господина... Нужно будет попросить кого-нибудь из мальчишек посмышленее сыграть роль моего слуги.

9 января В «Театре» по утрам уже идут репетиции. Репетируют одновременно несколько групп, у каждой группы свой эпизод: только так можно уложиться в невероятно сжатые сроки, отведенные на подготовку. Моя пьеса состоит из нескольких сцен, объединенных общим сюжетом.

Сегодня мне впервые представился случай оказаться с ней лицом к лицу и даже — при одной только мысли об этом мое сердце начинает бешено колотиться!

— даже заговорить. Я как обычно шел к себе, когда ее карета поравнялась со мной. Но тут со стороны улицы, ведущей к Спайтлфилдс, появился джентльмен верхом на коне. Неожиданно лошадь под ним поскользнулась и рухнула вместе со всадником в зловонную мешанину из снега и нечистот, напугав тем самым пару в упряжке. Лошади моей смуглянки захрапели, испуганно заржали и шарахнулись в сторону. Я проявил необычную для себя прыть (хотя потом долго не мог отдышаться от такого рывка) — бросился вперед и схватил под уздцы ближайшего из ее коней, бормоча при этом какие-то ласковые слова. Ее кучер спустился с козел, потом в окошко кареты выглянула ее служанка, а потом и она сама откинула с лица вуаль, чтобы узнать, в чем дело. Тогда я подошел, снял шляпу и учтиво поклонился.

— Ничего страшного, все в порядке, там просто оступилась лошадь. Но всадник не пострадал, он тут же поднялся и поехал своей дорогой.

— Я вам ошень благодарна. Спасибо. Подождите, вот, возьмите...

— Ну что вы, мадам, не надо. Я же джентльмен. Я мастер Шекспир из «Театра».

— Вот как? Вы из труппы мастера Бербеджа?

Интересно, откуда она его знает? По-английски она говорит с довольно заметным акцентом, не выговаривая некоторые звуки... Я не мог отвести глаз от ее смуглого лица.

— Так вы видели мастера Бербеджа на сцене, мадам?

— Да, я видела его в «Ришхарде Третьем». И тогда я улыбнулся, не без гордости заметив:

— Очень приятно слышать это от вас, ведь я автор этой пьесы. Буду весьма польщен, если вы почтите своим присутствием наш «Театр».

Но она лишь надменно улыбнулась, ответив:

— Благодарю вас. Но теперь нам пора.

Сказав это, она велела кучеру ехать дальше, оставив меня стоять посреди улицы, по колено в грязном снегу. Я смотрел вслед удаляющейся карете и думал о том, что Г. так больше и не заводил речи о займе тысячи фунтов, а потому я все еще остаюсь литературным поденщиком, которого с радостью приняли бы в число пайщиков театрального товарищества, если бы только он раздобыл эти деньги.

13 января День сегодня выдался таким холодным и промозглым, что мне остается только презрительно посмеяться над своим ремеслом: я вынужден изображать в пьесе знойное лето, цветение и благоухание. Моя смуглянка не показывается на улице, ее дом, на окнах которого закрыты ставни, кажется мрачным и нахохлившимся, как будто ему тоже холодно. А меня уже тошнит от одиночества и этих слащавых стишков. После обеда (весьма обильного, состоявшего из жирной свинины и пудинга) я боролся со сном и мечтал о любви. Я представлял себя придурковатым ткачом Основой в домике изящной смуглой Титании. Ты так же мудра, сколь прекрасна... Глядя на себя в зеркало, я вижу лишь гнилые зубы, жиденькую бороденку, в которой уже появилась первая седина, и дряблую кожу. Дряхлый папаша!..

20 января Сегодня я все-таки сумел взять приступом эту крепость. Пьесу по-прежнему репетируют по частям, но сегодня, слушая монолог, вложенный мною в уста безумного влюбленного Тезея, я понял, что она состоится. Я стоял, приплясывая на месте от холода, потирал руки и поначалу чувствовал себя ископаемым стариком вроде Филострата, но внезапно испытал необычайную гордость за себя как за поэта. Освободившись во второй половине дня (спектакля вечером не было), я по-солдатски бодро направился к ее дому, постучал в дверь и объявил длинноносой девице, ее служанке, что мастер Шекспир хочет кое-что передать ее госпоже. В ответ девица пролепетала что-то насчет того, что

госпожа занята, видеть ее никак нельзя и что, возможно, она сама могла бы передать ей...

Нет, решительно ответил я, я явился сюда по личному распоряжению лорда-камергера и не собираюсь обсуждать свои дела со слугами. И тут появилась она... Она вышла в коридор, чтобы узнать, кто пришел. Увидев меня, она сказала: «Ну что же, входите. Сейчас узнаем, что у вас ко мне за дело». Тем же манером я промаршировал — ать-два, левой-правой, левой-правой — в комнату, стены которой были облицованы светлыми панелями. Мы сели в кресла, и тут я передал ей то, с чем пришел, — сердечное приглашение на завтрашнюю постановку «Ромео». Она поинтересовалась, будет ли завтра играть мастер Бербедж, я ответил, что да, будет. Ах, ей очень жаль, но она уже приглашена в гости и обещала там быть. У вас много знакомых в Лондоне, мадам? Да, я часто наношу им визиты. Что же до моей скромной персоны, мадам, то я нахожу жизнь поэта довольно, утомительной. Всего неделю назад я ездил провести своего близкого друга Гарри Ризли, графа Саутгемптона, так вот он мне сказал... Это ваш друг? Вы дружите с графом Саутгемптоном? Ну вообще-то, среди моих друзей много графов и герцогов; не далее как сегодня утром я имел разговор с герцогом Тезеем... Вы хорошо говорите по-английски, мадам. Ну а какой язык ваш родной? Скажите мне что-нибудь на нем. И она сказала (я это записал): *Slammat jalan*. Мадам, а что это означает? Эти слова мы говорим, когда кто-нибудь уходит, они означают «пусть твой путь будет легким». С этим напутствием я удалился, но перед уходом все же поцеловал ее изящную, теплую, смуглую ручку.

27 января Премьера была вчера, но у меня не осталось сил даже на то, чтобы держать в руках перо... Мы добрались на роскошных барках до Гринвича. Нас ждали огромные очаги, в которых пылал огонь, чтобы нам не было холодно, когда мы будем надевать сценические костюмы. Еще для нас приготовили вино и эль, и нежный филей, и свиные головы, и горы всевозможных пирожков. А потом был Большой зал: мы разглядывали королеву, которая во всем своем великолепии то и дело морщилась и нащупывала языком сломанный зуб. Золотой трон, пышные груди, украшенные бриллиантовыми ожерельями, которые ослепительно сияют... До начала спектакля лорды смеялись, а дамы хихикали. Мы заметили, что ее величество не сводит своих глаз-бусинок с милорда Э. Аметисты, рубины, изумруды; пальцы, унизанные самыми невообразимыми перстнями, эфесы шпаг, усыпанные драгоценными камнями; невеста в пышном наряде из золотой парчи, зевающий жених в шелках... Вот так, под покашливание зрителей, мы начали наше представление. Уилл Остлер

весь дрожал от волнения, как осиновый лист, постоянно забывал свой текст и щелкал пальцами, давая знак суфлеру, чтобы тот ему подсказал. В остальном все прошло гладко, если не считать Кемпа, этого короля импровизации, над которым смеялись не так дружно, как он на то рассчитывал, за что он ворчливо упрекнул аудиторию. Потом у нас с ним едва не дошло до драки, но Кемп был полноправным пайщиком театрального товарищества; я же — лишь приبلудным поэтом. Я вернулся домой, валясь с ног от усталости (по берегам реки горело множество факелов, их пламя отражалось в воде, и казалось, что вся река охвачена огнем). В моей холодной каморке на столе меня дожидалось письмо, скрепленное печатью Г. И моей усталости как не бывало! Свершилось! Теперь у меня тоже будет свой пай... Меня захлестнула волна нежности и благодарности.

Сегодня утром я пошел к ней. На улице было морозно, зимнее солнце слепило глаза, и казалось, весь прозрачный воздух наполнен звоном денег. Мне повезло, меня тут же пропустили к ней. Мне теперь всегда будет так везти! У меня для вас есть скромный подарок, если, конечно, вы сообразовите его принять. Это всего лишь блюдо сладостей из королевского дворца, но, мадам, обратите внимание, это угощение со стола самой королевы. Да, мою пьесу играли в Гринвиче, специально для ее величества. Для самой королевы? Да, именно так. А в каком она была платье, а кто из благородных лордов и знатных дам там был, расскажите мне все-все-все... И я рассказал.

2 февраля Сегодня день рождения Гамнета и Джудит. Подумать только, как давно я не был дома... Но все-таки я отправил им письмо и деньги. Я здесь очень занят, загружен работой, и вырваться никак не удастся. Ведь я стараюсь ради их же блага, разве нет? Да уж, занят! Имей мужество быть честным, если уж не с другими, то хотя бы с самим собой...

Я расспрашивал мою смуглянку о ее теперешней жизни, но она мало что мне рассказала. О чем она мечтает, что хочет получить от этой жизни? Она затруднилась ответить. Наверное, любовь, предположил я; мы все мечтаем о любви и хотим найти в ней не только наслаждение, но и защиту в нашей тяжелой жизни. Смуглая леди снова затруднилась с ответом. Тогда я спросил у нее, каким именем мне следует ее называть, ведь не могу же я вечно «мадамкать». Она ответила, что ее настоящее имя — Фатима. Целуя обе ее руки при прощании, я позволил своим губам задержаться. Она не стала возражать и не отдернула рук.

6 февраля Работаю над новой пьесой, «Ричард Второй», так что Холишед^[48] и «Эдвард» Марло постоянно находятся передо мной на

рабочем столе. Бедняга Кит, ты небось уже сгнил в сырой земле, и черви уже сожрали твои бранные останки... Интересно, сколько времени отпущено судьбой каждому из нас, пока еще живущих? Сегодня утром в сточной канаве неподалеку от Майнориз нашли окровавленный труп одного торговца: беднягу ограбили, раздели догола и убили. Зрительно я знал этого человека, часто видел его на нашей улице. Кажется, звали его Джервиз, или как-то в этом роде. Теперь он мертв, и его бедное тело валяется в грязи... Я выпил немного сладкого вина, чтобы рассеять туман в голове. Нужно было отправиться к ней, и я хотел собраться с духом и набраться храбрости. Хотя я выпил самую малость, но сразу почувствовал опьянение. И вот я у нее: говорю, что хотел бы почитать ей стихи. На ней свободное платье с декольте, открывающее руки и плечи. Она согласна слушать. Так слушайте! Эти стихи написал римский поэт Ка-тулл. Не знаете латыни? Хорошо, я переведу на английский. Давай же будем жить, моя Лесбия, и любить... (Кто эта Лесбия? — Она любовница поэта.) Солнце будет скрываться за горизонтом и вновь восходить на небо. Для нас же если забрезжит рассвет, то день пролетит незаметно, а ночь будет бесконечна, и мы заснем навсегда. Лесбия (то есть Фатима), ты только послушай, как ужасно это звучит на латыни: *pox est perpetua una dormienda*. Она зябко поежилась. А что они делали потом? О, он просил ее подарить ему тысячу поцелуев, а потом еще сто, а потом еще тысячу и еще сотню, а потом снова еще одну тысячу и сотню. Это была черед из тысяч и сотен сладких поцелуев. Но это ведь слишком много...

— А у вас в стране люди целуются?

— Мы целуемся не так, как вы здесь. У нас это называется *chium*. Это делается носом.

— Покажите как.

— Нет, я не могу.

— Ну пожалуйста. Умоляю, покажите. Она застенчиво прикоснулась к моей левой щеке своим симпатичным, чуть приплюснутым носом и слегка потерлась о нее движением вверх и вниз.

— Да, необычно. Но английский поцелуй все же лучше.

Сказав это, я сжал ее в объятиях и припал ртом к ее губам. Это был самый необычный и незабываемый английский поцелуй в моей жизни: ее губы нельзя было сравнить ни с розовым бутонem, ни с тонкими, чопорно поджатыми английскими губками; эти губы были полными и мягкими, словно какой-то экзотический фрукт или цветок с ее далекой родины. Ее зубы были сжаты, и это было похоже на прочную стену, которая выросла на пути более интимного поцелуя. Я перестал целовать ее губы и принялся

осыпать поцелуями гладкую кожу смуглого плечика. Она не была настроена на такие ласки, но ничего поделать не могла. Попыталась оттолкнуть меня от себя, и тогда я жарко зашептал:

— Я люблю тебя, видит Бог, как я люблю тебя. Любимая, любовь моя, я люблю тебя...

— А я тебя нет.

И она решительно оттолкнула меня. Вот уж не ожидал, что в этих с виду безвольных ручках может скрываться такая сила. Но я был разгорячен и объят страстью, а потому даже не думал отступать. Я прижал ее к себе, и она принялась лупить меня своими маленькими смуглыми кулачками, гневно выкрикивая что-то на своем языке, но вырваться не смогла. Понимая безысходность своего положения, она попробовала было кусаться, и я услышал, как щелкают ее маленькие острые зубки. Тогда мне пришлось навалиться на нее всем телом, снова припасть к ее губам и слиться с ней в долгом, обезоруживающем поцелуе, при этом продолжая крепко прижимать ее к себе. И вскоре она сдалась. ...Скоро ли? Очень скоро. Вскоре я понял, что она знает все. Она не была новичком в этой игре. Я был разочарован, как и любой мужчина, который узнает, что он, увы, не первый, после чего разочарование сменяется яростью и хищным злорадством. Но я обладал ею с неописуемым восторгом и с аппетитом, разгорающимся все больше и больше по мере насыщения. И уже в самом конце вдруг понял, что теперь у меня есть любовница. И к тому же очень необычная.

14 февраля Сегодня день святого Валентина, шумный пир благословенного птичьего епископа. Темная и белая птицы лежат рядом на кровати. Боже мой, каким милым, пикантным штучкам она уже меня научила: мой клюв уже болит, а крылья ломит. Мы летали, честное слово, клянусь, мы взлетели и устремились ввысь, минуя потолок, который превратился вдруг в легкое облако, и воспарили над землей в золотисто-желтом тумане. Это было торжество плоти, земное воплощение слова. Она призывала своих странных богов с непривычно звучащими именами: Хейтси-эбиб, Ганпутти и Вицлипуцли, а еще четырех архангелов, окружающих мусульманского бога... В этой горячке я снова принялся за сочинение пьесы и занялся театральными делами. Написал несколько строк «Ричарда», и меня охватило отчаяние. Я заставляю себя ненавидеть ее и то, чем мы с ней занимаемся, стараюсь сокрушаться о собственном грехопадении и убеждаю сам себя в том, что если так будет продолжаться и дальше, то мне и вовсе придет конец. Гоню от себя посторонние мысли, пишу про прошлое Англии, ощущая себя беспристрастным летописцем... И все это время меня преследует одно и то же видение — смуглая дама в

шелках, фривольно лежащая на диване. Ее слуги украдкой посмеиваются надо мной, над моей худобой и темными кругами под глазами. Я предложил ей встречаться у меня: так будет лучше. В ее спальне (мне все вспоминается август прошлого года) я чувствую себя неуютно: то меня раздражают шаги в коридоре, то вдруг начинает казаться, что запертая дверь вовсе не заперта, а изо всех щелок за

нами подглядывают любопытные глаза. Она сказала, что придет.

25 февраля Деньги-денежки! Моих подарков ей уже недостаточно (а это были рулоны шелка, платье из тафты и полумаска, украшенная бриллиантами)... Уильям Шекспир, преуспевающий деловой человек, дарит своей любовнице золото. Она жалуется, что цены слишком высоки: наверное, из-за прошлогоднего неурожая. А что она предпочитает из еды? Тушеную баранину со специями и жгучим перцем. Odi et amo. Презираю и люблю: Запах ее тела, такой терпкий и сладкий, вызывает во мне отвращение и в то же время сводит с ума. (И все это время бедный король Ричард скачет навстречу своему концу. Я придумал для нее имя — Берберийка: «...на лошади, тобою столь любимой, на лошади, так выхоленной мной!» Ее двуличность задевает меня. Она все еще восхищается Бербедром, считает его неотразимым. Ну уж нет, этому Болингброку никогда не оседлать мою кобылку.)

4 марта Лежа рядом с ней, на ней, под ней, я люблюсь из-под опущенных век то родинкой на золотисто-смуглой, пахнущей солнцем коже, то каким-нибудь крошечным невыдавленным прыщиком на щеке, рядом с широким приплюснутым носом. Сегодня ее дыхание было кислым из-за слишком большого количества съеденных плиток марципана в сахарной пудре. Ей совсем не хотелось заниматься любовью, но все же она позволила мне сделать это с ней. Сама она лежала неподвижно, лениво жевала сладости и с безразличием взирала на мое безумие. Меня переполняла злоба и ненависть, мне хотелось унижить ее, сбросить на пол и пинать ногами по брюху, словно паршивую суку. Она капризничает, заявляет, что я должен выводить ее в свет, возить по балам, как это делают другие. Но я ревную; я даже не хочу, чтобы она появлялась в «Театре», пусть даже в полумаске и под вуалью, скрывающей ее лицо от нескромных мужских взглядов. Я сомневаюсь даже в целесообразности ее приездов ко мне домой — пусть даже и в карете со спущенными шторами, пусть даже всего на два часа. Может быть, нам надо обосноваться в собственном доме, раз уж моя квартира так мала? Она пожелала жить у себя, говорит, что хочет быть свободной. Я до сих пор так и не сказал ей, что у меня есть жена и дети; она тоже ни разу не завела разговора о браке.

15 марта До меня дошли слухи, что Г. наскучило ухлестывать за хорошенькими королевскими воспитанницами и что он, уверовав в свою мужскую неотразимость, теперь щиплет за розовые щечки какого-то юного мальчика. Подумать только, как все-таки любовь в разных своих проявлениях овладевает нашими душами и лишает нас гордости и последнего здоровья... Я одурманен ею, так бы и съел ее живьем, как зажаренного на вертеле ягненка. Я рассказал ей о педерастических наклонностях моего друга, надеясь, что это ее позабавит, но она заявила, что мужчины делают так лишь потому, что рядом с ними нет властной женщины, которая сумела бы удержать их в узде и направить по пути, предписанному Богом... Она рассказывает мне «Сказки мудрого попугая», которые на ее языке называются «Hikayat Bayan Budiman». В этих сказках ужасные змеи жалят за ноги прекрасных принцесс, отчего те падают замертво и остаются так лежать до тех пор, пока какой-нибудь заколдованный принц не забредет в их края, чтобы при помощи поцелуя вернуть девушек к жизни. И всякий раз, закончив очередную сказку, она просит позолотить ей ручку.

20 апреля Наконец-то произведение сэра Филипа Сидни «В защиту поэзии» увидело свет! За время, прошедшее с момента его написания, мы во многом преуспели и дождались успеха даже большего, чем достался в свое время старому доброму «Горбодуку». Будь сейчас жив сэр Филип, из-под его пера тоже выходили бы замечательные трагедии, комедии и поучительные наставления. И все же если мы взглянем на природу в зеркало (огромное спасибо, милый кретин Чепмен, за этот афоризм), то в этом отражении нашему взгляду должно открыться все единство мира... Итак, дрожа от возбуждения и осознания собственной наготы, подходя к смуглянке, я видел себя как бы со стороны: сознавал собственное ничтожество, но при этом ощущал себя королем золотого королевства. Трагедия

— это песнь козлов, комедия — деревенский Приап, а связующее звено между ними — слово «смерть». Рубите голову с плеч своему великому королю и заройте его в землю в надежде на то, что это даст начало новой жизни.

1 мая Мы были вместе у меня в спальне, я и она — она только что приехала; ее платье напоминало наряд для охоты, голову венчала шляпа с пером — когда дверь открылась, и на пороге возник Г. собственной персоной. Я ничего о нем не слышал вот уже несколько недель, а не видел и того больше — с того самого нашего с ним мимолетного разговора, когда я запинаясь, срывающимся голосом благодарил его за ту тысячу фунтов.

Фатима смотрела на него во все глаза. Она была очарована им — я видел это, — этим самоуверенным, расхаживающим по комнате лордом, который, небрежно жестикулируя и как бы невзначай поблескивая перстнями, принялся пересказывать дворцовые сплетни: что сказала леди такая-то, какие соображения высказал его светлость о нынешних тяжелых временах и о том, что ее величество вступает в критический возраст. При этом он щедро пересыпал свою речь французскими словечками — *bon, guelaeuechose, jenesaisquoi*, — так что Фатима слушала его затаив дыхание от восхищения. Потом он воззрился на нее, как на некую ярмарочную диковинку вроде ребенка с поросячьей головой, и стал превозносить до небес ее необычность, восхищаться цветом ее кожи и стройностью стана. Привози ее к нам, говорил он, мы должны познакомить ее со всеми, мои друзья будут просто в восторге. Все это время Фатима слушала его разинув рот, а когда он уехал, то не поспешила приступить к тому, ради чего, собственно, и приехала, а все восторгалась его нарядом, золоченым эфесом шпаги и галантными манерами. Я грубо сказал ей, что он отправился сношать своего пухленького мальчишку-проститута. Не может быть, я в это не верю, отвечала она, он настоящий джентльмен, истинный кавалер и любит женщин; я сразу же это поняла.

10 мая Погожим весенним деньком он снова наведлся ко мне, чтобы посетовать на то, как все-таки вероломны бывают хорошенькие мальчишки. Из его сбивчивого рассказа я понял, что Пип (так звали его последнего друга) прельстился какой-то безделушкой и ушел от него к милорду Т. Знаешь ли, сказал я ему, любовь всегда неразрывно связана со страхом ее потери: от любви до одиночества всего один шаг.

— Да уж, — вздохнул он. — С женщинами та же картина. Безмозглые вертихвостки, вот они кто. И если твоя потаскушка чем-то от них отличается, то только цветом кожи.

— В каком смысле?

— Здесь, в Европе, мы не можем уследить за тем, куда женщина — или паршивый мальчишка — ходит и с кем проводит время. А вот какой-нибудь турецкий паша запер бы ее в своем гареме и выставил бы перед дверьми караул из евнухов. Нам же этого не дано.

— Но к чему ты мне все это рассказываешь?

— Кажется, я видел вашего Дика Бербеджа в карете вместе с ней. Такой загар, как у нее, не смыть ничем. Она была под вуалью, но я видел ее смуглую руку, когда она брала букетик у цветочника.

— Ты нарочно это говоришь, чтобы разозлить меня и заставить ревновать!

— А она что, твоя жена? Разве у тебя есть на нее права?

— Я даю этой лживой суке деньги!

— Заметь, что отчасти это и мои деньги тоже. Ну да ладно... Но ведь все равно никаких бумаг вы с ней не подписывали.

11 мая Скорее к ней! Мне не терпится устроить скандал, избить ее до полусмерти! Я крепко держу ее за запястья, она кричит, срываясь на визг, что не сделала ничего дурного, но теперь обязательно сделает это мне назло. Мои пальцы вцепляются в край ее декольте: не помня себя от бешенства, я рву на ней платье и реву, как затравленный зверь. Ее служанка, испугавшись за хозяйку, молотит кулаками в запертую дверь, но я выкрикиваю такие страшные проклятия в ее адрес, что она перестает стучать и удаляется, причитая на ходу и опасаясь за собственную жизнь. Гнев разливается по моему телу огненными струями наслаждения. Если прежде мы взмывали ввысь и парили, словно птицы, то теперь, наоборот, мы зарываемся в землю. В глаза, ноздри и рот набивается земля вперемешку с червями и какими-то крошечными букашками, и все вокруг постепенно превращается в густое, тягучее желе из кровавой плоти и вина. Мы опускаемся все глубже и глубже, устремляясь навстречу яростному пламени, бушующему в центре земли... В предчувствии седьмого приближения смерти — моя поясница онемела совершенно, а она и вовсе превратилась в жалобно воющее привидение, золотистое, блестящее от пота — я вдруг увидел, как потолок разверзся, словно кто-то отдернул там занавес, и за ним оказались усыпанные жемчугом небеса, с которых на нас сурово смотрел, поглаживая окладистую бороду, Бог-Отец в окружении похожих на чертей святых со странными именами — святой Энгвиш, святой Сайтгранд, святой Исхак, святой Розарио, святой Киниппл, святой Пог и пухлый красноглазый Бахус. А вокруг кровати скакал демонический херувим, мастер РГ, с криками: «Делай так и еще вот так, и еще, еще, я буду учиться, я хочу, чтобы ты показал мне, как это делается». И я ему показал... Потом, холодным и дождливым майским вечером, я сидел в одиночестве у себя дома, и на душе у меня было преме́рзко. Я чувствую себя пленником собственноручно мною же созданного ада. Я обессилен, сокрушен, раздавлен, опозорен, но, странное дело, мне не стыдно.

14 мая Сегодня во второй половине дня я играл в театре. Это была всего лишь роль Антонио в «Двух веронцах». Я обратился к Протею в третьей сцене первого акта. А Протей, мой сын, которого играет Дик Бербедж, усмехаясь, стоял передо мной. Глядя на него, мне захотелось закричать во все горло: «Ответь мне, признайся, неужели это правда? Отвечай как на духу, ведь эта сцена не терпит лжи, здесь все как на ладони.

Так ты был с ней или нет?» Я так разволновался, что даже забыл одну строку своего текста и был вынужден спросить ее у суфлера. Мне было не по себе, я чувствовал, как меня начинает бить озноб. Смотрю на толпу зрителей, ищу улыбающиеся лица — их мало, очень мало, эта пьеса не вызывает у них восторга, — а затем перевожу взгляд на деревянные небеса, на занавес и думаю о том, что, возможно, я уже мертв и превратился в призрак. И затем мне кажется, что в боковой ложе раздается знакомый шепот и смех: это она, она с кем-то третьим... С этим невозможно совладать, я должен избавиться от этого наваждения! Но понимаю, что это вряд ли удастся.

20 мая Выхода нет: я должен во всем повиноваться своему господину и благодетелю. Фатима очень оживленна последнее время и прямо-таки скачет от радости: думает, что это событие введет ее в высший свет. Она живет ожиданием этой по-королевски роскошной светской пирушки на барке, на которой Гарри, его друзья и их подружки (ага, значит, они все-таки научились любить женщин, и в этом моя заслуга) поплывут по реке в сторону Гринвича. В небе, конечно, снова будут кружить коршуны...

Вот так. Бедный Уилл одет весьма скромно, Фатима же ступила на борт в огненно-красном атласном наряде. Лорд П. и сэр Нед Т., а также граф К. при виде ее просто лишаются дара речи, что вызывает жгучую зависть у белолицых дам, и они заводят язвительные разговоры о том, что в краях, откуда прибыла эта «чумазная выскочка», живут люди с четырьмя ногами и что прелести у тамошних женщин расположены совсем не так, как надо. Они всячески насмеваются над ней, но, несмотря на все их старания, смуглянка держится со всеми ровно и спокойно. Лорды обступают ее, предлагая ей наперебой кусочки гусиных грудок в остром соусе, телятину, дичь на серебряном блюде... Она то и дело поглядывает на Г. своими черными глазами и ослепительно улыбается ему, обнажая ровные, ослепительно белые зубы; у него горят глаза, его взгляд прикован к ее смуглой груди. Я вижу, как он взволнованно сжимает кулаки, и длинные ногти впиваются в ладони. Я представляю их вдвоем, наедине, лежащими в постели, благородное серебро величественно сливается с божественным золотом. Г. не забыл «Уиллоуби и его Авизу» и тот трюк в Ислингтоне; он знает, что может в любое время купить что угодно за ту свою тысячу фунтов. Вечер озарен огнями факелов, гребцы взмахивают веслами все реже, молодые лебеди чистят перышки, река погружается в сон, и коршуны уже больше не кружат в багряном майском небе. Исполнители мадригалов поют про серебряного лебедя, и каждый голос в общем хоре звучит в унисон с настроенной специально под него скрипкой. Фатима вложила

свою руку в ладонь Г.

25 мая И все-таки самое удивительное в том, что они могут наилучшим образом удовлетворить оба моих голода. Он и она — это две отдельные мои страсти. Ибо душа и тело никогда не могут насытиться одним и тем же, как бы мы ни уверяли себя в единстве любви. Любовь — это только слово, у которого множество значений; так что единство любви существует лишь на словах. С Фатимой я могу обрести чертовский рай, который может оказаться и ангельским адом; когда же я с Гарри, отрешившись от плотских желаний, то мной овладевают те самые возвышенные чувства, которые в свое время воспел Платон, — эта платоническая любовь. А потом дьявол, сидящий в моей душе, начинает нашептывать мне: «И все-таки тебя восхищает красота его тела. Это порочная любовь!» Я представляю себе, как мы втроем кружимся в каком-то медленном, величественном танце, и мне кажется, что это движение может каким-то образом примирить сидящих во мне зверя и ангела. Пожалуй, я был бы даже рад делить ее с ним, а его с ней, но, наверно, только поэт может размышлять о столь высоких истинах, недоступных пониманию души (отдающей) или тела (берущего). Так что мне остается лишь ждать известий о том, что я лишился сразу их обоих: и любовницы, и друга.

30 мая Он говорит, что займется ею. Его привлекает ее необычность. Ой даже не спрашивает, просто ставит меня в известность. Она ведь уже готова к этому. Тогда забирай, говорю я, возьми и то, что я для нее написал, она это так и не прочитала. Добавь эти стихи к тем листкам, что хранятся в той твоей благовонной шкатулке. И этот сонет тоже заberi, про опасность страсти и вожделения (послушай, как тяжело дышит выбившийся из сил пес). Я ловлю себя на мысли о том, что все это меня ужасно забавляет; эдакая бравада оскорбленного человека. Мне наставляют рога, а я веселюсь. Весь фокус в том, чтобы пребывать в хорошем расположении духа, быть со всеми обходительным и улыбаться; а еще делать вид, что эта потеря меня нисколько не задевает, и преподносить ее как свою собственную волю. Ведь Фатима все равно скоро надоест ему, и тогда мне придется сделать вид, что я делаю великое одолжение, забирая ее обратно.

А еще я увидел себя как бы со стороны: стареющий, лысеющий, ревматичный мужчина, у которого совсем недавно вырвали еще три зуба и которому не пристало предаваться юношеской похоти и распускать слюни из-за пустяков. Но даже больше, чем мысли о собственной старости, меня угнетает то убожество, к существованию в котором я — и все персонажи, живущие в моей душе, — приговорен временем, плотью и ленью. Только

что в седеющих волосах на своей груди я поймал вошь; у меня на заднице сел чирей; посреди улицы гниет на солнце куча зловонных нечистот, мерзкие болезни расползаются по всему притихшему городу, по всему миру... Настало время подняться над бранным телом и начать жить душой.

2 июня Моя любовь, моя любовь... Я вижу во сне, как они тычут пальцами в мою сторону и смеются над бедным Уиллом, дряхлеющим лицедеем. Тебе бы только стариков играть, это подходит тебе больше всего. Мне снится одинокий старик, на котором висит долг в тысячу фунтов, убогий старик, отвергнутый прекрасным принцем, державшим его при себе ради забавы. Разве у меня не может быть больших ожиданий, милорд? Отчего же, может. Подожди, я еще приду к тебе и отниму у тебя твою черную шлюху.

5 июня Беспорядки в городе порождают беспорядки в моем собственном сердце... Мне довелось пройти мимо толпы бунтовщиков, вооруженных кольями. Все началось с недовольства высокими ценами, а теперь эти мятущиеся души полны решимости до конца отстаивать высокие принципы справедливости. Результат — выбитые зубы и переломанные кости.

13 июня Подмастерья преследуют торговцев маслом за то, что те продают свой товар слишком дорого, подняв цену на 2 пенса за фунт. Уже весь город ненавидит торговцев маслом. Джек пнул Тома ногой в голову и оставил его лежать посреди загаженной улицы. Неподалеку от Биллингсгейта я видел на камнях мостовой кровавые следы, с виду напоминающие вытекшие мозги. Старая женщина, хромая, в разорванном платье, бежала домой, бросив корзинку с маслом, приготовленным для продажи.

Люди-судьи чувствуют себя в своей стихии: они догнали и закололи одного юного толстяка подмастерья, на его безжизненном теле осталось пять кровавых ран от шпаг. Убиты: А. Оорм, Г. Найнингер, Т. Нил, С. Никербокер, Л. Ганн, Р. Гарлик, С. Фоке, С. Каусленд, Эл. Крэбб, Дж. Брейс, Уилл Биггс, Дж. Сеймур, М. Сьюэлл, Н. Уишарт, Мартин Винсет и другие. Вечером по улице прошла ватага подмастерьев с факелами; подмастерья буянят, бьют стекла и призывают к кровавой расправе над портными-евреями, пивоварами-датчанами, ткачами-фламандцами... Это все, что известно мне, У. Шекспиру. Ах да, еще в Кларкенвеле они учинили избиение темнокожих шлюх: сорвали с одной из них одежду и попробовали отмыть девушку добела, прежде чем начать насиловать. Хорошо, что Фатима будет в безопасности в Холборне, или там, где он держит ее для своих тайных утех. Здесь же скоро введут военное положение. Пятеро

подмастерьев уже арестовано, и ходят слухи, что их повесят, а потом четвертуют на том самом месте, откуда начался бунт. И все это из-за какого-то паршивого куска масла, подорожавшего на 2 пенса.

Итак, как отразилось это всеобщее возбуждение на моей собственной душе? Хочется жить себе в удовольствие, но вместо этого по всем моим жилам будто бы несутся, оглушительно топая, солдаты и бунтовщики, которые кричат лишь одно: «Убей, убей!» Кровь льется рекой, сворачивается и превращается в масло, толстый слой которого покрывает уже весь город. Цена на масло выросла еще больше, уже просят 7 пенсов за фунт, что на 4 пенса выше, чем обычно. Яйцами теперь в театре тоже уже никто не кидается: сейчас это дорогое удовольствие, яйца продаются по 1 пенни.

26 июня Этого и следовало ожидать, хотя в нашем «Театре» бунтовщики-подмастерья почти не появлялись. Сегодня Тайный совет издал указ о закрытии всех театров. Говорят, нас закроют на два месяца, потому что летняя погода снова благоприятствует распространению чумы. Знать и богатые горожане уезжают из города, королева прячется под вуалью (она стесняется своих поломанных зубов, и все зеркала в ее дворце или затемнены, или записаны ее портретами двадцатилетней давности) и отправляется в путешествие по своим владениям. Так как же мне все-таки быть: ехать домой или нет?

Каждое движение дается мне с трудом, но моя болезнь не телесная, а скорее душевная, и очаг ее находится в центре моей грешной земли. Я лежу на неубранной постели и прислушиваюсь к ходу времени, к угрозам пришествия Антихриста, к новым галеонам, бороздящим морские просторы, к капризам королевы, к небесным знамениям, к тому, как лошадь пожирает своего жеребенка и призраки скользят по залитой маслом мостовой. Будь я каким-нибудь знатным принцем, я мог бы лежать вот так целую вечность; меня бы мыли, приносили бы еду, и мне не приходилось бы ничего делать.

Но я должен писать пьесы, лепить прекрасные образы из груды обломков из дерьма, греха и хаоса. Я беру перо и с тяжким вздохом сажусь за работу. Но работа не ладится.

ГЛАВА 7

Леди и джентльмены, с вашего разрешения, прежде чем продолжить, я выпью еще немного... Эта проповедь прозвучала под темными сводами храма Сомнуса^[49] и Онейроса^[50] в ночь накануне величайшего несчастья в жизни мастера Уильяма Шекспира.

Похоть, нечистые помыслы, содомия и разврат наводнили это королевство, расправив над ним свои распутные крылья и поднимая тучи зловонной, удушливой, застилающей взор и разум пыли. Это поймет всякий, кто способен увидеть гнев Божий в ниспосылаемых Им ужасных знамениях. И разве новая армада Антихриста не стоит у наших берегов? Но люди не видят своей вины. Разве не вспыхнули с новой силой распри между французами и англичанами? Но люди все равно не видят своих грехов. Разве не шестьдесят три (семь умножить на девять) — тот возраст, когда, как сказал милорд настоятель церкви Святого Давида, чувства начинают угасать, а силы покидают тело, которое становится день ото дня все дряхлее и беспомощнее? Но люди все равно не понимают, как мало времени у них осталось для покаяния и сокрушения о грехах.

К примеру, вот он, грешник. Вот он лежит перед вами — по уши погрязший в распутстве, пренебрегающий своими обязанностями по отношению к законной жене, но зато всегда готовый воткнуть свой раскаленный клинок в остужающую черную грязь развратной иноземки. И вот он ее потерял; теперь у него появилось много свободного времени для покаяния, но, скорее всего, его уж не спасет даже это, потому что, если бы ему подвернулась новая возможность совершить этот грех, он не сумел бы удержаться от такого соблазна. История знает много примеров, когда поэты и актеры, увязнув в грехе, начинали от всего сердца взывать к Господу и искренне раскаиваться в содеянном. Но по прошествии какого-то времени все они оступались и снова вставали на прежний путь пьянства и прелюбодеяния. Таким был и распутный Грин, и безбожный Мерлин или Марлин (не важно; его имя не имеет значения, ибо было обожжено его атеистическими опусами и давно сгорело в вечном пламени небытия). Кстати, храпун, у меня есть для тебя новость. Один богобоязненный джентльмен, истинный христианин по имени Ф. Лоусон, удостоился по милости Божией видения того, как эти поэты горят в адовом пламени, и подробно изложил увиденное в трактате «Предостережение против непристойных выходок и непотребной писанины глумливых поэтов». В

этом труде описан весь ужас их вечных мук в аду, кипящие зловонные котлы, кишашие мерзкими зубастыми червями, которые беспрестанно терзают плоть поэтов. Этот трактат заставит тебя ворочаться и отчаянно потеть во сне, и ты долго не сможешь избавиться от ночных кошмаров.

Бог всемогущ и вездесущ. Но, даже несмотря на свою благодать и всемилостивость, Он подвергает грешника при жизни суровым испытаниям, словно предупреждая его о грядущих мытарствах, если только тот не одумается и не свернет с порочного пути. Взять к примеру эту твою паршивую пьеску про короля Джона — это же чушь несусветная, неслыханный вздор. Можешь добавить ее в список своих грехов. Разве ты не видишь, что все персонажи там вымученные, мертворожденные, произведенные на свет какой-то заблудшей музой, нагулявшей их неизвестно от кого и опроставшейся в придорожной канаве? Разве твои лучшие строки не были украдены у памфлетистов, что пишут про тяготы нынешнего времени? «Их сломим; нам ничто во вред не будет, коль верной Англия себе пребудет». Но разве не мастер Ковел еще раньше написал: «Если кто и погубит Англию, то это будут сами англичане»? Разве не К. Г. из Кембриджа принадлежат слова: «Если мы будем честны перед самими собой, то нам никакой враг не будет страшен»? А ведь это воровство. Вот так один проступок может породить множество грехов.

Вспомни, как ты кичился дружбой со своим благородным покровителем: «Ты для меня не постареешь век: каким ты был в день первой нашей встречи (о, какая мерзость!) — таков ты и сегодня»^[51]. И что ты получил в ответ на это признание? Ни-че-го. Гарри вместе с милордом Эссексом отправился в Дувр, а оттуда, возможно, и в Кале, хотя ее величество и велела ему немедленно вернуться ко двору. Но в любом случае Гарри не изменил своего мнения о тебе и по-прежнему считает тебя вульгарным и фамильярным выскочкой. Ты хочешь снова стать его личным поэтом, но его симпатии уже принадлежат другим. Ты завидуешь мастеру Чепмену, что он снова завоевал расположение его милости, а также тому, что его «Слепой нищий из Александрии», недавно поставленный в «Розе», был с восторгом принят зрителями и произвел в городе настоящий фурор, многие говорили, что получилось гораздо более талантливо, чем у Шекспира. (Не волнуйся, ты еще украдешь для Дика Бербеджа то, что так хорошо делал Нед Аллен.) ...Гнев нарастает? Хорошо, так разорви же в клочья свою простыню, вышвырни в окно кувшин с водой, накричи на мальчишку, что приносит тебе еду из ближайшего дешевого трактира — обед за пенни да на полпенни хлеба. А потом накинься на еду, жри жадно, по-звериному, после чего пошли за добавкой. Представь себе нежные

гусиные грудки под соусом, запеченные в мягком, воздушном тесте с поджаристой, хрустящей корочкой; селедки, засоленные с пряностями, творожные ватрушки с гвоздикой, орехово-медовый пирог, увенчанный пышной шапкой сливочного крема с корицей...

Уф, объедение! И затем растянись на неубранной постели, лениво рыгая, в то время как разбросанные по столу и заляпанные жирными пятнами листы бумаги будут медленно покрываться пылью. Да, продолжай валяться, представляя себе образы потерянной ее в разных соблазнительных позах, стонущей в порочном сладострастии.

Пусть Англия погибает. Пусть испанцы при поддержке вероломных французов (все они паписты!) врываются в наши дома и обещивают наших жен и дочерей. Ты уже помог им в этом, написав ту дурацкую лжепатриотическую пьеску. Пусть мастер Доулман напишет книгу о будущем наследнике английской короны и, потеряв всякий стыд и страх, посвятит ее милорду Эссексу. Ты же так и будешь бессовестно дрыхнуть. Англичане вооружаются и идут в сторону побережья, чтобы преградить путь врагам. Ты все храпишь. Ходят слухи, что Кале уже потерян, а новобранцы разбежались. Ты продолжаешь спать. Звон колоколов напоминает о дне Великой Пасхи, а в церквах причастникам говорят, что, возможно, им снова придется вступить в ополчение и идти в сторону Дувра. Ты же как храпел, так и храпишь. Негодяй, из-за таких, как ты, и погибает страна. «Грядущая гибель несправедного величия» (украдено у Чепмена).

Просыпайся, тебя ждет великое потрясение.

Так оно и получилось. Уильям часто моргал заспанными глазами и недоуменно глядел на льющийся из окна яркий утренний свет, в котором клубились пылинки. Уильям пытался сообразить, кто это мог так бесцеремонно растолкать его в такую рань... Во рту было кисло, голова раскалывалась. На столе у кровати лежали жирные остатки вчерашнего ужина. Неудержимо тянуло блевать. Но сначала нужно было опознать незваного гостя. Уильям увидел короткопалую руку с несмываемыми следами краски: рука красильщика или печатника. Лицо принадлежало Дику Филду, и, судя по его выражению, Дик был чем-то очень встревожен. Но ведь Филд должен был быть в Стратфорде, должен был передать деньги для Энн, письмо, подарки для...

— Да, да, да... — протянул Уильям, садясь в своей далеко не первой свежести рубашке на кровати. Он принялся тереть ладонями лицо, на котором уже появились морщины, и почувствовал кисловатый запах своего давно не мытого тела.

— Ты понимаешь, что я тебе говорю? Мне пришлось вернуться пораньше по просьбе твоей семьи, точнее, твоей жены. С мальчиком несчастье. Вот письмо.

Уильям взял сложенный листок, неловко развернул его и, щурясь от пыли и бьющего в глаза света, стал читать: «Ему давали всякие пилули и микстуры, но ничего не помогло. Вся еда, которую ему дают, выходит обратно со рвотой, он очень похудел. Во сне бредит и иногда кричит что-то о чертях. И очень скучает по отцу, которого уже давно не видел...»

— Да, да, ясно, — тупо проговорил Уильям, сжимая письмо в дрожащих руках и принимаясь перечитывать его заново. По холодности и сдержанности выражений письмо Энн больше напоминало послание от какой-нибудь дальней родственницы. — Я не мог поехать сам, но я же передал домой деньги. Спасибо, что ты их им отвез. А мальчика ты видел?

— Он не может есть. Говорят, это испанская лихорадка.

— Но если я поеду, то ведь все равно опоздаю? Он же умрет, да?

Филд стоял перед ним в своем запыленном дорожном плаще и сапогах и казался потным и неуклюжим. Внезапно он крикнул:

— Послушай, это же твой сын! Твоя плоть и кровь...

— Угу, — промычал Уильям, почесывая лысину и разглядывая перхоть под ногтями. — Ты всегда говорил, что мужчине надо жить в семье, вместе со своей женой. Я решил, что вернусь в Стратфорд, когда удалюсь от дел, — стану мировым судьей, обзаведусь хорошим домом... Богатство, почет и уважение...

— Ты, кажется, не понимаешь, — перебил его Филд, распаляясь еще больше.

— Ведь это твой сын, Гамнет. Он умирает.

— Гамнет... — Это имя внезапно пробилось сквозь пелену сна и праздности. — Мой сын... — Его надежда, наследник, который в будущем должен стать благородным джентльменом, наследовать его дом и земельные угодья, быть посвященным в рыцари... — Сэр Гамнет Шекспир, — проговорил Уильям. — Здорово звучит. Он будет с гордостью вспоминать об отце, который создал для него весь этот капитал своей работой на театральном поприще. Ведь этот труд ничем не хуже ремесла печатника. Скажешь, нет?

— Где твои сапоги? — озабоченно спросил Филд. — Тебе надо выехать немедленно. На дорогах полно солдат: войска возвращаются из Кадиса.

— Кадис... Это в Испании. Так, говоришь, болезнь называется испанской лихорадкой?.. — И тут до Уильяма в полной мере дошел смысл

этого известия, словно вдруг лопнула тугая пленка, отгораживающая его от мира. — Боже мой, — охнул он, торопливо выбрался из кровати и неуклюже заметался по комнате в поисках чистого белья, постанывая от внезапно обрушившегося на него горя.

— Конечно, не мне тебя судить, — натянуто проговорил Филд. — Но я всегда считал, что... в общем, что здесь слишком уж много соблазнов, в этом Лондоне.

— Спасибо тебе, спасибо тебе, дружище. Человек должен жить со своей семьей.

Уильям взглянул на свое отражение в маленьком зеркале — больной, старый, грязный. Торопливо поплескался в застоявшейся холодной воде, растерся полотенцем до тех пор, пока кожу не стало покалывать.

— Не в обиду тебе будет сказано, — продолжал Филд, — но от некоторых вещей людям нашего с тобой круга не бывает пользы, только один вред. Мы с тобой, так сказать, живем на задворках этого мира, и в центре его нам не оказаться никогда. В Стратфорде недавно прочли твою поэму про Венеру. По крайней мере, твой отец ее точно прочитал. И я вынужден согласиться с ним, что...

— Это совсем не то, о чем следовало бы писать перчаточнику из Стратфорда. А стратфордскому печатнику не стоило это печатать. Потому что все это сплошное язычество, не имеющее ничего общего с занудливой пуританской набожностью. — Уильям торопливо натягивал камзол. — Такой хороший стратфордский ремесленник поддался влиянию растленного Лондона, и вот теперь его сын находится при смерти.

— Нет, твой отец уже давно так не говорит, — возразил Филд. — Теперь он болтает о святых и о том, какие свечи и кому ставить в церкви. Что же до твоей матери, то она и видеть не хочет твоих поэм, как, впрочем, и твоя жена. Они обе пристрастились к чтению трактатов. — Уильям недоуменно посмотрел на него. — Дешевые, отвратительно напечатанные книжонки. Наверное, приличные печатники попросту отказываются издавать такой бред.

Уильям устало усмехнулся:

— Бедный Дик Филд. Мы с тобой оказались между двух миров, не так ли? И наш грех, и наша беда в том, что мы не можем выбрать какой-то один из них и отказаться от другого, а цепляемся сразу за оба. Ну что ж, я готов.

— Надеюсь, к тому времени, как ты приедешь, случится чудо. Твоя семья все время молится.

— Одни — богу трактатов, другие — богу свечей. А я не могу молиться ни тому, ни другому.

Выбраться из Лондона оказалось делом непростым. Улицы были заполнены распушенными по домам пьяными солдатами, праздновавшими славную победу в компании шлюх. Нетвердо стоящие на ногах герои в расстегнутой по случаю нестерпимой жары одежде настойчиво зазывали проезжих джентльменов спешиться и хлебнуть винца из стоящей тут же бочки. Давайте, подходите, выпьем же за королеву и за окончательный разгром короля Пипа, а также за поражение всех его святых! Они хватали коней за стремяна, цеплялись за сбрую; некоторые, будучи не в силах удержаться на ногах, падали прямо под ноги коню; других приходилось отгонять с дороги ударами кнута. Офицеры вели себя чуть более пристойно: расхаживали по улицам, горланя песни и поглаживая великолепные бороды а-ля Эссекс. Что ж, хороший повод для торжества: Кадис пал, испанский флот разгромлен и сожжен, уцелело лишь два галеона, приведенные домой в качестве трофеев; захвачена богатая добыча. Никому нет дела до мальчика, умирающего в Стратфорде; его предсмертные крики тонут в ликующем звоне церковных колоколов, выводящих мелодию «Te Deum» — «Тебя, Бога, хвалим».

По дороге в Стратфорд Уильям вспомнил свои прежние размышления о смысле отцовства, о великом бремени ответственности, вынести которое дано не всякому человеку. Подумать только, всего одиннадцать лет, и этот мальчик сейчас умирает... Какая участь ждет его после смерти? Или адово пламя (ибо совершенно ясно, что Бог, если Он все-таки существует, очень несправедлив), или небытие, и оба этих варианта болезненны. Лучше уж было ему не рождаться, не приходиться в этот мир.

Из водного потока вырвалось неукротимое пламя, и мутные капли дали жизнь целой Вселенной — звездам, солнцу, богам, аду и всем-всем-всем. Это было несправедливо, но ведь человек обречен всю жизнь терпеть несправедливость.

Раньше Уильям видел в своем сыне поэму, которую не мог описать словами. Ему представлялся молодой красавец в богатых одеждах, уверенно держащийся в седле, с соколом на затянутой в дорожную перчатку руке, живущий в собственном замке, окруженном обширными лесными угодьями. Сэр Гамнет не стал жениться, зная, что женщинам нельзя верить. Однажды он уже был влюблен, хотя и понимал, что наступит время, когда его отвергнут, а его любовь выбросят на помойку, словно старый мячик. Потеряв возлюбленную, он впал в меланхолию, и из его речей было ясно, что он настроен против женщин. Вино он пил умеренно, сомкнув длинные пальцы нежных рук (на левой поблескивал единственный перстень с огромным опалом) на ножке золоченого кубка. Он неспешно беседовал со

своими друзьями, никому из которых не доверял, на философские темы, грациозно и непринужденно развалился при этом в кресле, похожем на трон. Сэр Гамнет Шекспир был воплощением прозорливого человека. Он жил настоящим, не жалея о прошлом и не веря в будущее. Ему не приходилось действовать, у него просто не было такой необходимости: казалось, ничто на свете не могло нарушить его душевного равновесия. Покормив павлинов, он удалялся читать Монтеня; перед сном он читал Сенеку, прекрасные строки об осенней ночи и уханье совы; интриги же Макиавела или лже-Макиавела принадлежали иному миру. Это был его сын, которому самому не было суждено стать отцом. Но как же быть с именем, которое должно пережить века? И вдруг Уильяму стало ясно, что на образ сына он невольно переносил свое собственное нежелание иметь потомство. Сын стал воплощением несбывшейся мечты отца, и в каком-то смысле винить в его смерти следовало отца, а не лихорадку. Что же до увековечения имени, то Уильям думал об этом как о чем-то независимом от всего остального. Ведь даже не имя само по себе было важно, а кровные узы, родственный дух. И все-таки он до сих пор не вполне понимал, что происходит. Но на подъезде к Мейденхеду его прорвало; это был пронзительный, мучительный крик несчастного отца, потерявшего ребенка... Однако Уильям не мог заставить себя молиться о чудесном избавлении для сына; единственное, о чем он мог просить немилосердного Бога, так это то, что если после смерти мальчику уготовано адово пламя, то он сам готов пойти туда вместо сына. Если он не умер вместо Гамнета, то пусть тогда на него падет двойное проклятие. В Оксфорде он на два дня слег с лихорадкой. Хозяйка «Короны», что на Корнмаркете, любовно ухаживала за ним. К тому времени, как Уильям добрался до Стратфорда, там уже все было кончено.

Джон и Уильям Шекспир сидели в саду за домом на Хенли-стрит. Стоял погожий августовский денек. В руках у обоих были небольшие кружки с элем. Вот так же пригревало солнце, так же шептал что-то в ветвях деревьев легкий ветерок, когда маленький гробик опускали в землю. Лето проникало даже под прохладные своды церкви, где заунывный голос священника говорил что-то о «прахе к праху», где рыдала семья. Это семья, похоже, так и не приняла Уильяма, единственного, у кого были сухие глаза. На кладбище он стоял поодаль от могилы — хладнокровный лондонец в великолепном плаще. Старший могильщик начал было тихонько насвистывать себе под нос, но потом спохватился и бросил смущенный взгляд в сторону скучающего джентльмена в плаще. А потом земля приняла бедного мальчика. А что земля принять не смогла? В свои одиннадцать лет сэр Гамнет Шекспир не проявлял особых склонностей к чему бы то ни

было — его не увлекало ни чтение книг, ни наблюдение за растениями и птицами. Не обнаруживал он и остроумия ума и не высказывал обычных в этом возрасте бредовых мальчишеских идей. Это был просто высокий худощавый мальчик, в чертах лица которого угадывалось сходство с его дядюшкой Гилбертом. После занятий в школе Гамнет любил проводить время с дядей Гилбертом, слушать незатейливые истории из Священного писания и следить за тем, как работают ловкие руки перчаточника. А вот дядюшку Ричарда мальчик, похоже, недолюбливал. Его сестры иногда баловали его, но все же чаще ругали. Все-таки девчонки есть девчонки.

— Хорошие у тебя девчонки растут, — задумчиво кивая, сказал Джон Шекспир. — Матери и бабке первые помощницы. Из них получатся замечательные жены...

Хорошие девчонки, подумал Уильям, замечательные жены! Я наплодил приземленных, бесталанных детей. Хотя Сьюзан в свои тринадцать была очень даже ничего, этакая бесхитростная деревенская краса. Пройдет еще совсем немного времени, и — при мысли об этом у него сжалось сердце — она станет тайком убегать в поля с каким-нибудь обормотом, чтобы скоротать в его объятиях унылый деревенский вечерок. Но что мог поделать с этим отец, тем более отец, живущий в разлуке с семьей?

— Все-таки хорошо иметь дочерей, — заключил Шекспир-старший.

— Тебе ли об этом говорить? — усмехнулся Уильям. — Мне всегда казалось, что мы, твои дети, были для тебя обузой.

— Ну, так это по молодости... — неопределенно махнул рукой отец. — А теперь я состарился. И я очень рад, что они живут рядом со мной. Ты поймешь, какое это счастье, когда сам остепенишься и заживешь своим домом. — Он замолчал, ожидая ответа, но, так и не дождавшись, осторожно поинтересовался:

— Ну так что? Ты еще об этом не думал?

— Начинаю думать, — сказал Уильям. — Я уже договорился с Роджерсом насчет покупки Нью-Плейс.

— Нью-Плейс! — На щеках взволнованного старика вспыхнул румянец, отчего они стали похожими на краснобокие осенние яблочки. Нью-Плейс — лучший дом города, центр внимания, стратфордский символ зажиточности и благородства...

— Дом для моей жены и детей. — Уильям задумался на мгновение. — Жены и дочерей, — поправился он. — Они и так слишком долго стесняли вас своим присутствием. А я... возможно, пройдет еще много времени, прежде чем я покину сцену.

— Чем раньше ты оттуда уйдешь, тем будет лучше для тебя же, — терпеливо, но настойчиво втолковывал ему отец. — Не думаю, что человеку от театра может быть какая-то польза. А тут еще и Нед твердит о том, что хочет податься в актеры. Изо всех братьев он больше других похож на тебя, хотя и не пишет сонеты и поэмы про голых богинь. Он говорит, что будет играть, а я говорю, что для нашей семьи достаточно и одного актера.

— Актера, который собирается купить Нью-Плейс... — протянул Уильям. — Что ж, Эдмунд сделал не самый худший выбор.

— Да уж... Я даже уже представляю себе Нью-Плейс. Дом, в котором живут одни женщины, — странный дом. Конечно, — не преминул заметить Джон Шекспир,

— вам еще не поздно завести второго сына. Энн еще не стара. Ведь Эдмунд у нас тоже поздно родился. Нет, все-таки лично мне с сыновьями повезло, хотя, похоже, мои сыновья совсем не спешат подарить мне внуков. Гилберт так никогда и не женится. — Он с сожалением покачал головой. — Люди говорят, что он одержим дьяволом, и все это из-за его падучей болезни. Сам небось уже заметил, что ни девки, ни женщины даже не глядят в его сторону. Бедный мальчик.

А Дикон тоже с чудинкой и ведет себя как-то странно. У меня вообще странные сыновья.

— И что же странного натворил Дикон?

— Он куда-то уходит и пропадает целыми днями. Иногда уходит на два-три дня, а однажды его и вовсе не было целую неделю. Потом возвращается с деньгами и никогда не рассказывает, как они ему достались. Говорит лишь, что честно их заработал. Но однажды его видели в Вустере.

— И что он там делал?

— Шел куда-то под дождем с какой-то трясущейся старухой. Понятия не имею, чем он там занимался. Но одно я знаю точно: жениться он не собирается. А ведь парень-то Дикон видный, все при нем — конечно, если не считать того, что одна нога у него чуть короче другой. Да и девки на него заглядываются, многим хотелось бы отхватить себе такого муженька. Но он не обращает на них никакого внимания. И к ремеслу не приучен. Станный он, живет сам по себе, в свое удовольствие. Но сердце у него доброе. В последние дни земных мучений бедняжки Гамнета Дикон был опорой и утешением для твоей Энн.

— Вот как?

— О, он сам едва не рыдал вместе с ней. Все утешал ее, говорил всякие ласковые слова... Она же, бедняжка, была так поглощена своим горем, что не разговаривала ни с кем. Но Дикон разделил с ней самые

тяжелые минуты.

— Полагаю, — медленно произнес Уильям, — Дикон посочувствовал ей, что ее муж в эти минуты находится в отъезде.

— Ну что ты, он все понимает. Знает, что мужья вынуждены уезжать из дома ради того, чтобы заработать деньги для семьи. Энн очень рада, что ты приехал. Ее повелитель и господин снова дома, а для женщины это самое лучшее утешение.

...Радость? Утешение? Супруги лежали рядом на старой кровати из Шотери и томились от духоты жаркой летней ночи. Уильям подумал о том, что, наверное, прав тот, кто говорит, что со смертью сына из отношений мужа и жены уходит свет. Они неподвижно лежали в темноте; каждый думал о своем, и оба молчали, так что можно было подумать, что супруги мирно спят. В конце концов Уильям первым нарушил молчание:

— Ну так как мы поступим? Может быть, ты с девочками приедешь в Лондон и мы там обоснуемся? — И, произнося эти слова, он уже живо представил эту картину: почтенный мастер Шекспир с супругой, миссис Шекспир, и двумя дочерьми нанимают какой-нибудь чистенький домик в Шордиче или Финсбери; и тогда уже никакой тебе дружбы со знатными лордами, никаких безумных ночей за рукописью; прощай, свобода... Уильям решительно отмел эту идею. Ему не хотелось превратиться в унылого, заживревшего ремесленника, кропающего дурацкие пьески на потребу толпе. Что бы тогда стали говорить о нем джентльмены из юридических школ? А ты видел его Джульетту? Правильнее было бы сказать, его Адриану и его Катарину. — ...Или останешься здесь? Уже в этом году Нью-Плейс перейдет к нам.

— Ты, конечно, был бы рад, если бы мы остались здесь. Еще бы, ведь у тебя там своя жизнь. Мастер Филд говорил с твоим братом...

— С Диконом?

— Да, с Ричардом.

— И что же он ему рассказал?

— Так, поведал кое-что из того, о чем говорит весь Лондон. Я ни за что не соглашусь переехать туда: не хочу стать всеобщим посмешищем.

— А ты и рада верить всему, что говорит какой-то полоумный подмастерье, да? — Уильям почувствовал невероятную обиду и гнев, но сумел сдержаться. — Как бы там ни было, лично мне ничего об этом не известно. Тем более, что завистники и злопыхатели всегда распускали мерзкие сплетни про поэтов и актеров; это повелось еще с тех пор, как умер Робин Грин и был убит Кит Марло.

— Мне эти имена ни о чем не говорят.

— О, если верить сплетникам, то выходит, что мы все безбожники, пьяницы и развратники и только тем и занимаемся, что прожигаем жизнь. Но будь это так на самом деле, разве смог бы пьяница и развратник посылать домой те деньги, что посылаю вам я, и вести разговоры о покупке такого дома, как Нью-Плейс?

— Я не знаю, сколько денег ты зарабатываешь. Я знаю только то, что тебя видели радостным и разодетым в шелка в компании твоих знатных друзей. И еще я знаю, что... Да ладно, не имеет значения. Дай мне поспать. Видит Бог, последнее время у меня не было возможности как следует выспаться.

— И все-таки, что еще ты знаешь?

— Ох... — Тяжело вздохнув, Энн отвернулась от него. — А еще ты сочинял стихи. И их принесли к мастеру Филду для издания.

— Мои поэмы? Так это было давно. Я привез домой «Лукрецию», хотя полагаю, что здесь ее никто не станет читать. Филд сам мне говорил, что мой отец лишь недавно прочел «Венеру», а ты вообще отказалась, назвала ее мерзостью или чем-то в этом роде.

— Ничего такого я не говорила. Но ведь та книжка про голую богиню.

— Ну да, про обнаженную богиню, которая развлекается с юным мальчиком в полях. Энн не поняла намека, но зато сказала:

— Нет, там были коротенькие стишки, и некоторые из них были про мужчин, а другие — про черную женщину. — Она захныкала. — А вот мне ты никогда стихов не писал...

— Сонеты? Ты говоришь о сонетах? Но как к Филду могли попасть мои сонеты?

— Я ничего не знаю.

Уильям выбрался из кровати и встал перед ней, его рубаха призрачно белела в темноте.

— Иди обратно в постель, — приказала Энн. — Ты уже дал понять, что все эти разговоры о тебе истинная правда.

— Ничего подобного. Просто стихи, которые я написал для друзей, попали в чьи-то грязные руки...

— Должно быть, в грязные руки тех же самых друзей. Ну вот что, можешь лечь обратно, можешь не лечь. Как хочешь. Можешь вообще уйти из дома, но только дай мне поспать.

— Нужно поговорить с Диконом. Я должен узнать, в чем дело. Ведь воры и предатели...

— Ричард сейчас в отъезде, и тебе об этом хорошо известно. И вообще, нечего тут скандалить. Твой бедный сын еще не успел остыть в

могиле... — Энн снова начала всхлипывать. А потом вдруг сказала: — Я собственными глазами видела один из этих твоих так называемых сонетов. Он есть у меня.

— Не может быть. Где он? Откуда он у тебя? — Уильям подскочил к кровати и схватил Энн за горло. Она разомкнула его слабую хватку своими сильными руками и гневно воскликнула:

— Значит, теперь я во всем виновата?! Отстань, идиот! Я-то тут при чем?

Конечно же с его стороны это было неразумно, и он сам это понимал.

— Где этот сонет?

— Сонет может подождать до утра.

— Я взгляну на него сейчас же. — С этими словами Уильям схватил трутницу — ящичек с сухими щепками — и принялся чиркать огнивом, а затем отыскал при лунном свете подсвечник со свечой, который, казалось, стоял здесь еще со времен его детства. — Я узнаю, кто передал его тебе...

— Ричард...

— Ну да, и тут без Дикона не обошлось!

— Нет, ему, к твоему сведению, это передал другой Ричард — твой приятель мастер Куини.

— Дик? — Уильям оторопел. — Дик Куини?..

— Твое сочинение в моей книжке, вон в той. — Энн указала ее местонахождение, величественно поведя рукой, которая при свете свечи казалась теплой и огненно-розоватой. — Заложено между страницами.

Нахмурившись, Уильям взял в руки книжонку в дешевом переплете — набожный бред, идиотские пророчества, предвещающие пришествие Антихриста из Испании и конец света. Отыскал заложенный между страницами обрывок пергамента, при одном лишь виде которого у него защемило сердце: он вспомнил ту майскую ночь, когда дрожащие мальчишеские пальцы выхватили из-за пазухи этот злосчастный листок, когда искреннее чувство было поругано и растоптано, когда та темноволосая девушка лишь посмеялась над ним, а вместе с ней радостно заржал и ее новый ухажер... Сколько лет назад это было?

...Моя любовь черна, но что с того?

Она не ослепляет, только греет.

Разверзся ад, и я иду в него, Ведь ад такой и рая мне милее.

— Вот это да, — прошептал он. — После стольких лет... Я написал это еще мальчишкой. Еще до того, как узнал, что ты... Да, в тот день я как раз его и закончил. — Он жадно всматривался в строчки. — Конечно, дурацкие вирши, но ведь мне тогда было очень мало лет. — И тут Уильяму

стало не по себе. Эти строки не потеряли своей силы, и у него не было никаких сомнений насчет того, чье имя скрывается за ними теперь. — Господи, — пробормотал он, — неужели это никогда не кончится?

— Ну что, доволен? — поинтересовалась Энн. — А теперь ложись спать.

Уильям хотел вернуться в Лондон на следующее же утро, но отец сказал:

— Я надеялся, что ты задержишься у нас подольше. У меня для тебя есть одна хорошая новость, которой я не хотел ни с кем делиться до тех пор, пока не получу точного подтверждения, чтобы не было никаких недоразумений. Рассчитывал, что к этому времени у меня уже все будет готово. А тут это горе... Вот я и решил приберечь свою новость на потом, чтобы было чем порадовать тебя.

— Что ж, давай порадуемся этому сейчас, чтобы наши кислые рожи не слишком выделялись из всей этой ликующей толпы.

— Из ликующей толпы? Ах да, французские союзники, и королева благополучно минует свой... этот, как его там...

— Опасный возраст.

— Какое суеверие! Впрочем, нас здесь это мало занимает, ведь мы оторваны от того, большого мира. Мы здесь еще не разучились радоваться любому пустяку. Хотя лично я бы не назвал это пустяком.

— Ладно, выкладывай, что там у тебя. Они сидели в мастерской. Гилберт, серьезный молодой человек, выглядевший старше своих лет, сосредоточенно разглядывал кусок лайковой кожи, на которой он только что вывел карандашом контур перчаточных пальцев. Вдруг он оторвался от работы и сурово изрек:

— На самом деле это и есть пустяк. Да, все лезут в благородные господа. Но в этом нет никакого смысла, ибо перед Богом все равны.

— О чем это он? — улыбнулся Уильям.

— Да ты что, Гилберта не знаешь, что ли? Вечно он несет околесицу... — Отец смущенно откашлялся. — В свое время я хлопотал о нашем семейном гербе, и вот моя просьба удовлетворена. Теперь остается только дожждаться официальной грамоты от герольдмейстера ордена Подвязки.

— Да ну... — Уильям опустил на грубо сколоченный табурет. Постепенно он начинал понимать, какие выгоды это сулит лично ему. — У нас будет герб? Фамильный герб?

— Сокол, потрясающий копьем, и серебряное копье на том, что они называют поясом, — на полосе, которая пересекает щит наискось.

— А девиз?

— Знаешь, я так и не научился его правильно произносить. Это по-французски. — С этими словами отец взял карандаш Гилберта и размашисто написал большими буквами на обрывке бумаги: «Non sanz droict».

— «Не без права», — перевел Уильям. — Хорошо, — одобрил он, поразмыслив малость. — Просто замечательно.

— Мы всегда были джентльменами, — высокопарно заявил отец. — Нам довелось пережить трудные времена, но теперь, слава Богу, они остались позади. И все это благодаря тебе. Так что чем скорее ты перестанешь тратить время на добывание денег и вернешься сюда, чтобы зажить как и подобает истинному джентльмену...

— Таковы уж мы, англичане, — вздохнул Уильям. — При первой возможности мы бросаем работу. Считается, что настоящий джентльмен должен безбедно существовать на те доходы, что приносят ему его собственные земли и недвижимость. Что ж, нужно будет напрячься и постараться прикупить еще и земли. А вообще, я очень рад, что за нами в конце концов признали это право

— быть джентльменами.

— Скоро ты сможешь украсить собственным гербом свою одежду и печати, — сказал отец, дурачась, как ребенок. — Кольца и знамена и вообще все, что душа пожелает. Пускай Ардены утрутся. — Он снова проказливо захихикал, а отсмеявшись, уже вполне серьезно продолжал развивать свою мысль: — Просто диву даешься, как со временем все может перевернуться с ног на голову. Твоя мать совсем забыла о том, как ее семейство отстаивало старую веру. Она вслед за твоей Энн приобщилась к этой незатейливой религии. Эти святоши ни в грош не ставят епископов и презрительно фыркают при одном лишь упоминании о них. А я в свои немолодые годы занял ту позицию, что некогда занимала она. Хотя, конечно, стараюсь ничем этого не выказывать и особо не распространяюсь на эту тему. По крайней мере, теперь я понимаю, что эта вера гораздо ближе к истине, чем мне казалось раньше, и что люди гибли на кострах ни за что. То есть я хочу сказать, что знаю, с какой верой я умру. Говорят, что мужчины к концу жизни становятся благородным вином, а женщины превращаются в уксус.

— Ну, как бы там ни было, — заключил Уильям, — теперь мы все закончим наши дни благородными джентльменами.

— Жаль только, что сынку твоему не суждено было дожить, — тихо, с сожалением проговорил отец.

— Тут уж ничего не исправишь. Гилберт взволнованно заерзал на

своем стуле и захрипел, как ходики перед первым ударом.

— Все мы знаем, кто мы такие, — изрек он, — но не знаем, кем могли бы стать.

Уильям возвращался в Лондон, испытывая не столько обиду, сколько злость и раздражение. Подумать только! Чтобы лорд обошелся с другом подобным образом... Милорд, вас хочет видеть один человек. Говорит, что он джентльмен. Нет, лучше поскорее заказать себе печать, чтобы излить свое презрение к Гарри на листе дорогого пергамента, а потом запечатать письмо собственной печатью, оттиснув на горячем воске потрясающего копьем сокола. Non Sanz Droict. Милорд, вы выставили мои сокровенные чувства на всеобщее обозрение, на потеху всему миру, тем самым вы расписались в своей собственной непорядочности и никчемности. Восхитительный цветок оказался с червоточиной. Поверьте, милорд, люди понимающие не станут меня осуждать, ведь им прекрасно известно, что, а вернее, кто стал причиной этого позора. И так далее, в том же духе. Разве это не подлец Чепмен (фу, что за вульгарное имя, с таким именем только на базаре в Чипсайде торговать), складывая свои собственные шедевры в тот ларец из душистого дерева, украл из зависти мои рукописи и радостно прибежал к Филду, думая, что тот обеими руками ухватится за такую возможность — видишь, отдаю почти задаром, для поэта это ерунда, а для меня и то деньги? Но был ли Филд на самом деле таким порядочным? Скорее всего, да: дела у него шли хорошо, да к тому же он тоже был выходцем из Стратфорда. Филд ни словом не обмолвился об этом скандале ни в тот день, когда Уильям зашел к нему, чтобы передать деньги для своей семьи, ни позднее, когда он сам наведлся к Уильяму с той страшной новостью... Но может ^быть, это стыд заставил его молчать? Может, Филд просто стыдился говорить об этом с самим виновником этого происшествия?

Теперь Уильяму, как никогда, хотелось встретиться со своим врагом лицом к лицу. Взойти на устеленную шелками палубу этого изысканного корабля с серебряными мачтами и золотыми парусами, чутко улавливающими любой, даже самый слабый бриз измены или ветер придворной политики, которой чужды слова «верность», «любовь» и «преданность»... И в следующий момент волна усталости и отчаяния захлестнула его утлое суденышко. Перед глазами Уильяма встала картина: маленький детский гробик скрывается в глубине могилы. Уильям вдруг подумал: если смерть подстерегает человека за каждым углом, скрывается в куске испорченного мяса, в кружке прокисшего эля, смерть, эта вечная сестра-соперница жизни, — то все эти высокопарные слова о почестях,

званиях и предательстве есть не что иное, как беспомощный лепет капризного ребенка. Благородство — это только дощечка с именем. Кто им владеет? Тот, кто умер в среду... Просто дощечка с именем? Так ли это?

ГЛАВА 8

— Я обратил внимание, — сказал Флорио, — и был приятно удивлен...

Печать была спешно вырезана мастером с Феттер-Лейн. Владеть фамильным гербом и наносить его изображение на доспехи, щиты, флаги...

— В этой странной стране, — продолжал Флорио, — любой джентльмен может стать поэтом. В самом деле, сплошь и рядом благородные господа считают сочинительство своим первейшим и главным призванием. Но чтобы поэт стал джентльменом — такое встретишь нечасто.

— Ну а само письмо, — напомнил Уильям, — если не принимать во внимание печать...

— Милорд его не читал, — ответил Флорио. — Думаю, это и к лучшему. Он в последнее время что-то неважно себя чувствует. Вдобавок к телесной болезни на него навалилась черная меланхолия...

— Сейчас это модно.

— Увы, нет. Будучи во Франции, милорд подхватил какую-то заразу. Когда человек прикован к постели и целые дни проводит в одиночестве, его трудно заподозрить в том, что он играет на публику. Что же до того, что вы изложили в своем письме, то я согласен со справедливостью ваших упреков. Скажем так, милорд был неосмотрителен, а другу милорда, графу Т., очень хотелось переписать для себя эти изысканнейшие, ласкающие слух, и так далее, и тому подобное, а потом ваши стихи попали в руки сэра Джона Ф. и вот так постепенно скатились до...

— До некоего обнищавшего магистра искусств или ему подобного проходимца. — Дик Филд хоть и рассказал о сонетах в Стратфорде, но печатать их не стал. Какой-то щупленький человечек, не назвавший своего имени, принес ему рукопись и сказал, что получил ее от джентльмена, пожелавшего сохранить свое имя в тайне. И это был не мастер Чепмен, сказал Дик. В самом деле, мастера Чепмена нельзя было назвать обнищавшим: его новые комедии шли в «Розе» с большим успехом.

— Именно так, — сказал Флорио. Он выглядел слегка располневшим: наверное, был доволен жизнью и удачлив в любви, ухаживая за Розой, дочерью поэта. — К тому же если призадуматься, то станет ясно, что если милорд и показывал ваши сонеты кому-то из своих друзей, то вряд ли он делал это вам назло; скорее всего, ему просто хотелось похвалиться.

Полагаю, вы это понимаете.

— Что ж... — Уильям с некоторым сожалением почувствовал, как обида и праведный гнев начинают отступать; он всегда был актером и умел быстро переключаться со старой роли на новую. — Последнее время между нами возникло некоторое отчуждение. Как вы знаете, я посылал сонеты, но все они были мне возвращены без каких-либо объяснений. — Мне было ведено отослать их обратно,

— сказал Флорио. — И я не считал себя вправе от своего имени давать какие бы то ни было обоснования его отказам. Но честно говоря, тогда милорд пребывал в одном из обычных для него состояний — из тех, что обусловлены в большей степени его положением в обществе, чем его собственным характером. Вообще-то, по натуре, как вам прекрасно известно, он человек честный и открытый. Хотя иногда ему приходится вспоминать, кто он есть, особенно, когда великие лорды собираются на войну с врагами королевы. Ее величество не позволила ему последовать за милордом Эссексом в Кадис, и его это весьма опечалило. И еще он никак не мог смириться с тем, что болен. К тому же ему весьма досаждали своими просьбами ничего собой не представляющие поэты и еще более бесталанные актеришки. А потом, в довершение ко всему, возникла какая-то загвоздка с женщиной, не леди. Ему пришлось отправить ее куда-то подальше отсюда, в укромное место. Мягко говоря, у него возникло отвращение к тому, что он сам называл «мерзостью жизни». — Флорио передернул плечами. — Вина — вот самое подходящее слово. Вообще, у вас, англичан, очень сильно развито чувство вины. Наверное, — неопределенно произнес он, — это обусловлено присущей вам двуличностью.

— Расскажите мне об этой леди... то есть, я хотел сказать, об этой женщине.

— О ней я почти ничего не знаю. Какая-то темнокожая прелестница, так мне сказали. Милорд отвез ее куда-то за город, но сам произносил гневные речи против шлюх и называл ее «потаскушкой из-под поэта». Временами милорд бывает очень невысокого мнения о поэтах.

— А как насчет его личного поэта?

Флорио сидел развалясь в своем огромном кожаном кресле и закинув ногу на ногу. За спиной у него находился стол, заваленный материалами для словаря, составлением которого он занимался; многочисленные полки были заставлены пухлыми фолиантами. Итальянец был всем доволен, такая жизнь его вполне устраивала. Символ его философского благополучия, толстый черный кот, мирно спал у камина, в котором весело

потрескивали дрова. Осень в этом году выдалась холодной.

— Вы имеете в виду себя? — уточнил он. — Лично я считаю, что вам следует снова стать его другом. Ваше положение это позволяет. — Флорио усмехнулся, но тут же поправился: — Я хотел сказать, что нынешнее положение каждого из вас может способствовать вашему новому сближению. Оглядываясь на прошлое, я бы сказал, что общение с вами принесло милорду гораздо больше пользы, чем вреда. — Флорио не знал всего, это было очевидно. — Вам просто не хватило авторитета, чтобы заставить его последовать вашим наставлениям, только и всего. Я сообщу милорду о вашем визите. А вы все-таки напишите ему. Ну там сонет или еще что-нибудь в этом духе. На этот раз ваше послание отвергнуто не будет, я обещаю.

...В верхней части щита — сокол с распростертыми крыльями, стоящий на венце, составленном из фамильных цветов. Сокол держит в лапах золотое копье и нашламник с лентами... Сэр Уильям Шекспир, джентльмен, возвращался к себе в Бишопсгейт, и в его мозгу теснились образы. «Ни собственный мой страх, ни вещей дух Вселенной, стремящийся предстать пред гранью сокровенной, не в силах срок любви моей определить...»^[52] Ему снова хотелось вкусить того живительного бальзама любви, увидеть луну после затмения, вечный мир и его зеленые оливы... Однако в действительности нет вечных олив: плоды чернеют и сморщиваются, деревья засыхают. Через год истекает срок аренды «Театра»; старый Бербедж ведет переговоры насчет покупки трапезной бывшего монастыря в Блэкфрайарз, хочет сделать там крытый театр. Ничто не стоит на месте. Люди меняют жилье, работу, любовниц; муж охладевает к своей жене; талант и мастерство совершенствуются со временем или, наоборот, деградируют... И лишь между двумя мужчинами может существовать истинная любовь — настоящее возвышенное чувство, а не та похоть, что застилает глаза кровавым туманом. Истинная любовь взлелеяна волей, разумом и долготерпением... И вот комедия о купце из Венеции отложена на пару дней, а сэр Уильям Шекспир снова пишет сонеты о возродившейся любви, о старых муках новой радости поэта, сумевшего стать джентльменом:

Ты памятник найдешь себе в стихах, Когда гробы и гербы станут прах^[53].

На одном дыхании он написал двадцать сонетов. Они были отправлены Гарри в обложке, на которой Уильям старательно нарисовал и

раскрасил свой герб и девиз. Как и предрекал Флорио, на этот раз послание не было грубо отвергнуто; возникла небольшая пауза.

Так приюти ж меня, чтоб мог я отдохнуть,
Склонясь порой к тебе на любящую грудь^[54].

И вскоре пришел ответ — не витиеватое послание, а просто коротенькая записка, написанная неразборчивым почерком больного и приглашающая его приехать. Уильям без промедления отправился в Холборн. На этот раз к обычной веренице лакеев и слуг и медведеподобному мажордому с жезлом и с цепью на шее добавилось еще трио бородатых лекарей. Не задерживайтесь у него, он очень быстро устает! Я все понял... В просторной спальне, было темно и душно, все окна закрыты намертво, и на них опущены тяжелые портьеры. У постели Гарри тускло горела лампа. Сам Гарри, худой и осунувшийся, безвольно лежал под атласным одеялом, поверх которого были расстелено грубое, заляпанное чернилами покрывало, под ним когда-то спал Уильям. Гарри смущенно улыбнулся.

— Ну, — сказал Уильям. — Что с тобой случилось?

— Мне говорят, что я нездоров. А ты, похоже, тоже чувствовал себя довольно скверно? — С этими словами Гарри взял один из сонетов и вслух прочел: — «Из трав любых готов я пить отвар, приму и желчь, и уксус терпеливо...»

— А, это...

— «Готов нести тягчайшую из кар и не считать ее несправедливой»^[55].

— Я страдал, потому что был лишен возможности видетсья с тобой, если так угодно вашей милости.

— Да, мне угодно. Ведь ты страдал из-за меня.

— Но зато сейчас мне уже гораздо лучше. Быть с тобой — это лекарство для меня. Все то время, что мы провели в разлуке, я не испытывал ничего, кроме горечи.

— Вот он, мой Уилл, другого такого нет. Думаю, теперь, когда ты со мной, я поправлюсь гораздо быстрее. Вот, понимаешь, подцепил какую-то «французскую болезнь». Зуд, сыпь и жар. Мне пускали кровь и мазали какими-то вонючими мазями.

— И что, теперь ты непременно должен лежать в темноте?

— Да, ты прав, немного света не повредит. Fiat lut^[56].

Уильям подошел к окну и раздвинул великолепные тяжелые портьеры. В тот же миг комнату залил яркий свет холодного ноябрьского солнца, словно кто-то вдруг разбил об пол бочонок искрящегося вина.

— Может, и окно откроем? — осторожно поинтересовался гость.

— Свежий воздух стоит не дороже солнечного света.

Уильям чуть приоткрыл окно, но этого оказалось достаточно, чтобы ворвавшийся в комнату ветерок подхватил два или три листка с сонетами, которые затем тихо спланировали на пол. Гарри кряхтя приподнялся на кровати и задул свою лампу. В комнате стало свежо, вместе с духотой улетучился и приторно-сладкий запах лекарств, и тошнотворный запах гноя. Уильям поднял с пола сонеты («...И жалостью излечишь мой недуг...», «...Любви богиня, раб твоей я воли...»^[57] и затем аккуратно сложил весь ворох, заметив при этом:

— Надеюсь, это принесло тебе некоторое облегчение.

— О, это воистину чудесное лекарство. Думаю, я уже могу встать с постели.

— Если ты сейчас встанешь, то твои врачи меня со свету сживут.

— Прислушайся к дружескому совету. Держись подальше от врачей. Они ничего не знают точно, а лишь с умным видом строят догадки и что-то делают наугад, полагаясь на милость природы: мол, со временем все и так пройдет. Но деньги за все это дерут будь здоров какие.

— Выходит, ты не на шутку разболелся?

— Ага, и к тому же очень некстати. Сейчас каждый день при дворе что-нибудь да происходит, а я напрочь вычеркнут из той жизни. Меня пичкают бульонами и прочей ерундой, а вина не дают совсем. Вот так — ни вина, ни женщин. Все-таки странно, не правда ли, что первым облек в слова эту формулу мужского счастья немецкий монах? Мартин Лютер. Вино, жена и песня. Wein, Weib und Gesang. Дурацкий все-таки у них язык, но в нем слышится какой-то пафос, триумф, что ли...

— Значит, с женщинами ты больше не общаешься? — Уильяму нужно было во что бы то ни стало выяснить одну вещь, но он не мог спросить напрямик.

— Скажем так, я устроил себе небольшой перерыв для отдыха. — Гарри томно закатил глаза. — Ах да, ты, наверное, хотел расспросить меня о своей черной шлюшке. — Благородный лорд не стыдился простонародных выражений. — Ну да, конечно. Должен признаться, это было настоящее приключение для нас обоих. И все-таки странно: нас связывал общий опыт, но все-таки ты был мне ближе, чем она.

— А где она сейчас?

— Она хотела стать благородной леди. Представь себе, эта черномазая обезьяна, оказывается, задалась целью выйти замуж за английского аристократа. А потом она прибегает ко мне вся в слезах и объявляет, что у

нее, видите ли, будет ребенок.

— Ребенок? От тебя?

— Откуда я знаю? От меня. От тебя. Да от кого угодно. Хотя если мои расчеты верны, то он запросто мог оказаться твоим. Но с другой стороны, мог и родиться раньше срока. Но давай поговорим о вещах более приятных, а не о каких-то потаскухах с их ублюдками.

— Мне надо знать, — твердо сказал Уильям. — Так что же случилось? Гарри зевнул.

— На свежем воздухе всегда очень хочется спать. — Но Уильям и не подумал встать со своего кресла, чтобы закрыть окно. Он терпеливо ждал. — Ну ладно, ладно, вижу, тебя это очень волнует. Я даже представить себе не мог, что ты так болезненно отреагируешь. С тех пор мне пришлось выслушать о ней кучу разных сплетен. В основном о том, что ее дом, карета, а также жалование слугам оплачивались золотом из испанской казны и что ради того, чтобы добраться до меня, она использовала тебя...

— Ничего подобного, это я ее долго и упорно добивался.

— Дай досказать. А через меня подобраться к Робину Девере и убить его. А заодно с ним и других важных министров, после чего, оказавшись припертой к стенке, начать оправдываться тем, что ее, видите ли, обрюхатили.

— Просто бред какой-то!

— Сейчас по городу ходит немало бредовых слухов, и я просто убежден, что распускают их сами же испанцы через своих шпионов и провокаторов, засланных сюда для организации беспорядков. Она же была всего лишь безобидной маленькой потаскушкой, хоть и черной. К тому же она сильно задолжала за дом и жалование слугам. — Гарри грустно улыбнулся. — Это мне в наказание за то, что увел чужую любовницу. В следующий раз буду умнее. Я тогда был очень на тебя обижен. Надеюсь, ты меня поймешь.

— И все же ты не сказал...

— Я отправил ее в Каудрей, чтобы она родила там своего ублюдка. Видишь, мне тоже не чуждо сострадание. Вообще-то я очень даже великодушен.

— Да-да, я знаю. А потом? Гарри пожал плечами:

— Ну, вообще-то у меня тогда были и другие дела. Например, такой пустячок, как война с испанцами и его преосвященством в Кале. Было уже просто не до нее. Она же словно растворилась в воздухе, попросту исчезла из жизни. Порой я даже задаюсь вопросом, а не приснилось ли мне все это.

Но потом припоминаю это дивное смуглое тело, этот округлый холмик, что становился все выше и выше день ото дня. Слушай, да забудь ты ее. Давай будем считать ее просто частью нашей болезни. И велим принести нам немного вина. Клянусь, я уже чувствую себя совершенно здоровым.

Но выпить вина им так и не пришлось. На звон колокольчика, стоявшего на столике у кровати Гарри, в спальню ворвались трое врачей, решительно настроенных против тезиса про Wein, Weib und Gesang. Уильяму было позволено навестить больного через день-другой с тем условием, что он не станет волновать его так сильно, как на этот раз. Нет, вы только посмотрите, он впустил в комнату свет и свежий воздух!..

— Да, я понимаю, — ответил Уильям, наблюдая за слугами, призванными в господские покои специально для того, чтобы восстановить прежний душный полумрак. — Свет и свежий воздух — величайшие враги человечества.

Дни становились все холоднее и короче. Гарри хоть и медленно, все же поправлялся, и вместе с тем возрождались их с Уильямом прежняя дружба. Но будет ли она такой, как прежде, сохранится ли в ней это весеннее ликование? Ведь перед Уильямом был уже не юнец, а мужчина, который к тому же успел подхватить настоящую взрослую болезнь. Вольнолюбивый юношеский дух Гарри переродился в хитрую, скользкую, изворотливую душу политика, не чуждую коварства и интриг, которые так старательно насаждал при дворе милорд Эссекс. Уильям же чувствовал себя стареющим брюзгой, недовольным жизнью, которую можно было сравнить только с нудной, тягучей болью от сломанных зубов. Временами ему даже начинало казаться, что, ощупывая языком этот поредевший частокол, он сможет перечислить все свои неудачи и разочарования. Милейший, сладкоустый мастер Шекспир.

Проза жизни была покрыта беспросветным мраком; в этом он со временем убеждался все больше и больше. При дворе был устроен какой-то чудовищный маскарад: большие государственные печати, суетливая возня у трона, тяжелые золотые цепи облеченных властью, подобострастная лесть. Королева, престарелая, грязная, с обезображенным оспой лицом, вертелась, словно нимфа, перед разрисованными зеркалами, воображая себя, очевидно, Титанией, королевой фей; все это низводило события до ранга невеселой и отвратительно исполняемой комедии. Ходили гадливые слухи о том, что якобы Эссекс решил прибрать к рукам всю добычу, захваченную в Кадисе, королева же хотела во что бы то ни стало пополнить награбленным свою сокровищницу — визжащая от жадности старуха насккивает на злобно орущего в ответ мальчишку, и вся эта безобразная

сцена разыгрывается на глазах придворных дам, которым надлежит делать вид, будто бы они ничего не слышат... Желание пополнить свой карман монетами переросло в безликий гнев, в ссору ради ссоры. На какое-то время главной новостью для Уильяма стала кончина старого Джеймса Бербеда, умершего незадолго до Сретения; но до него все же дошли слухи о том, что Эссекс и Гарри вместе со своими приспешниками якобы замышляют что-то против министра Сесила и самой королевы и что граф Нортамберленд, дрожа от праведного гнева, вызвал Гарри на дуэль, чтобы выяснить отношения при помощи стали (какие отношения? ради чего? неужели от этого что-нибудь изменится?). Но бездействие и постыдная нерешительность сводили на нет все эти угрозы: проливать кровь за правду никто не спешил.

Божественные звуки флейт и скрипок, чистое пламя свечи, освещающей грешный мир, — они казались лишними в этом заросшем паутиной подземелье. Уильям со вздохом подумал о том, что, наверное, ему так никогда и не удастся подобрать нужные слова, чтобы изобразить пороки своего времени. Он пришел в «Розу», заплатив пенни за вход, чтобы посмотреть новую пьесу Чепмена, и теперь стоял в толпе зрителей вместе с Диком Бербедем и его братом Катбертом (эти двое стали владельцами Блэкфрайарз и «Театра» после смерти отца). Бербеда не пожелали платить серебром своим конкурентам и заняли грошовые места; они стояли сложив руки на груди под полами плаща, стояли у самых ворот, всем своим видом показывая кратковременность своего здесь присутствия. Они зашли сюда действительно ненадолго, лишь для того, чтобы составить общее представление о комедии «Забавное происшествие» — престарелые граф Лабервель и графиня Морэн, оба ревнуют своих молодых супругов; Доуссер — унылый меланхолик в черной шляпе. Таковы уж были времена и лондонские нравы.

— Но ведь это, — говорил потом Уильям, когда они сидели в таверне за элем с сыром, — это не живые люди. В их характерах нет противоречий, там все уныло и приглажено. Понимаете? Ведь на самом деле так не бывает, человеческая душа не может вечно веселиться, или, наоборот, пребывать в унынии, или же изнемогать от любви. А эти персонажи Чепмена какие-то примитивные, невыразительные, словно любительские рисунки. Они не могут удивить ни себя, ни окружающих, совершив, например, несвойственный им поступок. Улавливаете, что я имею в виду?

Дик Бербед радостно покачал головой.

— Это новое направление, — сказал он, — и я слышал, что оно уходит своими корнями в далекое прошлое, в древние философские учения. Это

сатира. Кстати, я смог бы сыграть роль этого комичного меланхолика. У меня бы здорово получилось...

— Тебе удалась бы любая комическая роль, мы все это прекрасно знаем. Ведь для этого надо снова и снова исполнять одну арию, а потом переключиться на другую. Но дело в том, что человеческая душа не сводится лишь к одной, хоть и много раз повторенной арии, она многогранна. Взять хотя бы образ того же самого Шейлока — иногда он жалок, иногда смешон, порой вызывает ненависть...

— Шейлок — вонючий жид. Уильям тяжело вздохнул:

— Людям хочется так думать, они вольно или невольно отождествляют его с Лопесом. Вот это как раз и есть принцип сатиры — заклеить кого-то как грязного жида, как старого мужа-рогоносца, как юного распутника или же изысканного франта. Но сатира — это очень незначительная часть поэзии.

— Что бы ты ни говорил, — ответил Бербедж, — сейчас это модно. Так что мы тоже поставим у себя нечто подобное.

— Это не по моей части.

— Ерунда, если уж Чепмен смог, то ты тоже справишься.

— Я могу сделать только пародию, сатиру на их сатиру, и не более того. Или, может быть, не менее? Мода быстро меняется, пьеса же должна быть выше, чем мода, чтобы пережить свое время.

— Это все равно что презирать вчерашний голод. Но только вчерашний голод нельзя утолить завтрашней едой.

— Надо же, как образно, — улыбнулся Уильям.

— Так что, как говорится, «хлеб наш насущный даждь нам днесь», то бишь сегодня, — процитировал Бербедж молитву. — А заодно и деньги, чтобы хватило на покупку дома. Вот что, Уилл, поскорее заканчивай улаживать дела со своим домом и принимайся за работу, чтобы с нами никакой Чепмен и близко тягаться не мог.

— Я уже все уладил, — ответил Уильям. — Я являюсь счастливым владельцем Нью-Плейс, купчая подписана, так что все в полном порядке. А интересно, Чепмен смог бы купить лучший дом в своем родном городе? И вообще, — надменно добавил он, — Чепмен не любит распространяться о своей генеалогии.

— О чем?

— О происхождении.

— Да уж, Чепмен не джентльмен, — неопределенно проговорил Дик Бербедж,

— хотя он неплохо знает по-гречески.

— Это фригольд?^[58] — внезапно спросил Катберт Бербедж. До сих пор он молчал, мрачно выводя пальцем разные геометрические фигуры на пролитом на стол эле.

— Ты о Нью-Пяейс? О да, фригольд. — Уильям догадался, что было на уме у Катберта. Ему нравился Катберт — подтянутый, аккуратный человек, который был всего лишь на два года моложе его, любящий точность во всем, благообразный, уравновешенный, но последнее время совершенно лишившийся покоя — как, впрочем, и все они — из-за мучительного вопроса с арендой театра.

— Вот ты все говоришь, какие пьесы нам нужно писать и ставить, — с упреком сказал он брату. — Но при этом упускаешь из виду главное — где это делать. Нам нужен собственный Нью-Плейс.

— Ну, может быть, Аллен еще продлит нам аренду, — беззаботно ответил Дик. — Он сам говорил, что собирается это сделать.

— Но не со мной.

— К тому же у нас будет Блэкфрайарз, это гораздо более теплое помещение, чем любой из старых театров. И ни местные толстосумы, ни даже Тайный совет не смогут нам в этом помешать. К тому же милорд сам сказал мне...

Богатые жители этого района были обеспокоены соседством с плебейским театром и жаловались на то, что он якобы будет нарушать благочестие, а толпы простолюдинов, жующих на ходу жареные колбаски, и грохот на сцене совершенно лишат их сна и покоя. Дик был настроен слишком оптимистично; и в этом тоже был своеобразный юмор.

— Так что у нас будет сразу два действующих театра, — заключил Дик, — вот увидишь.

— И в обоих будет ставиться что-нибудь смешное, — подсказал Уильям.

— Кстати, о смешном, — вспомнил Дик. — Этот каменщик уже что-то пишет для «слуг Пембрука». Я видел его в роли Иеронимо. Кстати, играл он очень даже недурно. Так вот, он просто помешан на юморе, и говорят, у него даже есть собственная теория на этот счет.

— У каменщика? — Уильям нахмурился.

— Ну да, — с отрешенным видом подтвердил Дик Бербедж, — это еще один поэт, который хоть и не джентльмен, но знает греческий. Как-то раз в пивной у датчан он по пьяному делу устроил целое представление, но его никто не слушал. А уж он так старался, читал и Анакреонта, и Ксенофонта, и не только их. А под занавес взял и наблевал на пол.

— Каменщик, который знает греческий?

— Ну да, когда-то он учился в Вестминстер-Скул. Потом был в солдатах и даже вернулся домой с трофеями. Судя по его собственному рассказу, он отобрал их у какого-то негодяя, которого убил на глазах у обеих армий. Это было в Нидерландах. Очень даже по-гречески. У него не то отец, не то отчим был каменщиком, и сына он тоже обучил этому ремеслу. Я думаю, каменщику вполне по силам создавать неплохие пьесы.

— И еще более прочные театры, — подсказал Катберт.

— Каждый человек должен заниматься своим делом, — промолвил Уильям. — Я имею в виду ремесло. — Но потом он вспомнил, какое ремесло было изначально уготовано ему самому. — Кстати, а что он написал?

— Да так... просто Том Нэш взялся было за пьесу для труппы Пембрука, но так ее и не закончил. Это была сатира, ну там опять же насмешки и все такое... Он сделал два акта, а потом испугался и продолжать не стал. И вот откуда ни возьмись появляется этот увалень Бен и говорит, что берется написать оставшихся три акта, дайте только ему перо и бумагу.

— А как его зовут? — Спросил Уильям.

— Его зовут Бен. Бен Джонсон.

— Для каменщика имя вполне подходящее.

— Очень остроумно. Нэш дрожит от страха, что все это может зайти слишком далеко. Но этот Бен уверяет, что он не боится ни Бога, ни черта, совсем никого.

— И кому же больше всех достанется от его сатиры?

— Да всем подряд, — неопределенно ответил Дик Бербедж. — Сити, двору, придворным, Тайному совету... короче, всем.

Вроде бы пустяк, чужая пьеса. Кто бы мог подумать, что именно она сможет открыть дверь, что всегда держали закрытой на множество засовов?.. Унылое городское лето, работы невпроворот, Гарри вместе с Эссексом отбыл громить испанцев.

— Это секрет, — доверительно сообщил он Уильяму. — Но я обязательно привезу тебе какой-нибудь маленький подарок, будь то слиток испанского золота или черная, выдранная с корнем борода. А может быть, даже прихвачу какую-нибудь донну или сеньориту, или как там они у них еще называются.

— Кстати, если уж разговор зашел о черных женщинах...

— Ну вообще-то, они там не все черные. Говорят, попадаются и рыжие. — Гарри отпил глоток своей мадеры и, громко рыгнув, как то и подобает бравому солдату, сказал: — Ну да, море уже зовет. Сегодня

вечером я выезжаю в Плимут.

— Будь там поосторожнее с белокурыми девицами Запада. Ну а как насчет той, что с Востока, совсем не белокурой и уж давно не девицы...

— О ней уже давно нет никаких известий. Но похоже, она все еще тебя волнует.

Да, она его волновала. Воспоминания о ее теле не покидали Уильяма и когда он работал, и когда лежал ночью без сна, изнемогая от жары, и когда бродил по улицам Сити, подмечая типажи, лица, слова, шутки. Но последовавшие вскоре перемены в общественной жизни, в стороне от которых не остался и он, стали причиной того, что он вспоминал о своей смуглой леди все реже и реже. Что случилось, кем были эти грязные, одетые в жалкие лохмотья люди и убогие калеки, целыми стаями покидающие Лондон? Нищие уходили из города, но, что было причиной этого великого исхода, Уильям не знал. Он спросил об этом у цирюльника.

Ходят слухи, что театры снесут напрочь. Я слышал, мировые судьи уже получили соответствующие распоряжения.

— Только через наши трупы! — воскликнул Хе-минг.

— Да уж, — прорычал Бербедж, — можешь не сомневаться. Они с радостью снесут театры вместе с актерами, а потом поздравят друг друга с тем, какое богоугодное дело они совершили.

— Вот и поделом твоей сатире, — буркнул Уильям себе под нос.

— Что? Что ты сказал? Эй, что ты там сказал?

— А что случилось со «слугами Пембрука»? — спросил Гарри Конделл.

— Нэш оказался умнее всех, — ответил Бербедж. — Он предвидел, что этим все и кончится, а потому не стал тянуть и сбежал в Ярмут. А Джонсона, Ша и Гэба Спенсера засадили в Маршалси. Остальных просто не нашли. А до того, как оказаться в тюрьме, этот Джонсон успел заявиться в «Розу», поступить в труппу лорда-адмирала и выклянчить у Хенсло четыре фунта аванса. — Из груди Бербеджа вырвался истерический смешок. — Подумать только, вытряс из Хенсло целых четыре фунта. А взамен — фига!

— Вот так каменщик, — пробормотал Флетчер.

— Вот такие наступают времена, — заявил Бербедж, снова переходя на рык.

— А все оттого, что всякие неотесанные бездари и горлопаны суются не в свое дело. А ведь было время, когда нами восхищались благородные джентльмены. Было время, когда все шло гладко и хорошо. — Сказать по совести, Уильям, сколько ни пытался, так и не смог припомнить такого

времени: трудности были всегда.

— Ну и ладно, — махнул рукой Катберт Бербедж, — мы лишимся «Театра» в любом случае. Так какая разница, произойдет это сейчас или чуть позже.

— А мне кажется, все обойдется, — высказал свое мнение Кемп. — Ведь всегда же обходилось.

— Но что нам делать сейчас? — спросил Филлипс.

Поехать домой, навестить Стратфорд, Нью-Плейс и герб: они были его оплотом, они должны были выдержать любые испытания...

— Разойтись по домам, — сказал Уильям.

И вот сэр Уильям Шекспир отправился домой. Хотя, сказать по совести, леди и джентльмены, было бы лучше, если бы он туда не ездил. Залитые ослепительным августовским солнцем пыльные дороги, встреча с радушной хозяйкой «Короны», что в Оксфорде, близ Корнмаркета... И наконец прямая дорога на Стратфорд. При мысли о доме сердце в груди, обтянутой великолепным камзолом, радостно забило. Эй вы, духи великих, но уже покойных стратфордцев, готовьтесь принять в свой сонм нового сына, который преуспел в этой жизни. Город, склони передо мной голову! Значит, так: первым делом въехать в город по Шипстон-роуд и переехать через Клоптонский мост, под которым у затона растет молочай. Вернуться к истокам... Уильям улыбнулся, вспомнив о Тарквинии. Он снова увидел белое пышное женское тело и то, как уродливый южный правитель набрасывается на него. Улыбка получилось нервной: на солнце набежало облако. Вскоре облако освободило дневное светило из своих объятий, и Уильям принял вызов от самого Клоптона, восседая верхом на резвом гнедом скакуне, конь под стать седоку. Итак, проехать по Бридж-Фут, затем налево, в сторону Уотерсайд. Со счастливым возвращением домой, ваша честь. Да хранит вас Господь, сэр; ваш родной город и вся страна гордятся вами. Шип-стрит, залитая солнцем, где в воздухе витают овечьи шерстинки, потом Чепел-стрит, над которой плывет колокольный звон...

А вот и она, вершина всех стараний, воплощенная в жизнь мечта. Нью-Плейс» дом самого Клоптона. Уильям впервые в жизни взглянул на этот дом глазами хозяина, чувствуя при этом оглушительный стук в висках. Документы о передаче имущества оформлялись без его участия, у него тогда были неотложные дела в Лондоне. Уильям знал, что его жена и дочери уже перебрались сюда: он посылал им деньги на покупку мебели и прочего домашнего скарба. Тяжелая входная дверь поблескивала под лучами солнца, которое благосклонно сияло с небес и тоже, казалось,

воздавало должные почести мастеру Шекспиру. Может, постучать? Нет, он не станет спрашивать разрешения, чтобы войти в собственный дом. Парадная дверь оказалась заперта; тогда, пройдя вдоль каменного забора, увитого плющом, Уильям увидел небольшую садовую калитку. Большой сад казался диким и заброшенным: Андерхилл, прежний владелец дома, совершенно не следил за ним. Кусты роз, люпины, жимолость, живая изгородь из тиса... Уильям уже представлял себе, как здесь будет красиво через некоторое время. А посреди той лужайки, вон там, нужно будет посадить тутовое дерево...

Дверь кухни была открыта, и Уильям наконец вошел в дом. Это была прекрасная кухня. Здесь было прохладно, на полках поблескивали начищенными боками медные кастрюли, но все они были пустыми: никто здесь ничего не стряпал и не взбивал масла. Уильям прошел через анфиладу гостиных. Простая, но до блеска отполированная мебель, сундук для приданого, жесткие стулья. Уильям пожегся. Казалось, будто в доме никто не жил. Где же Джудит и Сьюзан? Где Энн? Можно подумать, что он купил этот дом для себя одного. Уильям направился к лестнице, стараясь идти на цыпочках, как будто в одной из этих спален наверху лежал покойник — его собственное безжизненное тело, лишенное полагающихся ему почестей. Он поднялся на второй этаж.

И остановился в нерешительности, увидев пять закрытых дверей. Почему-то на память пришло имя Джона Харрингтона. Аякс. Уборная. Ватерклозет. А почему бы и нет? Почему бы не завести в этом доме такую полезную вещь? Это была хорошая идея. Внезапно перед глазами Уильяма возник непрощеный образ Дика Бербеджа, который со спущенными штанами, но в своей унылой шляпе восседал на таком троне.

— Энн, Энн, — тихонько окликнул он. И в тот же миг из-за одной из дверей послышалась тревожная возня и сдавленный шепот. Недоумевая, Уильям повернул ручку, толкнул дверь и увидел...

...Дебелая нагота, попытки справиться с волнением.

— Это все она, она это, честное слово, — бормотал Ричард, стоя перед братом в расстегнутой рубашке, заискивающе улыбаясь и пытаясь засунуть обратно в штаны свой внушительных размеров, но уже опадающий инструмент.

Уильям по-прежнему неподвижно стоял в дверях, чувствуя, как его начинает бить озноб, и вместе с тем ощущая большое удовлетворение, какое испытывает муж-рогоносец, получивший наконец наглядное доказательство очевидному. Он увидел, что кровать была та самая, из Шотери, и понимающе кивнул. Энн набросила на свои стареющие тела

ночную рубаху.

— Ей нездоровилось, — продолжал Ричард, — и она прилегла здесь, ведь было очень жарко... а я только что пришел и... — Неожиданно он, прихрамывая, отступил в сторону, уже надежно застегнутый на все пуговицы, и затянул другую песню. — Это все она, это она меня заставила... — И тихонько захныкал. — Я не хотел, но она... — Он даже указал дрожащим пальцем на Энн, которая скрестив руки на груди стояла у кровати, ставшей проклятием Нью-Плейс.

— Да, конечно, — почти примирительно сказал Уильям, — это все из-за нее.

ГЛАВА 9

Это все из-за нее, из-за этой женщины. Во всем была виновата она. Уильям не ожидал этого, но, возвращаясь в Лондон, пребывал в совершеннейшем душевном спокойствии. Огромное спасибо вам обоим за это долгожданное избавление, ведь ничто не придает мужчине таких сил и энергии, как осознание того, что ему наставили рога. Вы дали мне в руки козырь, этакую индульгенцию в отпущение моих прошлых и будущих грехов. Что же до того, что не было ни драки, ни скандала... Конечно, я мог бы помахать той джентльменской шпагой, что висела у меня на боку в ножнах, но разве не отдавало бы это театральным душком? А на сцену я выхожу только за деньги, задарма не работаю. Вот почему, моя дорогая женушка, я просто откланялся. Я вернусь к ужину и поговорю со своими дочерьми, если, конечно, они действительно мои. Что же до тебя, мой маленький братишка, то ты уж упражняйся в ублажении стареющих распутниц где-нибудь в другом месте. Жалкий червяк, залезающий в заброшенные норки...

О Господи, Господи, Господи, Господи...

Несмотря на свое спокойствие по поводу измены жены, Уильям не замечал ничего из того, что происходило вокруг. Отголоски лондонских событий посещали его только во сне, сливаясь в нестройный хор знакомых голосов:

ЭНДРЮ УАЙС

Касательно издания вашей пьесы «Ричард Второй», я, как книготорговец и мудрый человек, предлагаю вам проявить благоразумие и вырезать ту сцену, где речь идет о свержении короля. В наше время Тайный совет во всем видит измену и даже слово «наследник», сказанное шепотом (а разве можно произнести его иначе?), может в мгновение ока превратиться в ураган, который сдует головы с плеч, словно яблоки с дерева...

РИЧАРД БЕРБЕДЖ

Они смилостивились: мы снова можем играть. Но какой в этом прок? Только «Розе» вся эта кутерьма пошла на пользу: там распустились сразу три новых цветка (для нас это тернии!) — Спенсер, Ша и Бен, будь он неладен. Эта троица сумела выйти из застенков Маршалси, и вот на корабле лорда-адмирала появились три новые высокие мачты.

ЭНДРЮ УАЙС

Ну ладно, будь по-вашему. На паперти собора Святого Павла под вывеской с ангелом, звеня серебром, люди будут покупать вашу трагедию о смерти Ричарда и о Болингброке — какое мерзкое слово!

РИЧАРД БЕРБЕДЖ

Все кончено, «Театр» пропал. Срок аренды вышел, коварный Джайлз, разбойник Аллен, одолел нас, наше искусство лишилось крова...

КАТБЕРТ БЕРБЕДЖ

Но ведь у нас в запасе есть местность Кетн-Клоуз и названный в ее честь театр «Куртина». Помнишь, Дикон, наш отец десять лет назад купил его на паях с этим безмозглым бакалейщиком Джоном Брейном. Давайте дождемся зимы, и мы сможем заработать кучу денег, ведь чума далеко, парламент созван, и в Сити должно быть многолюдно...

О Господи, Господи, Господи...

РИЧАРД БЕРБЕДЖ

Нет, ничего у нас не получится. Ко двору прибыл некто, сообщивший, что испанский флот вышел в море. Поймали шпионку и прочитали ее бумаги, из которых явствует, что мощная армада уже стоит у наших берегов близ Фалмута. Что же касается многолюдного Сити, то, как только распустят парламент, город опустеет.

КАТБЕРТ БЕРБЕДЖ

Говорят, что испанцы будут разгромлены с Божьей помощью, как уже было в восемьдесят восьмом году. Наши враги одержимы жаждой мести: они потеряли тогда пятьдесят кораблей — целых пятьдесят кораблей легли на дно! — а остальные, скуля от страха и поджав хвост, наперегонки рванули обратно в Испанию.

ЭНДРЮ УАЙС

О, ваша книга идет нарасхват: милорд Эссекс вернулся ко двору, кичась своими пороками, и очень многие люди угадывают его черты в Болингброке.

О Господи, Господи, Господи, Господи, Господи...

Они даже не замечают своего собственного безрассудства, своего убогого лицедейства... Потому что любой адюльтер, даже и кровосмесительный, можно сравнить с искусством; то, что их застали врасплох, свидетельствует лишь о плохой игре. Но мы ведь не ожидали... Да, и тем не менее театральные пьесы изобилуют такими сценами: муж неожиданно возвращается домой из Коринфа, Сиракуз или Ньюингтона... Это само по себе уже является отличным сюжетом для комедии. Вряд ли я когда-нибудь смогу простить им это дурацкое безрассудство и недостаток мастерства.

Уж лучше бы мне по-прежнему жить в счастливом неведении...

Но раз уж это случилось, то лучше всего будет уйти с головой в работу, углубиться в изучение истории, спрятать там свою страдавшуюся, готовую расстаться с телом душу. Поискать утешение в мимолетных любовных интрижках, оставив, однако, на будущее сюжет о предательстве могущественного, но вероломного патрона.

— Ты становишься отъявленным моралистом, — сказал Гарри, непринужденно развалившись в лучшем кресле в комнате своего друга и перекинув одну ногу через подлокотник. — Сначала ты изображаешь Робина как Болингброка-триумфатора, потом он должен стать старше и подобреть, потом у тебя появляется этот Готспур, который опять же списан с Робина, и он должен умереть, уступив свое место жирному трусу. Какое

бесчестье!

— Я не имел в виду милорда Эссекса ни в первом, ни во втором случае. Просто «Ричард» хорошо продавался, и я подумал, что было бы неплохо продолжить развивать эту линию. И к тому же, — промямлил Уильям, — мне было велено добавить остроты.

— Но все равно все узнают в нем Робина, — сказал Гарри и налил себе мадеры, которую предусмотрительно принес с собой, ведь Уильям не держал у себя такого вина. — А мы, как только увидели на прилавках твоего «Ричарда», сразу же сошлись на том, что именно такой поэт и нужен для нашей затеи.

— Для какой еще затеи? Ты о чем? Гарри продолжал с мрачным видом пить вино. Затем он сказал:

— Так больше не может продолжаться. Королева только и говорит, что об «этом выскочке», «милейшем лорде», который получил графский титул и тут же слишком много о себе возомнил. А Робин героически сражался за Фаял, и вот какую благодарность он за это получил.

— Я слышал, что Фаял взял сэра Уолтера.

— Послушай, ты на чьей стороне? С Робинем обошлись несправедливо, и очень скоро кое-кто за это жестоко поплатится.

— Я, — многозначительно ответил Уильям, — ни на чьей стороне. Я просто занимаюсь своим делом и ни во что не вмешиваюсь. Да и кто я такой? Всего лишь жалкий, презренный поэт.

— И что, ты мне больше не друг?

— Ну что ты, Гарри... милорд... Но как я могу рассуждать обо всех этих дворцовых ураганах, сам находясь далеко в стороне от них, там, куда лишь изредка долетает легкий ветерок. И что я получу или потеряю, если присягну на верность этому вашему делу? И вообще, если уж на то пошло, кому и какой может быть от этого прок?

— Был один такой римский поэт, — как бы между прочим заговорил Гарри, разглядывая свой пустой кубок, — возможно, ты даже слышал о нем. Его звали Публий Вергилий Марон. Так вот, он воспевал и прославлял императора Августа...

— Значит, милорд Эссекс будет теперь у нас императором Августом, да?

— А ты, как я погляжу, — усмехнулся Гарри, — уже вообразил себя Вергилием.

— Я бы предпочел быть Овидием.

— Ну да, сосланным к готам. Слушай, я ведь говорю с тобой вполне серьезно. Королева впала в маразм, и он усугубляется с каждым днем. Все

эти ее приступы ярости, беспричинные нападки на Робина, оскорбления и даже — было и такое на днях — пощечина. Можешь это себе представить? Она ударила его по лицу, просто так. Все это лишний раз доказывает, что старуха уже окончательно выжила из ума. Мы не можем удержать своих завоеваний за границей: ты только погляди, каких генералов она отправляет в Ирландию. И что бы ни предложил Робин — все с негодованием отвергается. Ее время прошло.

— Измена, милорд? Мой милый и бесконечно дорогой милорд...

— Ага, заговор, который мы готовим в доме поэта. А как же насчет измены Болингброка?

— Королей и королев нельзя свергать.

— Нет, вы только посмотрите на нашего святошу. Никто не вправе причинить вред помазаннику Божиему... Значит, Генрих Четвертый был захватчиком, а Готспур правильно сделал, что восстал, не так ли?

— Генрих Четвертый был миропомазанным королем.

— Так я могу помазать тем же миром и того нищего, что орет песни на улице, — сказал Гарри. — Могу помазать им и самого себя, как Гарри Девятого. Должно быть, это очень ценный елей.

— Старые времена прошли, — сказал Уильям. — Я читал о них у Холиншеда, черпая оттуда сюжеты для своих пьес. Раньше прав был тот, кто успел первым отхватить лакомый кусок. Однако битва при Босворте ^[59] положила этому конец.

— Ну да, дальше можешь не рассказывать, я смотрел пьесу...

— Мы не хотим, чтобы эти порядки вернулись, чтобы бароны снова перегрызли друг с другом из-за бесполезной золотой шапки, которая не защитит даже от дождя.

— Дождь может смыть с чела благоуханное миро, — подсказал Гарри. — Тебе ненавистны захватчики и бунтовщики, но в твоих пьесах как раз их образы и удаются лучше всего.

— В каждом из нас скрывается дьявол, — ответил Уильям. — Мы противоречим даже самим себе. И сцена — самое подходящее место для того, чтобы исторгнуть этого беса из своей души.

— Ты избавляешься от беса, но забываешь о том, что будоражишь тем самым умы и души других. Кто-то говорит, что для того, чтобы обличить порок, надо первым делом представить его как нечто заслуживающее обличения, так как просто изображение порока лишь усиливает его порочность. Как знать, возможно, в пьесе о событиях английской истории ты совершаешь свою собственную измену. Возможно также, что измена и порок, — сказал Гарри, — это просто слова.

— Ты сам сейчас говоришь, как герцог Гиз. Если помнишь, именно эта пьеса шла в тот день, когда мы с тобой впервые встретились. Ты наведался в «Розу» вместе с этим своим императором. Или Макиавелом, — вздохнул Уильям. — Я очень сомневаюсь, что тебя мог настолько развратить бедный Кит Марло или кто-нибудь еще из нас, бедных поэтов.

— Меня никто не развращал, — спокойно отозвался Гарри. — Но я вижу разврат и упадок в стране. Страна погрязла в грехе и теперь разваливается на части. И молодые люди должны избавить ее от этой заразы.

— Гарри, — вздохнул Уильям, — я старше тебя на десять лет... Хотя нет, не так, я беру свои слова обратно, возраст сам по себе еще не является добродетелью. Просто позволь задать тебе один вопрос: ты хочешь дожить до моих лет?

— А, ты про жизнь, — беспечно отмахнулся Гарри. — Если сам по себе возраст не является добродетелью, то тогда и незачем стремиться прожить подольше. Я буду действовать! И если при этом мне суждено будет погибнуть, что ж... тогда я умру. Я ведь мог погибнуть и во время последнего похода на острова...

— Да, я знаю, ты проявил себя. И был даже произведен в рыцари. Сэр РГ.

— У Эссекса много верных ему людей.

— Но при тех обстоятельствах смерть была бы почетна. А что за почет, скажи на милость, в том, чтобы закончить жизнь так же, как тот несчастный еврей? Позорная смерть на потребу орущей толпе, когда твою плоть раздвигают, словно занавес, чтобы вытряхнуть из утробы кишки? Это смерть предателя. И помяни мое слово, ты тоже можешь так умереть. Никому не под силу спихнуть эту королеву с ее трона. Она доживет свои дни и умрет королевой. Так что потерпи, ждать осталось не долго.

— Она будет стареть, дряхлеть и продолжать разваливать страну, — ответил Гарри. — Она трясется над каждым фартингом из своего кошелька, а на обед приказывает варить суп из костей, да так, чтобы хватило на несколько дней вперед. А мы должны терпеть ее зловонное дыхание — зубы-то у нее все сгнили — и восторгаться ее немеркнувшей красотой. Она жеманно хихикает, путается во французском, итальянском и латыни и держит у себя в спальне картинки с похабными сценами: разглядывает их и пускает слюни.

— А французский посол восторгался ее умом, — смущенно заметил Уильям. — По крайней мере, я так слышал.

— Ну да, ты слышал то и видел это, но сам не знаешь ничего. Наша

королева — вонючая куча дерьма. Я вынужден бывать при дворе, так что это-то я знаю. А от тебя, метаморфоза Овидия, мы хотим получить пьесу или поэму, которая показала бы, что у нас не так и что надо изменить. Нечто такое, что встряхнуло бы молодых и указало бы им нужный путь. Пьеса про какого-нибудь старого, выжившего из ума и затем свергнутого тирана.

— Когда в свое время я сочинял поэмы, — с расстановкой проговорил Уильям, — то я делал это, чтобы доставить тебе удовольствие. Я прекратил их писать, когда увидел, что стихи больше не приносят тебе радости. Меня это не обижает — пришло время, когда ты должен был занять свое место во взрослой жизни, и времени на развлечения...

— Хватит ходить вокруг да около, давай выкладывай, что хочешь сказать.

— А сказать я хочу то, что я и сейчас согласен писать стихи ради твоего удовольствия, но только если это не выходит за рамки закона...

— О Господи, опять ты читаешь мне морали!

— Я не буду писать ничего подстрекательского. Не допущу, чтобы мое перо стало орудием измены. Гарри, — взмолился он, — пожалуйста, не связывайся ты с этими полоумными заговорщиками.

— Так что, может быть, мне лучше связаться с какой-нибудь полоумной бабой? И вообще, мне не нравится, что ты постоянно употребляешь это слово — «измена». Да кто ты такой, чтобы предостерегать меня от измены?

— Я твой друг. И любовник. И мне кажется, что друг имеет право...

— Раз уж ты считаешь себя моим другом и любовником, — упрямо сказал Гарри, — может, у тебя и есть какие-то там права. Но сначала ты должен доказать, что на самом деле являешься для меня и тем и другим. Исполни свой долг!

— Долг, — с горечью повторил Уильям. — Мне с самого детства при каждом удобном случае твердили о долге — перед семьей, перед Церковью, перед страной, перед женой. Но теперь я уже достаточно пожил на свете и знаю, что важнее всего для человека — быть в ладу с самим собой. Его долг — сохранить это равновесие. Я уверен, каждому из нас надо бороться с зарождающимся в душе хаосом, не давая ему возможности вырваться наружу, — это и есть наш долг, а все остальное лишь лицемерные слова, призванные оправдать корыстный интерес. Я должен улучшать жизнь посредством моего искусства. Что же до всего остального, то я не хочу будить спящего дракона. — Уильям видел, как дрогнули губы Гарри, готового продолжить эту банальную метафору, и поспешил добавить: —

Только не говори мне о рыцарях, убивающих драконов. Ведь кровь одного дракона порождает новых чудовищ. Так что не надо его будить, пусть спит.

— Обычные слова обывателя, — сказал Гарри. — Что ж, мне следовало того ожидать. Все-таки старость не в радость. Ревматизм, беззубый рот и тому подобное... Ты не скажешь и слева в нашу поддержку, потому что ты боишься. И сейчас ты начнешь твердить о том, чего хочет простой народ, считая самого себя его воплощением; Лондонский мост был построен на мешках с овечьей шерстью. Так где же твоя меховая мантия, где олдерменское жирное брюхо и, о да, молодая жена, за которой напропалую волочились бы юноши со слишком откровенно торчащими гульфиками? Да уж; тут ты выбиваешься из общего ряда.

Уильям невесело усмехнулся:

— Ну если уж ты задался целью найти типичного беззубого гражданина, то считай, ты его уже нашел. Я могу переплюнуть всех в умении произносить патриотические речи, а также я самый прижимистый скряга и самый рогатый муж, и таковым я стал стараниями собственного младшего братца.

— Рогоносец! Да ты что...

— Что слышал. Я видел это. Я застиг их голыми, видел, как они отскочили друг от друга, видел их стыд и бесстыдство. К твоему сведению, женщинам никогда не бывает стыдно. Можешь записать это изречение в свою записную книжку.

— Расскажи мне, как это было, Я должен знать все.

— Когда из-за «Собачьего острова» закрыли все театры, я поехал Стратфорд. Взял и нагрянул неожиданно. А там мой брат и жена исполняли священный ритуал, призванный превратить Нью-Плейс в настоящий дом любви.

— Расскажи мне все, что ты видел.

— Я и так уже рассказал достаточно. — Уильям видел, что его друг едва удерживается от смеха. — И даже больше чем достаточно.

— Больше чем достаточно! — Гарри веселился от души. Уильяму никогда не нравился его смех — визгливый истерический хохот маньяка; ему никогда не нравилось то, как при этом безобразно искажалось его лицо, как будто эта красота не имела ничего общего с правдой и великодушием. — Ой, не могу! — покатывался со смеху Гарри. Уильям увидел его почерневший клык с огромным дуплом и язык с желтым налетом. — Ой, уморил! — Внезапно он закашлялся: худощавое, скрытое под роскошными одеждами тело отчаянно содрогалось. — О Господи. — Выбившись из сил, Гарри устало откинулся на спинку кресла. — Как

скажешь. — Дрожащими руками он взял со стола вино. — Даже больше чем достаточно.

— Конечно, муж-рогоносец — это всегда очень весело, — вздохнул Уильям, внутренне содрогаясь от только что увиденного им проявления чувств. Смех Гарри был таким же порочным и бесстыдным, как и та сцена, которая стала причиной для его буйного веселья. Он вспомнил слова Гилберта, эту странную деревенскую мудрость, переиначенную и обретшую глубокий смысл благодаря своеобразному гению Гилберта. «Все мы знаем, кто мы такие, — сказал он тогда, — но не знаем, кем могли бы стать».

— Боже ты мой, у меня все болит!

— Козел, то есть по-гречески «трагос», и выпирающий из штанов член, — рассуждал вслух Уильям. — Этот акт включает в себя все необходимые элементы. Так почему же муж-рогоносец не может быть фигурой трагической?

Гарри поперхнулся вином, и брызги разлетелись во все стороны. Уильям почувствовал влагу на своем лице; одна из капель попала на уголок его губ, и он почувствовал кисловато-сладкий вкус вина. Вкус умирающей дружбы. Взяв со стола носовой платок в крапинку, он молча вытер лицо.

— Я молю Бога о том, — сказал Уильям, — чтобы жизнь преподавала тебе урок. Житейские невзгоды, может быть, сделают из тебя человека.

— Я из-за тебя ребро сломал, — простонал Гарри, вволю насмеявшись и начиная понемногу приходить в себя.

— Со временем ты поймешь, что такое порядок. Брак — это заведенный порядок. И сколько бы человек ни страдал, он не может нарушить его. Прими это к сведению. Человек обязан кое-что выполнять.

— Ну что ж... — Гарри грубо выхватил платок из руки друга и промокнул им глаза, смахивая выступившие слезы.

— Двусмысленность слез, — услужливо заметил поэт.

— ...не знаю, порядок ли это или нет, но ты все же заставил меня пострадать. — Тяжело дыша, он принялся ощупывать ребра.

— И еще. Сегодня ты уже больше не станешь просить меня написать поэму или пьесу на тему ненавистной тирании. Твоим единственным впечатлением по выходе отсюда останется потешный образ мужа-рогоносца.

— Рогоносца... — Одного этого слова было достаточно, чтобы вызвать новый приступ смеха. Но на этот раз Гарри решительно сжал губы и принялся сосредоточенно отряхивать свой камзол, как будто смех был чем-то вроде хлебных крошек. — Да уж, из-за тебя я даже забыл о

государственных делах. Полагаю, все это из-за брата. Он придает истории особую пикантность. — Лицо Гарри снова начало было расплываться в ухмылке, но неимоверным усилием воли он все-таки подавил в себе рвущийся наружу смех.

Уильям почувствовал, как на него наваливается чудовищная, не передаваемая словами усталость. Этот мальчишка, этот достопочтенный лорд в своей детской или великосветской непосредственности уже как-то раз вывернул наизнанку и, подобно палачу, представил на всеобщее обозрение душу своего друга: видите вот этот сонет, здесь он говорит обо мне... А теперь еще одна сплетня для всеобщего обсуждения. Тем более, участие брата придает всему этому особую пикантность. Уильям холодно сказал:

— Если для рассказа друзьям тебе нужны прочие подробности, то изволь: брата зовут Ричард, и он на целых десять лет младше меня. — В следующий раз это уже не будет простым небрежением или легкомыслием. — А теперь, милорд, можете быть свободны.

Некоторое время Гарри недоуменно глядел на него, а затем шутливо уточнил:

— Вот как? Значит, я могу быть свободен? — Похоже это заявление его очень позабавило.

— Возможно, обсуждение раскидистых рогов убогого лицедея и не заинтересует ваших высокопоставленных друзей при дворе. Но зато эта сплетня пригодится для других ваших знакомых, в компании которых вы так любите посещать таверны. В любом случае, желаю вам весело провести время. А теперь оставь меня.

Гарри встал, продолжая смеяться, хотя, и не так заливисто, как прежде.

— Вот этого-то я и не смогу сделать, — сказал он в конце концов. — Я никогда не смогу тебя оставить. Ты даже огрызаешься и дерзишь так величественно, что я просто не могу обидеться. В гневе ты просто великолепен. Ну вылитый Тарквиний.

— Гарри, давай посмотрим правде в глаза, — устало проговорил Уильям. — Весна давно закончилась.

— Что ж, теперь я вижу, что мне и в самом деле лучше уйти, — улыбнулся Гарри, — и вернуться попозже, когда ты будешь в более миролюбивом настроении. Только, пожалуйста, не надо говорить, что я еще не повзрослел.

— Ну неужели ты не понимаешь, — воскликнул Уильям, — каково тебе будет, когда ты действительно повзрослеешь? Ты испытаешь много, разочарований. Поймешь, что все метафоры врут, что самой неприступной

является та дверь, которая кажется открытой, что все мы обречены не на смерть, а на умирание. И я даже могу рассказать тебе, как именно будет происходить постепенное отмирание наших с тобой отношений, что еще само по себе не является смертью. Я буду стареть, мне будет уже не до забав и развлечений, а в тебе с каждым днем будет разгораться все больший аппетит к власти. Обратного же пути, насколько я могу судить об этом, у тебя нет. Ты будешь следовать за милордом Эссексом до самой плахи, потому что, как ни парадоксально, путь вверх ведет вниз. Поэтому он и кажется таким легким и приятным. Ты будешь находить оправдание всякому предательству, всем своим страстям и амбициям, утешая себя высокими фразами вроде: «Это во благо общества». Тебе даже будет казаться, что ты идешь на самопожертвование, в то время как на самом деле это будет тщеславное потакание собственным слабостям и страстям. Но сам ты будешь уже не в состоянии определить в себе этот изъян: твое зеркало будет таким же кривым, как и любое из нынешних зеркал в королевском дворце. — Что ж, ты, наверное, прав, мне действительно лучше уйти, а не выслушивать этот бред. — Гарри решительно запахнул на себе полы плаща, и исписанный мелким почерком листок, подхваченный ветерком, слетел со стола.

— Может быть, у меня не получается внятно выразить это словами. — Уильям наклонился за упавшим на пол листком, а затем, по-стариковски закряхтев, резко выпрямился, отчего у него тут же закружилась голова. Вертикаль, верчение... Слова.... Очень хотелось сказать что-нибудь запоминающееся. — Но в одном я уверен точно: если уж я не могу спасти твою душу, то мне, по крайней мере, еще не поздно попытаться спасти свою.

— Ну вот, опять эти ханжеские отговорки, — усмехнулся Гарри. — Боже, как меня уже тошнит от тебя, от всех вас, новоявленных джентльменов-ханжей. Все ваше грошовой богатство составляют свечи, зерно, жалкое тряпье и вирши. Вот вы и сидите по своим норам, спасаете свои ничтожные пуританские душонки. Я же предпочитаю всему этому свой ад, если это называется адом. А ты давай спасай свою голову, увенчанную раскидистыми рогами. — Гарри потрянул головой, и большое черное перо на его шляпе кокетливо покачнулось. — Красавчик, — издевательски добавил он, вспоминая старую насмешку. — Но свое истинное лицо тебе все-таки не удалось скрыть. Трус, — гневно бросил он. — «Не без горчицы»^[60]. — И Гарри снова рассмеялся. — Как они только не издевались над тобой. Но сам ты куда смешнее, чем все твои комедии, вместе взятые. — И ушел, громко топая по лестнице.

Что ж, пусть будет так. Уильям Шекспир не будет противиться боли... Мимо него прошли и лестные отзывы Фрэнсиса Мереза («Подобно тому, как Плавт и Сенека считались у римлян лучшими по части комедии и трагедии, так Шекспир у англичан является наипревосходнейшим в обоих видах пьес»), и незаконные переиздания его произведений, и слава «сладкозвучного мастера Шекспира». Все мы знаем, кто мы такие, но нам неведомо, кем мы могли бы стать... Уильяму казалось, что он знает, кем он мог бы стать. Только бы удалось вызвать у себя нужную боль, почувствовать муки освобождающей душу агонии... Его богиня

— он был в этом уверен — незримо витала в воздухе где-то совсем рядом, готовая в любой момент броситься в рану, но для этого рана должна была быть достаточно глубока. Что мог об этом знать юный мастер Мерез? Что же касается всеобщего безумия мира, то здесь боль Уильяма была облегчена прививкой прозорливости. Собирая шутки для будущего Фальстафа, он вдруг подумал о том, что наверняка должен существовать способ предсказания безумных поступков. Королева, отвесившая пощечину Эссексу в пылу спора о том, кого надо послать на покорение диких ирландцев... Две тысячи солдат, посланные на верную смерть и нашедшие ее среди вонючих болот, угодив в засаду... Это было очевидно, как и то, что Гарри Ризли все глубже погружается в пучину безумия и скоро скроется в этой пучине с головой.

Но разве ему самому не хотелось забыть о некоторых своих дурацких поступках, совершенных по недомыслию? Разве не сам он заразил Гарри бредовыми идеями, воспользовавшись его доверчивостью и наивностью?.. Напустив на себя скорбный вид, Уильям наблюдал за траурной процессией, что тянулась по улицам летнего Лондона. Умер лорд Бэрли, а вместе с ним ушли в небытие и старые добродетели. Ирландия была почти потеряна.

Назойливо жужжали мухи, высоко в небе кружили коршуны. Но в толпе скорбящих не было видно того, кто, казалось бы, должен был убиваться больше всех. Как? Вы не слышали? Он сбежал во Францию вместе с женщиной... Солнце припекало, громкие звуки похоронной музыки резали слух. Нет, женщина у него осталась здесь, беременная. Говорят, она вроде бы из знатного рода... Госпожа Верной покинула дворец и находится в резиденции Эссекс-Хауз. Говорят, она в интересном положении; однако она не жалуется на то, что с ней обошлись бесчестно, и верит в то, что граф сам во всем признается. Фрейлина королевы была изгнана из дворца. Семь месяцев уже? Лучше бы ему поторопиться с возвращением. Говорят, на днях он тайно вернулся в страну, и...

...Уильям почти не слышал исполненного горечи монолога Катберта

Бербеджа, когда вся труппа сидела в душной и тесной таверне — они двое, а еще Ричард, Хеминг, Филлипс, Поп и Кемп. У него из головы не шли слова, сказанные невозмутимым Флорио (тот был одет во все черное, но вовсе не из-за траура по лорду Бэрли): «Милорд в тюрьме. — Это всего лишь репетиция перед неизбежным Тауэром; Уильям понял, что Гарри осталось всего два шага до плахи. — Вялая жизнь во грехе и поспешный брак. Глориана в шоке; Я слышал, ее гнев был ужасен. Еще бы, одна из ее любимиц, прямо у нее под носом, а она ничего не знала, даже не догадывалась. Но милорд доказал, что он настоящий мужчина, за что и поплатился. Вот, сидит теперь во Флите».

— Флит, — вслух произнес Уильям. Его приятели, все, как один, недоуменно посмотрели на него. Кемп глупо захихикал, а Катберт сказал:

— Будь моя воля, я бы упрятал его во Флит, но ведь, с другой стороны, законов-то он никаких не нарушает, просто поступает не по совести... — Уильям озадаченно наморщил лоб и вспомнил, о чем идет речь: Джайлз Аллен отказал театру в аренде. — Вот этого-то я и боялся, — продолжал Катберт. — Аллену нельзя было доверять. А все эти его половинчатые обещания возобновить аренду...

— Говори помедленнее, — ехидно сказал Кемп, — а то до нашего джентльмена, похоже, не сразу доходит. — Вид у Уильяма был совершенно отрешенный, он думал о своем. Новоиспеченная графиня тоже в тюрьме... («Но волноваться не стоит, это ненадолго. Она скоро сменит гнев на милость, — сказал Флорио. — Я имею в виду ее величество. Милорда не станут держать за решеткой в такое смутное время, когда в Ирландии царит хаос и творятся такие бесчинства». Следующим шагом Гарри будет Тауэр, а после Тауэра... Сказать можно что угодно, ведь слова не так страшны, как жизнь.)

— Половинчатые обещания возобновить аренду, — терпеливо повторил Катберт. — По условиям договора семьдесят шестого года бревна и доски, из которых построено здание театра, остаются за нами, в случае сноса здания до истечения срока аренды. Теперь Аллен знает, что я не соглашусь на его новые условия. Этот новый договор и составлялся им с таким расчетом. Так что теперь он снесет наш «Театр» и объявит дерево своей собственностью. — Ричард Бербедж застонал от бессильной злобы.

— «Куртина» тоже строилась не на века, — заметил Хеминг, жуя орешки.

— А давайте убьем Аллена, — предложил Поп. — Тем более, что и ночи сейчас темные, безлунные.

— Договоры на аренду, как души, продолжают жить и после

смерти, — назидательно заметил Катберт. — Так что нам с вами лучше подумать о том, где бы подыскать себе новое пристанище. Мы тут с Диком приглядели один садик на Мей-ден-Лейн. Чистенькое, уютное местечко, но только нас, естественно, там интересовали совсем не цветочки. Кстати, если уж речь зашла о цветах. Это совсем недалеко от «Розы».

— Значит, новый театр, — сказал Филлипс.

— Мы двое, — объявил Ричард Бербедр, величественным жестом указывая на брата, — вносим половину. А вы пятеро — оставшуюся половину. Если, конечно, вас это устраивает.

— Да проснись же ты, Уилл, хватит мечтать, — окликнул поэта Катберт Бербедр.

— А расходы на строительство? — спросил Хеминг, задумчиво пожевывая выбившийся из бороды завиток волос. (Наверное, я сделаю правильно, если и приду во Флит проведать его, размышлял Уильям. Ведь такая дружба не умирает в одночасье. А если он не пожелает меня видеть? Ведь для знатного человека, наверное, нет ничего хуже, чем оказаться в таком удручающем положении. Небось он визжит там от страха при виде крыс, он всегда их боялся.)

— Мы должны осилить все расходы, — с жаром говорил Катберт. — Это очень даже возможно. Эй, мы, между прочим, говорим о новом театре! — крикнул он в самое ухо Уильяму. — И о том, чтобы построить его к югу от реки.

— Смерти нет, — сказал Уильям, удивляясь собственной уверенности, — конца просто не существует, и точно так же ничто не возникает из пустоты. Все новое — это хорошо забытое старое. И разве может умереть любовь?

— О Боже мой, — простонал Кемп, страдальчески закатывая глаза.

— Земля вращается, но каждый новый день не рождается заново, а только продолжает день минувший. В завтрашний хлеб попадет кусочек сегодняшнего теста. Так что пусть основой для нового театра станет старый театр. — Все недоуменно воззрились на него. — Разберите здание, сложите бревна и доски на повозки и переправьте их через реку. Зачем мириться со злом и несправедливостью? Аллен радуется своей победе? Так обманите его.

— А ведь он прав, — сказал Хеминг. — Черт возьми, он дело говорит. Уильям улыбнулся.

— Да, — согласился Катберт Бербедр, — он говорит дело. Так мы и поступим. Выждем момент, когда Аллена не будет в городе...

— А как зовут твоего плотника?

— Стрит. Замечательный плотник, мастер своего дела. Питер Стрит.

Любовь принимала новые формы, только и всего. Она становилась больше похожей на сострадание.

ГЛАВА 10

Сострадание... Станет ли оно чудодейственным бальзамом, способным вылечить душевные раны? Они нанесли мне удар в спину — моя жена и мой собственный брат. Но они не ведали, что творят. Я не чувствую гнева и не буду негодовать. Я вознесусь над ними, великодушный и всепрощающий, я не стану кусать губы от обиды, а на мой высокий лоб не ляжет ни одна морщина. Я буду невозмутим и холоден, словно статуя... Уильяма охватил страх и раскаяние за это невольное богохульство: он понял, что за образ пришел ему на ум в тот момент. Сострадание и жалость: разве это не одно и то же? И нужно ли навязывать свою жалость тем, кто в ней не нуждается? Стоя у ворот долговой тюрьмы Флит и слыша доносящийся оттуда шум веселой пирушки («Ведь слишком хороша ты для любого...»), бречание лютни и высокий, насмешливый голос Гарри (трудно было представить его в этом крысятнике среди вони и безнадежности), Уильям понял, что милорд не пожелает его видеть. Его недавний покровитель исполнил предназначенное ему: этот незадачливый жених и отец стал наконец-то мужчиной, готовым на последний предательский жест. Он отверг своего старого друга, сделал вид, что никогда не был с ним знаком, а его веселая безобидная юность была всего лишь сном.

Жалость переполняла душу Уильяма, когда на исходе марта он стоял среди ликующей толпы на Чипсайде. День выдался холодным, но солнечным; со стороны ближайшей деревни доносился запах свежей зелени и слышалось блеяние ягнят. Непредсказуемая королева сменила гнев на милость, и все были прощены: Эссекс направлялся в Ирландию, две недели назад был подписан указ о его новом назначении. Отныне в его ведении находилось тысяча триста всадников и тысяча шестьсот пехотинцев. Эссекс выехал из Лондона — блистательный, самовлюбленный, в сопровождении пышной свиты, облаченной в расшитые золотом ливреи. На ветру развевались шелковые знамена, кони гордо гарцевали, спотыкались на камнях мостовой, но тут же снова выравнивали шаг. Толпа неистовствовала, родители сажали детей себе на плечи, в воздух летели шапки... Уильям стоял молча. В этой кавалькаде был и тот лорд, которого он когда-то называл своим другом. Саутгемптон с надменным видом восседал на своем гнедом коне: позор тюремного заточения был забыт, и теперь славный воин ехал усмирять непокорных

ирландцев... Бесконечная вереница всадников, богато убранные лошади, звон сбруи. Уильям нарушил свое молчание, выкрикнув: «Да благословит вас Бог! Да хранит вас Бог!» — но его слабый голос потонул в шуме лондонской толпы. «Да поможет тебе Бог», — прошептало его сердце. Победоносный генерал еще вернется, чтобы получить свое, но это будут уже не лавры победителя. Так что самым преданным его соратникам останется уповать лишь на Божью помощь. Блистательная кавалькада проследовала дальше, и центр всеобщего ликования переместился далеко вперед, на другой конец улицы.

Сострадание, сострадание... Уильям бродил по улицам, оставшись наедине с захлестнувшей его душу жалостью. Пообедал в трактире, вернулся домой — теперь он снимал жилье на Сильвер-стрит — и сел за работу. По иронии судьбы, сейчас он писал пьесу о воинственном Гарри, вообразившем себя богом войны Марсом. День уже начинал клониться к вечеру, когда голубое мартовское небо вдруг заволокло низкими, черными тучами. Сверкнула молния, по небу прокатился гром, и в следующее мгновение крупный град застучал по крышам домов и камням мостовой. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей! Уильям подошел к окну и выглянул на улицу. А ведь утро было таким погожим... Его воображение нарисовало испорченный триумф Эссекса: мокрые лица всадников, проклятия, которые, однако, невозможно расслышать из-за шума ливня, промокшие насквозь ливреи и плащи, мокрые, тонкие, словно крысиные хвостики, липнущие к щекам светлые локоны его бывшего покровителя и друга... Уильям глядел на залитую водой пустынную улицу, и в его душе снова всколыхнулась жалость. А еще появилась досада, как будто после неудавшегося широкого жеста, — дурацкое, совершенно бесполезное чувство. В голове тем временем уже складывались ключевые фразы — неудавшийся мартовский марш, плененный Марс, плачущий, как дитя...

...И вот она, награда за его сострадание. Боже мой, смуглая леди снова пришла к нему, прямо сюда, в эту комнату... Но только не в дождь; не подумайте, что она нарочно выбрала это время, чтобы разжалобить его. Нет, то был погожий весенний день, не предвещавший ничего особенного. В дверь раздался робкий стук, и Уильям пошел открывать.

— Ты?

Фатима со скорбным видом стояла на пороге потупив глаза. На ней был простой дорожный плащ.

— Этого не может быть, откуда ты... где ты... кто тебе сказал, где я живу?

Они стояли в дверях: не верящий своим глазам Уильям и Фатима,

робкая, сомневающаяся в том, что ее приходу рады.

— Я встретила того человека.... не помню его имени... того, который шутит в вашем... этом...

— Кемпа? Нашего шута? — Уильям очнулся. — Входи, входи же, пожалуйста, входи, у меня тут не прибрано, видишь, погоди, я уберу отсюда бумаги...

Она потянула за шнурок своего плаща, и капюшон медленно сполз с черных кудрей. Боль, мучительная боль снова наполнила сердце Уильяма, стоило ему увидеть эту смуглую кожу и широкий, приплюснутый нос, эти полные губы, каждая складочка, каждая трещинка которых хранила память о его страстных поцелуях. Он чувствовал, что все уже давно прошло, все осталось в прошлом, в том числе и безумие былой любви, и теперь все, на что он был способен, так это на пошлую жалость. Но нужна ли Фатиме его жалость?

— Может, выпьешь бокал вина? — предложил он. — Ты, наверное, приехала издалека. Как ты сюда добралась?

Она присела на краешек кресла.

— Я только что из Кларкенвела, Этот Кемп был вчера вечером в Кларкенвеле. Он сказал, что ищет черных женщин. Он очень веселый человек, всегда шутит.

— Но ты же не могла... Что ты делала в Кларкенвеле?

— А что еще я могу делать? — Она повела изящными плечиками. Подавая ей бокал с вином, Уильям равнодушно отметил, что ее рука дрожит. — У меня нет денег. Наш tuan уехал на войну. Теперь по ночам ему будут сниться лишь его жена и ребенок. У него больше нет времени на тех, кого он когда-то любил.

Наш tuan. Это было слово из ее родного языка.

— Значит, — медленно сказал Уильям, — он давал тебе деньги? Ты была его содержанкой?

— Я не знаю, что такое «содержанка». Но да, деньги он мне давал. Я жила в том доме, где он родился. То место называется Каудрей. А потом я родила ребенка. И потом... Нет, я не хочу говорить об этом.

— Расскажи мне о ребенке, — попросил Уильям, его сердце начало бешено стучать. — Скажи — кто отец ребенка.

Прежде чем ответить, Фатима, пристально посмотрела на него.

— Думаю, у этого ребенка два отца.

— Но это же невозможно, так не бывает, это против всех законов природы...

— Или тот, или другой. Я хорошо помню то время. Меня не надо

винить. Это или ты, или он.

— А где он, — продолжал допытываться Уильям, — где он сейчас... Нет, это потом. Кто родился, мальчик или девочка?

— Сын, — с гордостью ответила она. — Я родила сына. Большого сына, который очень громко кричал: Я сказала ему, что он не должен плакать, потому что у него есть сразу два отца.

— А какое имя ты ему дала?

Она решительно замотала головой:

— Этого я не скажу. Я назвала его также, как звали моего отца. И потом я подумала, что он должен быть бм кто-то, таков наш обычай. За его именем должно идти слово bin и потом имя его отца, потому что bin означает «сын такого-то». А ты носишь имя знатного рода, не то что наш tuan, который ушел на войну.

— Я? Ну что ты... Конечно, я джентльмен, но совсем не из знатного рода.

— Ты шейх, — просто сказала она.

Уильям еще какое-то время молча глядел на нее, а потом спросил:

— А где он... где мой сын?

— Он у хороших людей, добрых людей. Они живут в Бристоле. Эти люди когда-то разбогатели на торговле рабами, а теперь об этом жалеют. А когда он подрастет, то вернется обратно. Обратно, в мою страну.

У Уильяма закружилась голова. Просто уму непостижимо... Неужели его кровь утечет куда-то на Восток? Это была его кровь, это Должна была быть его кровь... Неожиданно Фатима начала беззвучно плакать. Прозрачные, словно хрустальные слезы катились по ее щекам. Как хрусталь... Уильям с негодованием отмел это возвышенное сравнение. Перед ним сидела мать его сына, земная женщина, а не муза и не мечта поэта. Он протянул ей свой платок в крапинку, тот самый, что не так давно впитал в себя слезы Гарри.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Я не могу вернуться. Я никогда не смогу туда приехать. Но мой сын должен вернуться в мою страну.

Уильям кивнул. Он все понимал.

— Ты должна остаться со мной, — сказал он. — Мы должны быть вместе. Ты была моей перед тем, как стать его. Ты не сохранила мне верность, но все это в прошлом. Я тебя простил.

Она вытерла глаза и шмыгнула носом.

— Пусть будет так, — вздохнула она. — В своей стране я стала бы женой раджи, но здесь я просто женщина. Когда я буду старой, то стану

никому не нужна, даже в Кларкенвеле, если ты тоже прогонишь меня, как прогнал он. Но я не смогу вернуться обратно, потому что в мою страну не ходят корабли. Но когда-нибудь они все же будут туда ходить, и мой сын доберется на родину. А сейчас... — Она снова разрыдалась.

— У меня есть жена, — упавшим голосом сказал Уильям. — Жена и две дочки. Здесь, в христианских странах, все совсем не так, как у язычников. Я не могу прогнать свою жену, даже если она мне изменила. У нас нет разводов. Все, что я смогу для тебя сделать, так это... — А действительно, что он мог? Он мог дать ей денег, платить за жилье для нее, но вот поселить здесь, у себя... Уильям вспомнил Робина Грина, его рябую любовницу, сестру душегуба Бола Ножа, их орущего ублюдка Фортуната; все трое ютились в тесной комнатке, где, рыгая от рейнского вина и громко чертыхаясь, поэт требовал тишины, чтобы торопливо дописать «Монаха Бэкона и монаха Банги». Нет, те времена, когда такое было возможно, для Уильяма ушли безвозвратно. Джентльмен, который поселил у себя дома чернокожую любовницу? Нет, так не пойдет. — Я найду для тебя жилье, — пообещал он, — это будет тихое, приличное место. И дам тебе денег.

Фатима согласно кивнула, смахивая последние слезы. Ее заплаканное лицо казалось безобразным, она, как никогда, нуждалась в его жалости и сочувствии.

— Да. Дай мне денег. Много денег.

— Дам сколько смогу, — осторожно сказал Уильям. Ему не терпелось поскорее взяться за дело, он уже чувствовал себя настоящим деловым человеком. — И, — добавил он, — почти ничего не потребую взамен. Я уже не тот, каким был раньше.

Фатима недоуменно посмотрела на него.

Действительно, в его жизни наступил новый период. Естественные мужские желания, сладострастные образы, возникающие обычно после сытного обеда, если съесть слишком много мяса, или вечером перед сном, или же утром после сна, — все это исчезало при одном лишь воспоминании о том нежданном визите в Нью-Плейс. Девочек под благовидным предлогом отправили к бабушке, чтобы уже ничто не помешало прелюбодеям осуществить свой постыдный замысел... К тому же в закоулках памяти до сих пор звучал, отдаваясь звонким эхом, смех его недавнего лорда, друга и патрона, и потребность в плотских удовольствиях исчезала сама собой. Избыток накопившейся энергии Уильям теперь расходовал в другом месте — в садике на Мейден-Лейн, что на южном берегу реки с лебедями. Это была дерзкая рождественская авантюра, марш по заснеженной земле: актеры волокли и подталкивали повозки, на которых

были сложены деревянные останки старого «Театра». *Fait accompli*, что сделано, то сделано, как говорят французы (семья гугенотов помогала Уильяму в изучении французского языка: ему тогда понадобилось написать для «Генриха Пятого» целую сцену по-французски, включив в текст изысканную брань). Джайлзу Аллену, вернувшемуся в город после Рождества, оставалось только потрясать кулаками в бессильной ярости. В течение всей весны и начала лета груды бревен и досок превратились в новый и самый лучший театр: он был воздвигнут наперекор временам, которые ушедший на войну Эссекс заклеил как «хаос и безвластие». Цензоры трудились вовсю: сжигали книги, пресекали разглашение новостей из, мятежной Ирландии, запрещали даже шепотом говорить о том, как там все плохо, утаивали известия, о пошатнувшемся здоровье королевы и о том, что до сих пор непонятно, кто сменит ее на троне. Это было время потрепанных нервов: англичане принялись вдруг выяснять отношения.

— Так уходи же, уходи! Не угрожай больше, а просто уйди! — Так, к своему большому удивлению, кричал Уильям, обращаясь к Кемпу. — Мы уже устали от твоих дурацких фортелей и оттого, что ты постоянно несешь отсебятину. Меня просто тошнит от тебя, вот до чего ты меня довел за эти семь лет. Вот что, или ты будешь делать то, что тебе положено по роли, или же проваливай отсюда на все четыре стороны!

Весь жир Кемпа гневно заколыхался.

— Выскочка, — бросил актер, невольно заимствуя этот эпитет из более раннего поношения, сказанного совсем по другому поводу. — Это на меня приходят смотреть зрители, а ты все лезешь со своими словами! Слова, слова, одни слова, да ты вообще тут никто, просто мальчик на побегушках.

Ричард Бербедж молча слушал, поглаживая бороду.

— И запомни, никто и никогда не посмеет мне приказывать, что делать и что говорить, ни ты, ни кто-либо еще. И между прочим, это я, — выкрикнул Кемп, обводя торжествующим взглядом всех присутствующих на репетиции, — это я научил тебя всему. А теперь мы все должны кланяться и расшаркиваться перед твоими словами.

— Это новый стиль, Вилли, — попытался урезонить его Хеминг. — Мы не можем бесконечно цепляться за прошлое, как бы зрители тебя ни любили.

— Вот, — взъярился Кемп, — и ты тоже подцепил эту заразу от этого болтуна! Тоже мне, перпетуабилитацибус. — Даже в гневе он не мог обойтись без своих шутовских ужимок, отчаянно гримасничая и надувая щеки. Один или двое подмастерьев действительно засмеялись.

— Нам всем приходится учиться, — громко сказал Уильям. — Мы должны двигаться вперед, становиться лучше. Я не могу молча мириться с тем, что он своими идиотскими пошлыми шутками превращает мою пьесу в балаган.

— Ловлю тебя на слове, — дрожа всем телом, продолжал Кемп. — Ну ничего, вы все у меня еще получите свое, это я вам обещаю. Вы еще узнаете, на что способен кабальеро Кемп.

Роберт Армии скромно стоял в стороне и грыз ноготь.

— Это все он, все из-за него, — выкрикнул Кемп, тыча в сторону Уильяма своим коротким толстым пальцем. — Только благодаря мне он стал джентльменом. «Не без горчицы»! Когда-то он приполз на коленях ко мне и бедному покойному Тарлтону и умолял взять его на работу. Зато теперь он стал благородным господином, у которого есть черная шлюха!

— Это к делу не относится. — Уильям почувствовал, что краснеет. И кто только додумался переделать его фамильный девиз в этот издевательский каламбур? — Весь вопрос в том, что если уж я пишу пьесы...

— Мне кажется, — сказал Кемпу Дик Бербедж, — твое время уже прошло. Ты можешь продать свой пай мне или моему брату.

Кемп, это комическое подобие Цезаря, в ужасе посмотрел на него.

— Ты хорошо поработал, ты продержался на плаву дольше других.

Кемп как-то сразу поник, съежился и, казалось, стал даже меньше ростом.

— Но всему рано или поздно приходит конец. Теперь мы должны расстаться, но я не хочу, чтобы мы расстались врагами.

У Кемпа на глазах выступили слезы, а голос сорвался на щенячий визг; он никогда не умел управлять своими чувствами.

— Это смерть, — крикнул он, — старый надежный способ! Пасть от руки выскочки. Ты... — он направился к Уильяму, его щеки были мокрыми от слез, — ты... — Он замахнулся безвольной рукой, собираясь ударить.

Уильям отступил назад, сказав при этом:

— Поверь, тут дело не в личной неприязни. Мы должны исходить из того, что будет лучше для сцены.

— Щенок, не тебе меня учить, что хорошо для сцены, а что нет! Я выступал на этой сцене, еще когда ты... — Он стоял безвольно опустив руки, — Да ладно, это уже не имеет значения.

— Вилли, уйди красиво, — сказал Хеминг. — А потом мы с тобой вместе завалимся в какой-нибудь кабачок, чтобы выпить и повеселиться.

— Да, уйти надо красиво, — пробормотал Кемп. И затем громко

сказал: — Уйти раз и навсегда! Красивый жест обреченного! Что ж, я буду даже рад уйти. Будь ты проклят, — процедил он сквозь зубы, обращаясь к Уильяму, — предатель! — И затем резко повернулся и зашагал прочь.

— Смотри шутки свои не забудь, — тихо сказал Армин. Кемп даже не оглянулся. И тогда Армии запел своим красивым тенором. — О стыд, о стыд! Конек-скакунок позабыт!

Предатель, предатель...

— У меня голова раскалывается, — пожаловался Уильям Фатиме. Она жила теперь в маленьком домике на Суон-Лейн, где с реки веяло прохладой и были слышны крики лодочников.

— Ложись, — приказала она. — Сейчас я намочу этот платок в холодной воде. — С этими словами она подошла к кувшину с водой. Маленькая смуглая женщина, привычно хлопочущая по хозяйству; он наблюдал за ней из-под прикрытых век, лежа на ее постели. В комнате терпко пахло какими-то экзотическими травами и специями, в окне ярко светило солнце — настоящий островок далекой южной страны... — Вот. — На лоб ему легла холодная примочка. — Ну-ка, подвинься, — сказала она и легла с ним рядом.

— Как хорошо, — вздохнул он. — Мы живем в таком мире, от которого иногда нестерпимо воняет пбтом человеческих раздоров. А здесь так хорошо...

— Лежи тихо и не разговаривай.

Он снял камзол, рубашка была расстегнута из-за жары, и теперь Фатима принялась поглаживать его грудь своей изящной ручкой, спускаясь все ниже и ниже, к животу, а потом снова поднимаясь на грудь.

— Вот уж никогда бы не подумал, — сказал Уильям, чувствуя, как боль и усталость начинают отступать, — что смогу вот так лежать. Раньше я хищно набросился бы на тебя, словно мальчишка, которого сколько ни корми конфетами, все равно ему будет мало. Я бы сгорал от желания проглотить тебя всю, целиком.

— А сейчас нет. — Его глаза были закрыты, но он был уверен, что она улыбается. — Что ж, придется сделать тебя таким, каким ты был тогда.

— Нет, мне нравится, когда мы просто лежим рядом и нам хорошо друг с другом.

— А мне больше нравится по-другому. — Фатима обнажила грудь и положила на нее его голову, все еще продолжая ее гладить. — Ведь ради этого и созданы мужчина и женщина. — Уильям начал лениво щекотать языком ее сосок. Она вздрогнула. — Тебе можно это не делать, если не хочешь...

И затем она показала ему, что он может сделать, чтобы доставить ей наслаждение и помочь снять напряжение. Его неохотно задвигавшаяся рука помогла ей достичь наивысшей точки наслаждения и снова испытать ощущение свободного полета, прыжка с головокружительной высоты, от которого захватывает дух. Некоторое время после этого Фатима лежала неподвижно, тяжело дыша. Он же сказал:

— Ты станешь презирать меня. Но не бойся, я смогу. Ждать осталось не долго. Просто есть вещи, которыми управляет не тело, а душа.

Ее лоб был влажным от пота; Уильям осторожно вытер его платком, что лежал теперь, на подушке. Вскоре Фатима открыла глаза и улыбнулась.

— Да, — сказала она, — ты сможешь снова. Скоро.

Но «смочь снова» ему удалось, лишь когда лето было уже в самом разгаре. Тем июльским днем он вместе с Бербедами, Хемингом и остальными стоял на Мейден-Лейн. Плотник Питер Стрит подал условный знак, и рабочие сложили фартуки. Consummatum est. Свершилось. Эта фраза вертелась у Уильяма в голове, однако связана она была не с последними словами распятого Христа, а с восклицанием Фауста, кровью подписавшего договор с самим дьяволом. Он предвидел, что именно в этих стенах должна течь его лучшая кровь.

— И вправду великолепное здание, — восхищенно сказал Флетчер.

— Наш флаг должен быть готов завтра к полудню. Мне обещали, — сказал Дик Бербедж. — На нем изображен Геркулес, держащий на плечах земной шар. — Великолепное название для нового театра. «Глобус». Totus mundus agit histrionem. И девиз тоже подходящий. Целый мир, нет, весь мир играет, мир — это сцена... В общем, нужно будет придумать перевод поскладнее. Но это потом, а сейчас...

— А сейчас надо выпить, — объявил Дик Бербедж. Подмастерья, усмехаясь, открыли свои корзины, достал бокалы и огромные бутылки с вином. — Мы будем пить у каждой двери, в каждом уголке — везде. Нужно сделать так, чтобы там пахло вином, а не краской, клеем и стружкой. Но для начала мы его окрестим.

— Ego te baptize, — торжественно произнес Джон Уилсон, — in nomine Kyddi et Marlovii et Shakespearii^[61].

Уильям смущенно покраснел.

— Аминь, аминь, говорю я в ответ на эту чудесную молитву.

Дик вместе с братом торжественно подвели их ко входу. Прежде чем войти внутрь, они осушили первый, символический бокал терпкого вина, согретого лучами солнца и красного, словно кровь. А потом пропустили еще по одной, стоя внизу и разглядывая внутреннее убранство театра —

ярусы галерей, авансцену, полог-«небо», альков в глубине сцены, на котором еще не было занавеса... Они забрались на сцену и принялись дурачиться, расплескивая вино из бокалов. Наперебой вспоминали прежние спектакли, забавные случаи, пропущенные реплики. Вспомнили Кемпа и на мгновение конфузливо притихли. Армии попытался влезть на одну из колонн, поддерживающих «небо». Остальные, распевая какую-то бравую военную песню, промаршировали от левой двери сцены к правой, потом сбегали вниз по ступенькам, пересекли темный гулкий подвал, поднялись по лестнице, что вела к левой двери, а оттуда вереницей снова вышли на сцену, стараясь придумать себе на каждый следующий выход новый образ и походку. При этом никто не расставался со своим бокалом. Конделл завывал, словно привидение, в глубине сцены. Дик Бербедж писклявым голосом декламировал монолог Джульетты, взобравшись на балкончик над сценой. Актеры испытывали на прочность подмости, проделывая невероятные кульбиты и пытаясь спьяну исполнить замысловатые фигуры из чопорной паваны. Лодочники и нищие, привлеченные этим шумом, смехом и плясками, заглядывали в открытые двери театра и разинув рот наблюдали за необычным бесплатным представлением. В какой-то момент синее июльское небо заволокло облаками, и на землю пролился недолгий полуденный ливень, но «слуги лорда-камергера», надежно укрытые от непогоды своим «небом», даже не заметили этого. Когда солнце выглянуло снова, бутылки были уже пусты и весь театр был старательно окроплен кроваво-красным вином с металлическим привкусом. И вот наконец актеры отправились по домам. Те, кто был еще в состоянии держаться на ногах, шли обнявшись, поддерживая друг друга, и радуясь столь тесному актерскому братству. Два мертвецки пьяных тела так и остались лежать на авансцене. Армии же, почти трезвый, сидел с задумчивым видом на краешке сцены, болтал ногами и меланхолически напевал:

Разлука уж близка. Прощай родная, О грустном ты молчи; я знаю, знаю, Что слишком хороша ты для любого.

Прощай, прощай, не встретимся мы снова...

К этому времени Уильям, будучи в изрядном подпитии, но все же не утратив способности передвигаться самостоятельно, был уже на полпути к Суон-Лейн.

350

— Ты пьян, — сказала Фатима, стоя над ним, сложив руки на груди и принюхиваясь. — Ты выпил много вина. — Несколькими минутами раньше Уильям ввалился в ее комнату и рухнул, не разуваясь, на кровать.

— Нет» я выпил совсем чуть-чуть, — простонал он. — Но мне и этого хватило. У меня слабый желудок. — Уильям закрыл глаза. — О-ох...

— Тогда тебе надо немного поспать.

— Сегодня мы его достроили, наш новый театр. Ну как такое не отметить! Все перепились как свиньи, но я выпил меньше всех. — Он глупо хихикнул. — Великолепное здание...

— У меня есть для тебя лекарство, — сказала Фатима, наливая из мисочки в небольшую, чашку какую-то темную жидкость. — Вот, выпей. Это не вино.

— Нет, не могу... меня...

— Выпей, а потом поспи. Это вылечит твой желудок. — Она поднесла чашку к его губам, помогла ему приподняться и поддерживала за плечи, пока он пил. В чашке оказался какой-то отвар с резким запахом, сладковатый на вкус. — Вот так, — похвалила Фатима.

Вскоре он почувствовал, что проваливается куда-то в пустоту, и действительно забылся тяжелым сном. Ему снились образы, услужливо извлеченные подсознанием из самых дальних уголков мозга. Нет, его не мучили кошмары, но все-таки было неприятно, Уильям видел идущую на него огромную толпу, различал в ней казавшиеся знакомыми лица, которые он, несомненно, никогда не видел прежде. В основном это была чернь, простолюдины: разгоряченные, лоснящиеся физиономии, гнилые зубы, засаленные одежды, от которых воняло потом и тухлым мясом... Из широко разинутых ртов с поломанными зубами раздавались громкие вопли. Что они выражали — гнев, одобрение или восторг, — разобрать было невозможно. Сам же Уильям кричал от радости, сидя на высоком столбе, который он крепко обхватил руками и ногами. Он выкрикивал какие-то заклинания на непонятном языке, это были даже не слова, а просто бессмысленный набор звуков. Каким-то чудесным образом Уильям швырял в толпу свою одежду, которой, похоже, у него было очень много — целый театральный гардероб. В воздухе вещи превращались в куски кроваво-красной плоти, во внутренности, ребра, в три шеи (Уильям улыбнулся: три шеи — это был полнейший абсурд, даже для сна). Все это схватывалось грязными руками на лету и тут же пожиралось со смачным чавканьем.

Потом он оказался в большом парке, засаженном молодыми деревцами. В летнем небе догорал закат, вокруг стояла мертвая тишина. Уильяму было хорошо виден горизонт, и колышущаяся зелень листвы напоминала о волнах, что гуляют по морским просторам... Но вот тишину пронзил крик зяблика. Уильям заметил краем глаза, что из земли одна за другой начинают расти статуи, которые исчезают, стоит лишь ему

повернуть к ним голову. Все это были изваяния ученых и мыслителей древности, которых — и он был готов поклясться в этом даже во сне — на самом деле никогда не существовало: Тотимандр, Эфеврий, Блано, Фоллион, Дакл... За этими статуями играл в прятки маленький мальчик в старомодном костюме времен раннего правления Тюдоров; он не перебегал от статуи к статуе, а был как бы сразу за каждой из них и пристально глядел на Уильяма, мгновенно исчезая, стоило тому повернуть голову. Вот из-за деревьев появился всадник, окруженный серебристым ореолом, — прекрасный юноша в шляпе с пером, гордо восседающий на гнедом коне. Глаза его были печальны. Уильям узнал его и заплакал...

И в следующее мгновение он оказался в Тауэре, перед плахой, с которой скатилась чья-то голова. У Уильяма мелькнула мысль, что голова не может катиться вот так, как мячик, — уши будут мешать. Палач в маске радостно засмеялся, глядя на то, как из раны фонтаном хлынула кровь. Богатые зрители прятали ухмылки в бороды. Лежащая на земле голова тоже улыбалась, даже когда ее облепили насекомые, привлеченные запахом крови. «Приступай!» — приказал чей-то голос, и Уильям поднял эту голову. Голова оказалась легкой как перышко и мягкой, а на вкус она напоминала изысканный медовый пирог. Под одобрителный гул толпы Уильям принялся пожирать ее и съел всю без остатка.

Потом ему приснился философский парадокс, в котором земной шар имел форму башни. Вскоре сон сам дал ответ на эту загадку. Неожиданно из его собственного паха восстало новое здание — театр? — и, глядя на это, Уильям победно рассмеялся. «Но это же не Мейден-Лейн!» — закричал он, удивляясь такой превратности судьбы, и... проснулся. Сердце бешено стучало в груди, но дышалось легко. С улицы веяло прохладой, судя по подтекам на оконном стекле, недавно снова прошел дождь, но привидевшаяся ему во сне башня все еще стояла, а значит, все было в порядке.

Фатима лежала рядом с ним — совершенно обнаженная, такая стройная и изящная. Ее кожа казалась золотой. На одежде Уильяма были расстегнуты все пуговицы и крючки, но он тоже должен был обрести полную наготу. Он поспешно разделся, сбросил с себя всю одежду, словно символ былой вины, и, чувствуя в себе необыкновенный прилив сил, заключил Фатиму в объятия и ринулся в бой. Это была самая лучшая из его пьес: акт плавно сменялся актом, и каждый из них заканчивался маленькой смертью, за которой следовало быстрое воскрешение. Уильяму казалось, что потоки его семени изливаются в ее лоно и наполняют собой ее торжествующий крик. Слившись воедино, Уильям и Фатима летели куда-то

вниз, окруженные сказочным благоуханием, и плавно опускались на королевское ложе из невесомого лебяжьего пуха...

Юношеский пыл, который прежде сдерживался чувством вины, теперь снова вернулся к Уильяму. Его мечта об экзотике далеких стран сбылась, а желание отведать диковинных фруктов было утолено сполна, и при этом его не мучили ни дурацкие сомнения, ни угрызения совести. Наслаждение не знает границ: каждая самая крохотная вена на запястье, каждый сустав, каждый черный волосок ее бровей и даже лежащая на щеку тень от длинных ресниц — все это разжигало пламя в его теле и душе. Уильям чувствовал в себе невероятную силу, но в то же время был мягким и податливым, как желе. Шагая по брусчатке, он чувствовал камни под ногой; мог вздрогнуть, увидев муху... Порой ему закалось, что он — сказочный Сфинкс, который, попав в заветный город, внезапно был поражен золотым сиянием вокруг и мощью божественного начала, породившего все это великолепие.

Развратный Лондон в августовскую жару казался им уютным будуаром, нарочно созданным для любовных прогулок. Коршуны, которые сидели на кольях и расклевывали черепа казненных предателей, превращались в божественных птиц с ясным взором и чистым оперением, становясь частью той увлекательной сказки, которую создавали для себя Уильям и Фатима. Медведи, собаки и обезьяны на аренах для звериной травли Пэрис-Гарден были мучениками, души которых становились золотыми геральдическими символами, застывали на гербах с золочеными щитами в лапах, исполненные бесконечной любви. Трупы безносых преступников с отрезанными губами и изъеденными глазами подхватывало течением Темзы и уносило вниз по реке, где у Тайберна к ним присоединялись трупы висельников. Эти бедолаги стали героями классического ада, который, будучи воспет Вергилием, превратился в нечто милое и совсем невинное... Во время вечерних прогулок Фатима то и дело печально качала головой, улыбаясь под полупрозрачной вуалью, и со вздохом говорила о том, что скоро наступит осень, что любовный огонь сожжет плоть, после чего пожрет сам себя — и погаснет, уйдет навсегда.

— Ты должен поторопиться, если не хочешь проплыть мимо моего острова. Твоя работа еще не закончена.

— Это моя работа и это наш остров. И в самом деле, они были будто на острове. Ни тот, ни другой не замечали ничего кругом: не обращали внимания ни на панические известия о высадке испанцев на остров Уайт, ни на женщин, с истошными криками бегущих по улицам, ни на звон тяжелых цепей, ни на то, что городские ворота закрылись наглухо. По

городу проходили вооруженные отряды; ополченцы в латах, освободившись на какое-то время от жен, сидели в тавернах и радовались вольнице. После одного неприятного случая Фатима совсем перестала выходить из дома. «Глядите, это же испанка! Вон какая черная...» Она убежала, а дома принялась нюхать лекарство из какого-то маленького пузырька (это помогает при сердцебиении), и синеватый оттенок вокруг ее губ понемногу исчез. Они вдвоем заперлись в спальне дома на Суон-Лейн... По городу ходили слухи, что испанцы уже в Саутгемптоне, что Шотландия отправила на эту войну сорок тысяч пехотинцев и еще двести человек с визгливыми волынками, что Ирландия высунула голову из своих болот и снова начала огрызаться, а союзники Испании присоединились к ее войскам, Франция же заняла выжидательную позицию. Но подлинная история Европы вершилась здесь, на этой узкой кровати. Происходящие на ней битвы заканчивались честным и кратким перемирием, а не циничным «вечным миром»; враждебные армии выступали здесь под одним флагом.

Вскоре оказалось, что все страхи и волнения Сити были безосновательны: тридцатитысячная армия ополченцев разошлась по домам, ворота Лондона были снова открыты. Зато теперь англичане убедились, что собрать армию ничего не стоит. Но только ли для защиты от испанцев? Новостей из Ирландии по-прежнему не было, и похоже было, что эта окраина королевства среди лета оказалась погребенной под снежными заносами. Кто знает, когда Эссекс вернется, окрыленный победой, и потребует то, что он считает по праву своим? Не исключено, что его поддержит чернь, привлеченная обещаниями того, что им будет позволено безнаказанно грабить и мародерствовать. Озверевшие голодранцы, ноги которых гниют от вечной ирландской сырости, а лица изъедены оспой...

Уильям чувствовал, что счастье, которое принесла с собой весна, пошло на убыль. Конечно, он знал, что оно не будет продолжаться вечно. Похоже, он и так переоценил свои силы, ведь был теперь далеко не молод и к тому же много пил (вино помогает разжечь чувства), стараясь снова пробудить в себе былое желание. И вот как-то утром он стоял голый в своей комнате и с любопытством разглядывал свое тело. Оно казалось таким же, как всегда, — белое, тщедушное и, как и подобает телу благородного господина, не обремененное крепкой мускулатурой; ниже возвышалась башня, которой так восхищалась Фатима. Продолжая разглядывать себя, Уильям ощутил и ту реакцию своего тела, что в последний месяц связывалась в его сознании с полной наготой. Он так сильно желал Фатиму, что готов был без особого сожаления пожертвовать

легким возбуждением как пустяком, недостойным ее, подобно тому, как человек может сполоснуть бокал вином из только что открытой бутылки: для этого было достаточно лишь представить себе обнаженную Фатиму и выпустить накопившееся за ночь семя на одну из ее вещей (Уильям выпросил у нее кое-что из нижнего белья, чулок и туфельку)... Вдруг его взгляд упал на крошечную красноватую бляшку, размером с маленькую монетку, резко выделяющуюся на туго натянутой коже. За день-два до того на этом месте было только легкое покраснение. Озадаченный, но не встревоженный, Уильям осторожно оттянул кожу и обнаружил, что болячка (хотя болячкой ее трудно было назвать: боли не было) при этом движении перевернулась, словно монетка. Что ж, наверняка это последствие перенапряжения, или же след, оставленный ее страстными ноготками, или же результат его собственной неосторожности. Тело снисходительно посмеивалось над тем, как все его силы бездарно растрачиваются на любовные утехы; и если оно когда-нибудь и высказывало какие-то жалобы, то делало это по-дружески и ненавязчиво. Однако Уильям никогда не посмел бы приблизиться к этой золотой святыне, если бы был хоть немного нездоров...

— Мне немножко нездоровится, — сказал он ей. И, с усмешкой добавил: — Ведь я уже не так молод, как прежде.

Фатима была милосердна и участлива.

— У тебя что-то болит? Где болит? Вот у меня тут есть это... это ubat.

— Ubat на ее языке означало «лекарство». — Я знаю, как можно облегчить любую боль.

— Нет, у меня ничего не болит, — ответил Уильям. — Просто я немного устал, только и всего.

— Если ты устал, то ложись в постель.

— Я не могу остаться у тебя надолго. Мы ставим новую пьесу. Меня ждут в театре, на репетиции.

Фатима недовольно поджала губы. И вдруг он почувствовал странную тяжесть и легкую тягучую боль в паху. Он нахмурился, и она это заметила. Она также заметила, как его рука невольно потянулась к больному месту; досада снова сменилась участием. Фатима встала с кровати, где до этого лежала полуобнаженная в ожидании любви, и подошла к нему, сказав:

— Дай я посмотрю.

— Не надо. Это так, пустяки. Мне пора идти. Я зашел всего лишь на минутку... Мы увидимся завтра.

— Дай посмотрю, — продолжала настаивать она и, не дожидаясь согласия, принялась его раздевать. Он не сопротивлялся. И вот она

увидела... В темных глазах отразился ужас, и Уильяму стало ясно, что впечатанная в кожу красная монетка была признаком чего-то более серьезного, чем пустяковая издержка страсти. Он вспомнил, как во время написания «Ромео и Джульетты» смеялся над Джироламо Фракасторо, этим лекарем-поэтом из Вероны. Как же звали того пастуха в поэме Фракасторо? Кажется, у него было греческое имя, переводящееся как «любовник свиньи» или что-то в этом роде... Там еще был подзаголовок: «...sive Morbus Gallicus».

Они молча смотрели друг на друга. Фатима запахнула на себе широкую ночную рубашку; ее смуглая нагота скрылась от его взгляда, как, впрочем, и все остальные прелести уходящего лета. В мозгу Уильяма замелькали беспорядочные образы — разграбленные и сожженные города, солдаты, разъяренная толпа, которая переправляется через Темзу, чтобы разрушить «Глобус»... Потом он увидел себя в юности — счастливый, беззаботный подросток из Стратфорда (какой это был год? Семьдесят шестой? Семьдесят седьмой?), читающий одну из немногочисленных книг, что стоят на полке у отца: «Краткое описание болезней» Эндрю Бурда. «Morbus Gallicus означает „французская болезнь“, а раньше ее называли „испанской болезнью“. Тогда Уильям еще спросил у отца: „А что это за болезнь такая?“ И отец ответил: „О, это такая страшная зараза, которая изъедает все тело, и больной сходит с ума“.

Фатима поспешно отступила назад и испуганно забилась в самый дальний угол комнаты, как будто увидела не жалкие две унции вялой плоти, а выхваченный из ножен обоюдоострый меч. Уильям понял, что в этот день начался последний акт его жизненной пьесы... Глядя на ее смуглую, цвета грязной речной воды кожу, он ожидал, что гнев вот-вот вскипит, но почувствовал только сожаление, которое, наверное, само по себе тоже можно было считать болезнью.

— Ну, я пойду, — сказал он. — У меня много работы.

— Да-да, тогда иди.

— Если тебе нужны деньги...

— Не надо, у меня есть.

— Я зайду через день-два, — пообещал он. — Когда буду чувствовать себя получше.

— Да-да, конечно.

...Он шел к «Глобусу» по ярко освещенным улицам и вопреки всему чувствовал в душе необыкновенный подъем. Фатима была здесь ни при чем: она всего лишь послужила посредником невидимых и непознанных сил. То, что Уильяму предстояло произвести на свет, было просто обречено

на бессмертие... Он ужаснулся, поняв наконец, что боги и богини не сходят с небес; они вечны, но редко появляются в миру, нарочно ослепив себя, чтобы нельзя было быстро найти нужную дверь. Но когда им это все-таки удастся, они могут попросту уничтожить весь человеческий мир.

В тот день перед театром «Глобус» торжественно подняли флаг — Геркулес, держащий на плечах земной шар. Уильям почувствовал, как заныли у него плечи в предвкушении той ноши, которую трудно описать словами. В том, что она будет не легче земного шара, он ничуть не сомневался. Он подошел ко входу в театр и на мгновение посторонился, чтобы дать выйти учтивому улыбчивому призраку — «сладкозвучному мастеру Шекспиру».

ЭПИЛОГ

Достопочтенные лорды и милые леди! Сообщаю вам, что я испил уже почти до дна свою чашу, из которой тонкой струйкой льется особое вино — серое и тягучее. Осень бывает только один раз в жизни, как и смерть. Но я не жалею о том, что пора уходить. Эта жизнь больше не совратит меня прелестями чопорной красавицы в зеленом платье — этой холодной английской весны. Если погрузиться во тьму, то по другую сторону ее вы обнаружите целый сказочный мир, полный немеркнувшего солнечного света, и дивные острова моего Востока... И именно так я и поступлю сегодня вечером — просто упорхну, словно птица. Я вижу, милые леди, что вы уже держите наготове свои монетки. Только не надо устраивать давку и волноваться: осталось совсем немного.

Пусть вас потешит эта моя ирония. Великий поэт изливает перед вами остатки своей сладкозвучной гениальности, уступая натиску небытия. А богиня, по-прежнему невидимая, то и дело беспокойно шевелится, словно младенец в утробе матери, и диктует своему протеже заглавия пьес. Получается действительно много шума, и все идет так, как надо и как хотелось... Тем временем тот бутон, что я носил в себе, раскрылся, словно цветок граната, и розоватые пятнышки и узелки пышно расцвели, а впоследствии потемнели, приобретая изысканный медный оттенок. Эти монетки рассыпались по всему моему телу и сделали его похожим на шкуру леопарда (не путать с тигром). Когда же такая «денежка» отваливалась, то на ее месте оставалось неряшливое пятно. Теперь мне доступны только те роли, где надо говорить хриплым голосом (будешь играть призрака, уж очень у тебя голос подходящий, можно сказать, замогильный голос). Будь у меня талант шута, я бы мог скакать по сцене и под оглушительный хохот зрителей запросто вытаскивать изо рта зубы, моргать опухшими веками и отламывать понемногу кусочки от крошащихся ногтей...

— Внимание! Смертельный номер — демонстрация хрупкости человеческого тела!

— Вот это да! Какой пятнистый! С тебя надо спустить шкуру и выделать ее под далматика. Будут отличные башмаки!

— Нет, лучше всучить его астрологам вместо карты звездного неба!

— Чешись, сэр, чешись!

Потом начались горячка и бред. Это было похоже на прогулки в густом

тумане: гадать, откуда доносится эта музыка, эти нежные звуки флейт и лютни, эти голоса умерших предков (разве ты нас не узнаешь?.. разве не помнишь?..), стихотворные строки, звучащие только во сне и исчезающие из памяти при пробуждении... Утром вспоминались только отрывки, из которых скалывались абсурдные строфы, наделенные, однако, страшным смыслом:

И вот свершилось: их мечты разбиты.

Не слушай никого, пусть будет тихо, И постарайся, чтоб Титан не вырвал Тот образ у него из глаз и не Обрек глупца на гнев... [\[62\]](#)

Ближе к ночи лихорадка усиливалась. Откуда-то сверху по веревкам спускались короли, многоголовый Гилберт что-то говорил, и при этом из каждого его рта валила пена... Все эти персонажи медленно проплывали мимо, сидя на ободке огненного колеса и касаясь моей подушки, каждый кричал «О-о-о-о!» разинутым квадратным ртом греческой театральной маски, а потом оказывалось, что рты эти вылеплены из свечного воска...

Возможно, это был только плод моего воспаленного воображения, но я громко рыдал, запоздало сокрушаясь об обидах, нанесенных моему бедному телу. Как-то за одну ночь на нем появилась целая сотня язв и язвочек... Ох-ох-ох, я плакал и пытался встать перед своим телом на колени, чтобы вымолить у него прощение, хотя перед этим мне пришлось еще извиняться за то, что тело было вынуждено преклонять колени вместе со мной. Только во сне я мог выйти из него, как следует разглядеть его и выразить свое сожаление... Если я в чем-то и согрешил, то мое тело тут ни при чем, и, однако же, именно ему теперь приходится нести наказание... Я глядел на лист бумаги как на чистое белое тело, которым некогда обладал, и всей душой стремился к нему, но в то же время боялся нарушить его первозданную чистоту кляксами и помарками. Нет, эта непорочная белизна должна запечатлеть прекрасные слова, выведенные красивым почерком... Соберись с силами, приказывал я каждое утро сам себе, и создай новый неподражаемый Эдем, который ничем не будет напоминать о собственном жалком и опозоренном теле, покрытом коростой язв, источающем зловоние и одержимом лихорадкой. Если сорвать одежды с этих чопорных Арденов, то перед тобой предстанут совершенно бесполые существа, без малейшего намека на самую незначительную неровность на теле, без единого прыщика. А все потому, что они благочестивы и не знают ничего о семи смертных грехах...

И все-таки я до сих пор не могу понять, в чем мой грех. Некоторые говорят, что акт любви, не освященный таинством брака, является прямой

дорогой в ад, но я даже при всей своей греховности не могу с этим согласиться. «Хорошо» и «плохо» были теми силами, что приводили в движение прелестные сюжеты «сладкозвучного мастера Шекспира», но этот призрак больше не существует. Неосвященная любовь сейчас представляется мне не более чем шуткой, позволяющей избавиться от обременительного семени. Помнится, Бен Джонсон в свое время перевел эти строки из Петрония:

Так краток сладкий миг, так хочется жить в нем,

И так потом мы все судьбу свою клянем^[63].

Да уж, когда этот горообразный, рыгающий и к тому же тяжелый, словно лоток с кирпичами, Бен наваливался всей тушей на какую-нибудь несчастную потаскушку и начинал, рыча и тяжело сопя, делать свое дело, той оставалось только кричать из-под него: «О-о-о, ты вешишь целую тонну, ой, ты меня уже совсем раздавил!» И все-таки удел Бена не имеет ничего общего с моим, даже принимая во внимание его толстокожесть, наплевательское отношение к миру — судя по его шуткам и манерам, — а также непоколебимую уверенность в том, что сам мир относится к себе еще хуже. Жизнь сводится к тому, чтобы претерпеть едва переносимые страдания, принять семя и оплодотворить им яйцо, из которого затем проклюнется истина об окружающем нас мире...

Не получив никакого облегчения от пилюль и разных других снадобий, я отправился на воды в Бат. Всю дорогу думал о Фатиме: вот бы ей самой помучиться от того, чем она меня наградила... Но винить было некого, все мы сами выбираем себе судьбу, но все-таки вряд ли можно считать справедливым то, что зачастую этот выбор приходится делать в темноте. Судьба — ничто, она похожа на визгливого паяца, который кричит в толпе свои дурацкие шутки. А подчиниться ей — это все равно что признать Уилла Кемпа единоличным и полноправным хозяином «Глобуса»...

Уж не знаю, какими такими особенными свойствами обладают воды из минеральных источников Бата, но только после них я похудел так сильно, что стал похож на привидение. Мой взгляд посветлел, и я стал видеть мир раскрашенным в необыкновенно сочные и яркие цвета: казалось, что краски, которыми он был расписан, еще не успели высохнуть. Я чувствовал себя так, словно такие понятия, как длина, ширина и высота, были придуманы совсем недавно. Я с удивлением и любопытством глядел на юных существ, которые смеялись, заводили интрижки и парочками расходились по комнатам. Я смаковал слово «человек», повторяя его снова и снова, словно это было имя диковинного заморского зверя. В своем

воображении я создавал его заново, представляя его в прекрасном саду и наделяя свое творение белым, чистым телом и невинным взглядом олененка. Но только удержать его там я не мог: человек должен был непременно выбраться оттуда, перемахнуть через забор и отправиться навстречу зову плоти и гадливо хихикающему пороку. У человека была своя воля, и она вела его к тому, что я, как творец, не мог для него создать. Именно это противопоставляло меня Богу; я уже видел это, но пока еще очень туманно. Просто время еще не пришло...

Потом я вернулся в Лондон и стал проклинать этот порочный мир, который в моем изложении получался еще более порочным, чем на самом деле. Я бродил по Брэд-стрит и Милк-стрит, вдыхал зловоние превращенной в сточную канаву речушки Флит-Дитч и невольно высматривал в толпе своих друзей по несчастью. Разглядывал их провалившиеся носы, огромные мокнувшие язвы на губах, руки, покрытые желтыми рубцами и розовой сыпью, невидящие глаза, изъеденные червями... Вскоре я сделал потрясающее открытие, от которого у меня даже закружилась голова. Это было то, о чем мне давно следовало бы догадаться: все эти свищи и нарывы, изуродованные кости, опухоли, язвы и зловоние есть не что иное, как материальное выражения продажности, предательства и холодной насмешливой жестокости королевского двора. Однако никто из этих грязных бедолаг не призывал на себя нарочно свою болезнь, никто из них не хотел гнить заживо. Значит, причина всех бед находится вне человека? Наверное, давным-давно, до сотворения мира, где-то существовал тот бездонный источник порока, из которого потом и напился «венец творения»...

Но разве не мог где-то существовать и другой, чистый мир? Тут же пришли на ум наигрывающие что-то на дудочках юные пастушки из идиллий Феокрита — Дамон, Лисид, Сифил (вот оно, имя, которое было в поэме Фракастори...), — но мое воображение рисовало их покрытыми странными язвами; в моих фантазиях их овец одолевала парша, а ураган хрустел их жалкими домишками, словно яблоками. Я обращался к мифам об ахейцах и троянцах, желая найти там то, что было так хорошо знакомо мне еще с детства, — войну понарошку, больше похожую на хорошо отрепетированный танец, на игру с деревянными копьями. Но и ахейцы и троянцы ничем не отличались от нас, ныне живущих. Все они были хвастунами, трусами, клеветниками и прелюбодеями. Тогда я взялся за пьесу о Троиле и Крессиде, негодуя на то, что человек должен рождаться в низости и мерзости. Моя болезнь подсказала мне новые слова для выражения этих чувств — брань, не существующую в английском языке,

бред и гротескные слияния. Я объединил Ариадну и Арахну в новый персонаж, в прекрасную героиню, которая превратилась в паука из-за своего таланта к ткачеству. Ариадна. Когда-нибудь какой-нибудь рассудительный читатель исправит это имя... ..Ну вот, все хорошее рано или поздно кончается. Я плакал, одолеваемый желанием увидеть конец счастливых дней, и с содроганием превратил Крессида в придворную шлюху. Обманутая Елена закрыла на все глаза, но болезнь закрыла их ей еще задолго до того — порочный замкнутый круг... Умри в пыли, а живи в грязи. Что ж, если уж нам выпало так жить, то надо придать всему этому хотя бы видимое благородство.

Черви пожирают доблестного Гектора и сурового гордого Ахилла, а ничтожество мечтает о свержении им же нарушенного порядка. Эссекс, Феликс, Болингброк — это язва на белом теле государства. Вот он, возглавляет воинственную толпу, которая движется к Капитолию. И вы все тоже идете за ним и держите наготове топоры и дубины — Приндейблы, Лиллингтоны, Лидделлы, Алабастры, Энгвиши, Поги... Буду краток: мы все больны, а поддаваясь соблазнам и предаваясь распутству, мы, сами того не замечая, ввергаем себя в объятия огненной лихорадки. Этот ужас был всегда и будет всегда. Эссекс (его Чепмен сравнивает с Ахиллом в посвящении к своему Гомеру) слегка поранил кожу, но этого было достаточно, чтобы наружу хлынули потоки грязи. В моем бреде Лондон предстал в образе моего же собственного тела — город отчаянно пытался избавиться от язв на левом бедре, в обеих подмышках, а также в мягком и развратном паху. И затем Эссексу пришел конец — его героическая голова покатила по плахе, — и это едва не стало концом для Гарри. Так что можно считать, что Гарри легко отделался: он оказался за решеткой, в Тауэре.

Но самым большим стыдом и позором для меня в том году стали похороны отца. Я стоял у края могилы, дрожа от болезненной лихорадки и ловя на себе любопытные взгляды окружающих. Еще бы: на голове среди заметно поредевших волос появились проплешины, а на губе кровоточила большая язва. Да, мастер Шекспир стал настоящим джентльменом; вы только поглядите на него, у него даже болезнь не простая, а самая что ни на есть аристократическая... При взгляде на Энн мне вспомнились давние оргии, особенно та, которую я прервал своим внезапным приездом в Нью-Плейс... Позволь мне держаться подальше от вас, Энн; домой я не пойду, сегодня переночую в трактире. Девочкам скажи, что мне просто нездоровится. Так, пустяки, пусть не волнуются...

Я чувствовал, что уже совсем скоро на меня снизойдет великое

откровение. Пока же я мог лишь цепляться за свое представление о порядке, за гладкое белое тело не поддающегося словесному описанию вечного города. Я представлял себя старым Цезарем, страдающим падучей болезнью (совсем как Гилберт), а Брутом был почему-то Бен Джонсон — ворчун и насмешник, одержимый духом противоречия. Образ гибнущего города, преследующий меня по ночам, был подсказан моим же собственным телом — кровавыми язвами, жжением в руке... Гибель государства ужасна, потому что она означает гибель тела. Это совсем не абстракция, ведь все это происходит наяву: рвутся пока еще живые нервы, лопаются плоть, образуя в этом месте кровоточащую рану...

Я проснулся среди ночи — было четыре часа с небольшим — и обнаружил, что она наконец-то пришла, моя богиня. Все было просто, без церемоний; о ее прибытии не возвещали ни трубы, ни глашатаи. Она была очень похожа на Фатиму

— обнаженная, с золотистой кожей. Наши глаза встретились; богиня с ужасом глядела на меня, я же был совершенно спокоен. В руках у нее был небольшой сосуд, выточенный из какого-то камня, похожего на порфир. Она поставила его рядом с моей постелью, а затем без тени улыбки, ни сказав ни слова, легла на меня и принялась ласкать мою запаршивленную, покрытую болячками плоть. Я был ее невольным суккубом. В момент полного обладания мне показалось, как будто что-то надорвалось, словно лопнул гимен, которого не существует в природе. Тогда богиня откупорила свой сосуд и оттуда...

И оттуда излился удивительный аромат. Это казалось невозможным: вся беспомощность и безнадежность человеческой жизни была передана через запахи, исходящие, подобно невинной райской свежести, из глубин самого источника греха и порока... Весь остаток моих дней, сколько бы мне ни пришлось жить на этом свете, будет посвящен тому, чтобы дать возможность всем остальным тоже узнать этот аромат. В первый раз за всю жизнь мне стало ясно, что человеческий язык — это не набор изысканных фраз, призванных согреть холодные дворцы, не развлечение для прекрасных дам и благородных лордов. Слово может быть острым как нож и тяжелым как молот. Слово могущественно. Я наконец понял, что за богиня стоит передо мной — она не была ангелом зла, но обладала непостижимой силой. Однако под натиском зла, противостоять которому было невозможно, моя богиня вынуждена была стать проводником разврата.

Она не покинула моей комнаты, а просто растворилась в воздухе, распалась на мельчайшие частицы, которые немедленно устремились во все

отверстия моего тела — защекотали в носу, хлынули в ушные лабиринты, в рот и в нижние, воспаленные ходы... То, что теперь было понятно и осязаемо, прежде показалось бы лишь сновидением или горячечным бредом. Но для меня сейчас это было ясно как день — эта первозданность того, что нельзя описать одним словом...

О, жестокая судьба, о, постыдная беспомощность сил добра! И почему никто из поэтов не увидел этого раньше? Да потому, что только сейчас этот недуг предстал передо мной во всей своей красе. Моя болезнь была болезнью моего времени; это она нарушала государственные и церковные порядки и подрывала устои страны. Мы уже взяли от жизни все возможное...

А вот и Джон Холл, врач-самоучка и по совместительству мой зять. Он сосредоточенно осматривает меня, потом поджигает губы и поглаживает бороду. Я знаю, о чем он сейчас думает: о том, что мне осталось уже совсем немного; во всяком случае, вряд ли я доживу до утра. Джон не станет вносить записей о болезни тестя в свои дневники. Обычно он лечит тем, что дает слабительное и пускает кровь, ведь большинство его пациентов — сэр Такой-то, леди Такая-то, милорд Такой-и-Сякой — страдают от похмелья и неумеренности в еде. О таких же вещах, как болезнь его тестя, не принято говорить вслух: ведь мастеру Шекспиру было дано познать мир, и он запечатлел его на бумаге под диктовку своей богини.

— Пьесы, говорите? Он писал пьесы?

— Да, пьесы. Сначала в них было много цветов, любви и звонкого смеха, или же это были исторические хроники, правдивое повествование о становлении порядка в Англии. Ну а потом он начал размышлять о том, что сам он называл «злом».

— Злом? В смысле, о пороках?

— Нет, не о пороках, потому что пороки, по его мнению, порождаются самими людьми и могут быть исправлены. Мастер Шекспир думал о том, что огромное белое тело всего мира охвачено болезнью, насланной откуда-то извне безо всякой причины, и излечить эту хворь невозможно. И еще он думал о том, что любовь не только не может нас исцелить, но часто сама становится приманкой для этой заразы. Кажется, он утверждал, что мы все отравлены изначально.

— И как он это доказывал?

— О, он создавал пьесы о великих людях, которые оказывались бессильны перед лицом зла. Это были или хорошие люди, обманом завлеченные в роковые сети, или же просто безвольные слабаки,

размахивающие кулаками. Еще это могли быть те, кто сам воплощал этот недуг, бунтовщики и злодеи, разрушающие государство. Хотя далеко не всегда речь в этих пьесах шла о государстве; иногда мастер Шекспир вспоминал и о браке.

— Он был счастлив в браке?

— Вообще-то, моя теща, как мне кажется, была ему хорошей женой, верной и преданной. А вот он ей изменял.

— Тише! Слышите, он что-то бормочет....

— Да, теперь уже осталось не много. Очень скоро он произнесет свои последние слова.

— А что, он был великим человеком? Может быть, нам надо эти слова записать?

...Дочь может преодолеть силы зла, сын — нет. Это не удалось ни Гамлету, ни Отелло, обоим моим сыновьям. Бедняжка Кейт Гамлет утопилась из-за несчастной любви^[64]. Вода и непорочная девушка — вот оно, наше единственное искупление...

— Последние слова умирающих обычно лишены смысла.

Итак, доктор, вот мой итог.

Странное дело, но мне вдруг передалась болезнь моего брата Гилберта. Это было на сцене. Давали «Гамлета», я играл Призрака и как раз, как и полагается, обличал замогильным голосом своих убийц. И вдруг (об этом мне рассказали уже потом) со страшным криком повалился на пол, на губах у меня появилась пена, и я начал биться в судорогах. Зрителям это понравилось, они нашли мою игру, очень убедительной.

То, что происходило со мной потом, принесло театру мало пользы. Я постоянно забывал текст, чувствовал себя разбитым и усталым, наплевательски относился к своим обязанностям, скандалил по любому поводу, ненавидел, потом любил, потом снова ненавидел... Однажды я удивил самого себя, помочившись среди бела дня на улице близ Уайтхолла. Три ночи «подряд я просыпался, одолеваемый таким навязчивым желанием выпить эля, что выскакивал полуодетым из дома и принимался барабанить в дверь хозяина „Трех бочек“. Я снова стал посещать бордели. И вот как-то раз в Кларкенвеле увидел...

Внешне она не казалась больной, вот только ее некогда золотистая кожа изменила цвет и приобрела землистый оттенок. Ее груди обвисли, живот раздулся, черные волосы были всклокочены, а во рту не хватало двух передних зубов. Мы глядели друг на друга, и в ее глазах я увидел себя — свои сильно поредевшие волосы, опухшее, ничего не выражающее лицо, расстегнутый для большей свободы тела камзол... Я покачал головой,

чувствуя какое-то удовлетворение: мы оба были наглядным примером того, насколько прогнил весь этот мир. И потом я сказал то, что уже давно не давало мне покоя:

— Надо полагать, это подарок от него, не так ли?

Она молча потупилась. Значит, нам всем троим было суждено страдать от «французской болезни». Но эти двое уже сделали свое дело. Consummatum est, erat. Итак, свершилось. Я больше не мог заниматься с ней любовью. Но когда я уходил, мне так хотелось разрыдаться, оплакивая поруганную врагом красоту... И наверное, я так бы и сделал, но слез больше не было. Я должен увековечить эту смуглую величавость, будь она проклята.

С ней я больше не спал, у меня были другие. Джоан, Кейт, Мэг, Сьюзан, Марджери, Зубок, Самсон, Мулатка... Я набрасывался на них как одержимый. А еще я сорил деньгами направо и налево, тратил много и чаще всего не задумываясь — купил дом в Блэкфрайарз, красный мадьярский плащ, большой запас солода, пай в несуществующем предприятии, лошадей (в том числе одного арабского скакуна) и камзол, расшитый стекляшками. В Стратфорде я громогласно заявил о своей неподражаемой гениальности, а в тот вечер в трактире, во время пирушки с Беном и Дрейтоном, крикнул, что я — Бог... Вошедшая в меня богиня была непоколебима: она открыла мне все эти ужасные острова, но при этом продолжала оставаться моим штурманом. Знаешь, Хоби, ты был прав: те далекие страны, о которых ты рассказывал мне в детстве, те диковинные птицы, говорящие плоды и люди с тремя ногами — они действительно существуют; ты не врал.

...У вас есть вопросы? Вам хочется знать, откуда все это исходит, кто на самом деле говорит? Нет, леди и джентльмены, никакого самозванства здесь нет. Смерть приходит для того, чтобы разрушать, и ее не могут остановить никакие стены. Мне плохо, я устал и истосковался по своему Востоку. Уходите. Вы обступили меня, но ваши лица передо мной словно в тумане...

Ну и в чем же ваше преступление?

Любовь, любовь, все дело только в любви... Знаю, это не очень умно. А еще Фатима... В конце лекции я раздам вам по экземпляру этого сонета. В этой игре нельзя победить, ибо любовь являет собой вечный порядок и одновременно становится и мятежницей, и разрушительной спирохетой. Так давайте же не будем вести беспредметных разговоров о слиянии душ, ведь существуют же двойные звезды — две сферы, которые независимо друг от друга движутся по одной орбите... Это все плоть, и плоть решает

все. Литература является лишь эпифеноменом деятельности плоти.

А как насчет крови?

Вечером солнце заходит на западе, а утром восходит на востоке. Он отправил свою кровь на Восток. Я его кровь. Мужская линия прервалась на Западе, так что вполне закономерно, что она продолжится на Востоке. Не надо никого звать, со мной все в порядке. Просто мне нужно немного отдохнуть.

Предмет обсуждения?

Дубки, трости, игра в кости, Маккавеи, лидийский музыкальный лад (такой томный и сладострастный), дикий северный гусь или белая казарка, круглые окошки-розетки, правительство, охваченная огнем цитадель и пылающее здание сената, Буцефал, Антилегомена, материнское воскресенье, тропики, Уоппинг, ботфорты милорда, кальцеолария, продажные мальчики, дикий бадьян, нервный тик, Антиподы, Врата Баба, Фидесса, юнга Раттлин, Тейлайсин, мертвая голова для алхимиков, решетки, подземелья, жаворонок, Таумаст, темные глазницы Лондона, Gesta Regum Anglorum, мирмидоняне, честное поведение, золотая девица, виноградарство, покойная королева (пчелка, лужайка, шахматы, скамья, царствование), арочные своды, грошики, морская лисица, а еще морская свинья и морская пустыня, сигмоидальная кривая, количественные числительные и осязаемость.

И чего бы вам хотелось сейчас?

Ничего. Совсем, совсем, совсем ничего. Не сейчас. И никогда.

Ваше последнее слово. Самое, самое, самое, самое последнее слово.

Ваша светлость.

notes

Примечания

Клоптон Хью — уроженец Стратфорда. Будучи младшим сыном в семье, не получил наследства и уехал в Лондон, где разбогател на торговле шелком. Был избран олдерменом, затем шерифом, а и 1491 году стал лорд-мэром Лондона.

Тестон — мелкая монета.

Перевод Е. Новожиловой

Перевод Е. Новожиловой

Перевод Е. Новожиловой

Перевод Е. Новожиловой

Перевод Е. Новожиловой

Йомены — в средневековой Англии: крестьяне, ведущие самостоятельное хозяйство.

Перевод Е. Новожиловой

10

То есть почти 190 см.

Перевод Е. Новожиловой

Нас ведет судьба, так подчинитесь судьбе. Суета и заботы не могут изменить нити вечного веретена (лат.).

"Горбодук» (1561) — самая ранняя из известных английских трагедий, первый опыт использования белого стиха в английской драматургии.

Была луна: я смотрю, не видно ли чего-нибудь, кроме берега (Овидий, «Героиды»).

Насколько видит глаз — ничего, кроме берега (Овидий, «Героиды»).

То туда, то сюда я по берегу бегаю (Овидий, «Героиды»).

Глубокий песок задерживает девичьи ноги (Овидий, «Героиды»).

Стихомифия — стихотворный диалог в драме; персонажи обмериваются репликами, каждая из которых равна целому стиху или его половине.

Перевод А. Некора.

Перевод А. Некора.

Перевод А. Некора.

Перевод Е. Новожиловой.

Сын Уилла (англ.).

Перевод Е. Новожиловой.

Перевод Е. Новожиловой.

Кид Томас (1558-1594) — английский драматург.

Король Джон — возможно, имеется в виду английский монарх Иоанн Безземельный, который в 1215 году под давлением восставших вассалов подписал Великую хартию вольностей.

"Школа ночи» — поэтический кружок, в который входили сэр Уолтер Рали, Кристофер Марло и Джордж Чепмен. Кружок получил скандальную репутацию из-за атеистических убеждений своих членов.

На гербе Генриха VII (1457-1509), наследника Ланкастеров, женившегося на дочери Эдуарда IV, наследнице Йорков, была красно-белая роза, которая символизировала примирение враждующих семейств.

"Бедлам» — простонародное название Вифлеемской королевской больницы в Лондоне.

Перевод Е. Новожиловой.

Перевод Б. Томашевского.

Перевод А. Финкеля.

Перевод А. Финкеля.

Скуки (фр.).

Перевод Н. Гербея.

Перевод А. Финкеля.

Перевод А. Финкеля.

Эпиграф взят из первой книги «Любвных элегий» Овидия; перевод Е. Новожиловой.

Перевод Е. Новожиловой.

Сидни Филип (1554-1586) — английский поэт, военный и политик. Его наиболее известные произведения — идиллический роман «Аркадия» и цикл сонетов «Астрофель и Стелла».

Дэньел Сэмюэль (1562-1619) — английский поэт и историк, автор «Истории Англии» и поэмы «Гражданские войны», посвященной войне Алой и Белой розы.

Имеются в виду сонеты «Зерцало идеи» английского поэта Майкла Дрейтона (1563-1631).

Тайберн — до 1783 года место публичной казни в Лондоне.

Спенсер Эдмунд (1552-1599) — английский поэт-лирик.

Перевод Е. Новожиловой.

Английское слово bottom может переводиться как «основа», «доньшко» и как «задница».

Холишед Рафаэль (ум. 1580) — английский хронист, соавтор «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», откуда Шекспир заимствовал сюжеты своих хроник.

Сон (лат.).

Сновидение (греч.).

Перевод А. Финкеля.

Перевод Н. Гербея.

Перевод А. Финкеля.

Перевод В. Мазуркевича.

Перевод А. Финкеля.

Да будет свет (лат.).

Перевод А. Финкеля.

Фригольд — «свободное держание», характерная для Англии форма наследственного или пожизненного владения землей или недвижимостью. Фригольдеры могли свободно распоряжаться своим имуществом, что было невозможно при пользовании на правах аренды.

Битва при Босворте (1485) — решающее сражение между войсками Ричарда III Йорка и Генриха Тюдора. Битва закончилась гибелью Ричарда и провозглашением его противника английским королем Генрихом VII.

Очевидно, Гарри упоминает пьесу Джонсона «Всяк в своем праве». Герой этой пьесы шут Солигардо отдал 30 фунтов за герб и украсил его девизом «Не без горчицы».

Крещу тебя во имя Кида, и Марло, и Шекспира (лат.).

Перевод Е. Новожиловой.

Перевод Е. Новожиловой.

Когда Шекспиру было шестнадцать лет, неподалеку от Стратфорда случилось происшествие. Незамужняя девушка Кэтрин Гамлет утонула в реке Эйвон, и из-за подозрений в самоубийстве ей было отказано в церковных похоронах. Возможно, Кэтрин стала прототипом шекспировской Офелии.